

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

# НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 5 ( 5 8 ) / 2 0 2 4



ИГОРЬ  
МАЛЫШЕВ  
НОГИНСК

4



АЛЕКСАНДР  
ОРЛОВ  
МОСКВА

18



ВЛАДИМИР  
БЕЗДЕНЕЖНЫХ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

53



ЛЕОНИД  
СЛАВИН  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

56



ДМИТРИЙ  
ЛАГУТИН  
БРЯНСК

66



АНТОН  
ЛУКИН  
ДИВБЕЕВО

89



ЕКАТЕРИНА  
ДРОЗДОВА  
МОСКВА

105



МАРИАННА  
СОЛОМКО  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

128



ДМИТРИЙ  
БИРМАН  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

131



ЮРИЙ  
ПРОНИН  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

134



НИКОЛАЙ  
БЛОХИН  
СТАВРОПОЛЬ

137



ЕВГЕНИЯ  
КОРЕШКОВА  
ОВСЯНКА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ.

151



АЛЕКСАНДР  
ЛУШИН  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

178



МАРИЯ  
ЛЕОНТЬЕВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

178



НИКОЛАЙ  
БЕНЕДИКТОВ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

188

16+

## В НОМЕРЕ

### *Проза*

<b>Игорь МАЛЫШЕВ</b>	
БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ . . . . .	4
У ТРЁХ ВОКЗАЛОВ . . . . .	8
МЕДВЕДЬ . . . . .	12
ЭТО ВСЁ ЛУНА... . . . .	15
<b>Александр ОРЛОВ</b>	
СВЯТЫЕ МУЗЫКАНТЫ . . . . .	18
<b>Сергей КОЗЛОВ</b>	
ЛЕРМОНТОВ . . . . .	23
<b>Евгений ЭРАСТОВ</b>	
ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ РОЗЫ ЛЬВОВНЫ . . . . .	27
ГРЕКИ ПОБЕЖДАЮТ . . . . .	32
<b>Сергей КУЛАКОВ</b>	
В ПОИСКАХ ПЕРВООБРАЗА . . . . .	41
<b>Александр КАШТАНОВ</b>	
ВАЛЬС С ТАБУРЕТОМ . . . . .	44
<b>Светлана ЛЕОНТЬЕВА</b>	
БУФЕТЧИЦА . . . . .	50

### *Поэзия*

<b>Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ</b>	
ТВОЙ ВЫСТРЕЛ . . . . .	53
<b>Леонид СЛАВИН</b>	
ОН КАК ДЕНЬ, А ОНА – НОЧЬ... . . . .	56
<b>Светлана ТЮРЯЕВА</b>	
С ПОМЫСЛАМИ ЯСНЫМИ . . . . .	60

### *Проза*

<b>Дмитрий ЛАГУТИН</b>	
К СВОИМ ПЯТНАДЦАТИ. . . . .	66
<b>Антон ЛУКИН</b>	
СПОР . . . . .	89
<b>Вячеслав ЗАСУХИН</b>	
СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ . . . . .	97
<b>Иван КОБЕРНИЦКИЙ</b>	
ПРЕДЛОЖЕНИЕ . . . . .	101
<b>Екатерина ДРОЗДОВА</b>	
ЗАЩИТНИЦЫ ИСКУССТВА . . . . .	105
<b>Владимир РОМАНОВ</b>	
МЕЛОДИЯ ЖАРКОГО ЛЕТА . . . . .	109
<b>Дмитрий ВОРОНИН</b>	
ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН . . . . .	117
Из цикла «МАТУШКА ВОЙНА» . . . . .	125

### *Поэзия*

<b>Марианна СОЛОМКО</b>	
ВАЛААМСКИЙ ХОР . . . . .	128
<b>Дмитрий БИРМАН</b>	
ТАНЦУЙ СО МНОЙ ДО КОНЦА ЛЮБВИ... . . . .	131
<b>Юрий ПРОНИН</b>	
ГОСПОДЬ БЕССТРАШНЫМ ПРИГОТОВИЛ ДЕЛО... . . . .	134

## *Из будущих книг*

**Николай БЛОХИН**

ПОЕЗДКА В ТУАПСЕ

Очерк из книги «Возвращение Мастера» . . . . . 137

**Евгения КОРЕШКОВА**

СЛЕД ЛАСКИ. Фрагменты . . . . . 151

**Дмитрий КОРЧАГИН**

БОЛЕЗНИ НАШИ. Глава из повести . . . . . 171

## *Стихи по кругу*

**Евгений ХАРИТОНОВ** . . . . . 176

**Дмитрий ЛАРИОНОВ** . . . . . 176

**Алексей САКОВ** . . . . . 177

**Александр ЛУШИН** . . . . . 178

**Мария ЛЕОНТЬЕВА** . . . . . 178

**Ксения КРУТИНА** . . . . . 179

**Иван УДАЛЬЦОВ** . . . . . 180

**Мария ВУЛЬФ** . . . . . 181

**Елена ГАЛИАСКАРОВА** . . . . . 181

**Вадим БОРЗИХИН** . . . . . 182

## *Литературный архив*

**Рюрик ИВНЕВ**

БУЛЬВАР . . . . . 183

## *Публицистика*

**Николай БЕНЕДИКТОВ**

«ДВА ЧУВСТВА ДИВНО БЛИЗКИ НАМ...»

О русском языке, древности и исторической памяти . . . . . 188

**Андрей ЗЮЗИН**

УТОПИЯ: ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ? . . . . . 201

## *Вехи памяти*

**Галина МУХИНА**

«РОССИЯ ВСЕМ НАМ СЕЙЧАС И ДОМ, И ДАЛЬ...»

140 лет со дня рождения Ф.А. Степуна . . . . . 209

**Руслан СЕМЯШКИН**

«ИДЕЯ СОЦИАЛИЗМА ВСЕГДА ЖИВЕТ ВО МНЕ»

110 лет со дня рождения Хулио Кортасара . . . . . 219

## *Литпроцесс*

**Дмитрий АНИКИН**

ШАЛЬНАЯ ПОШАВА . . . . . 228

**Олег РОМЕНКО**

РУССКИЕ СТИХИ ВИКТОРА ПЕТРОВА . . . . . 235

## Игорь МАЛЫШЕВ

Родился в 1972 году в поселке Реттиховка Приморского края. Образование высшее техническое. Работает на атомном предприятии.

Автор книг «Лис», «Дом», «Там, откуда облака», «Номах. Искры большого пожара», «Маяк», «Корнюшон и Рылейка», «Сланские были и небывалицы» и других. Прозу, стихи и пьесы пишет более двадцати лет. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Москва», «Роман-газета», «Новый мир», «Юность», «Дружба народов». Книги входили в короткие списки литературных премий «Ясная Поляна», «Большая книга», «Русский Букер» и других.

Живёт в Ногинске, Московская область.

## БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ

Уезжая, он, конечно, не взял фотографии. Ни одной. Хотя их было несколько, толстых, как древние рукописные Библии, фолиантов-альбомов. Нет, не взял. Лишний вес. К чему? Он уже всё продал, квартиры в Москве и Сочи, дачу, машины, бизнес. Уезжал «голым». Чемодан с вещами, и всё. Ну, и счета в чешских и немецких банках.

Осел в Праге. Старина, средневековье. Квартиру купил в самом центре, пять комнат, последний этаж. Подходил по утрам к окну, смотрел на черепичное море крыш, вздыхал от легко полученного, словно доставшегося с чужого плеча, счастья. Открывал фрамугу, поднимал выходящее прямо на крышу окно, вдыхал сырой от близости Влтавы воздух, трогал холодную влажную черепицу. Снизу доносился запах кондитерской. Он с детства любил это запах, готов был дышать им, будто подпав под гипноз, дышал и не мог надыхаться. Представлял, как сейчас спустится вниз, купит похожий на мясца, хрустящий, обсыпанный маком, рогалик. Как будет подниматься обратно по лестнице, как в квартире запахнет кофе и он съест этот свежеспеченный, восхитительно хрустящий, пленительно мягкий внутри рогалик, как почувствует языком каждое маковое зёрнышки и каждый осколок корочки.

По Влтаве плавали, рассекая её тёмные воды, перегороженные плотинами и мостами, лебеди, белые, будто вырезанные из бумаги. Да и всё вокруг – стены, башни, крыши в Старом городе через реку, пароход с туристами, деревья, фонари – всё казалось тонким, словно вырезанным маникюрными ножницами из папиросной бумаги. Милейшей,

самой милой на свете аппликацией казался ему этот город. Гравюрой, рисунком, воплотившейся фантазией казался. Он вдыхал его запахи и, закрывая глаза, качал головой, не веря, что наконец оказался здесь, что, как и прежде, богат, но уже никому ничего не должен, что никто от него ничего не требует и телефон его тих, как пражский вечер.

Он ставил пластинку Майлза Дэвиса на проигрыватель и начинал одеваться. Такой же Майлз Дэвис и такой же проигрыватель были у него в России, но он их продал. В отличие от фотографий в альбомах-фолиантах. Их, конечно же, никто не купил бы. Он их просто выбросил. Все фото были оцифрованы, секретарша работала над этим целый месяц. Фотографий было много, очень много. Его отец увлекался фотоделом и сначала на «Смену», а потом на «Зенит-Е» отснял тысячи кадров.

Днём он гулял по городу. Он влюбился в Старую Прагу, заходил в магазинчики, пивные, рестораны. Он обожал экскурсии по Праге. Много раз путешествовал вместе с гидами по подземной Праге, бродил по Староместской площади, смотрел на фигуры апостолов и смерти, появляющиеся каждый час. Смотрел и изнутри, и снаружи башни. Экскурсии предпочитал с русскими гидами. Он знал чешский, английский, чуть хуже немецкий и французский, но больше всего ему нравились русские экскурсии. Он считал себя русским. Нет, он не смотрел русские каналы по ТВ, не слушал русские радиостанции, тут он предпочитал чешские и английские источники, но вот экскурсии... Экскурсии с русским гидом, который, впрочем, часто оказывался украинцем, а то и белорусом, были его слабостью. «Контролируемой глупостью», как он сам объяснял себе этот эффект, вспоминая увлечение Кастанедой в девяностые.

Часто брал ночные туры на парходике по Влтаве. С собой неизменно прихватывал фляжку с виски, цены на кораблицах были такими, что даже он, небедный человек, удивлённо вскидывал брови. Он выходил на палубу, смотрел на хранящие уютный полумрак самой уютной европейской столицы, берега,пил виски и думал, насколько же он был прав, всё продав, бросив и уехав сюда.

Тарахтел мотор кораблика, иногда что-то погромыхивало в трюме, но погромыхивало уютно, как всё, что бывает в Праге.

Дома он садился к компьютеру, открывал папку с простейшим названием «фото» и смотрел свои детские фотографии. Непонятно зачем, но он делал это едва ли не каждый вечер, это стало ритуалом, если не сказать, наркотиком.

Однажды он проснулся глубокой ночью, поднял голову от столешницы. Справа от клавиатуры стоял стакан, на дне которого виднелась тонкая плёнка виски. Он допил их, зачем-то смахнул со пыль стола нетвёрдым движением. Шевельнул мышкой. Ушедший в спящий режим компьютер задышал кулерами, экран осветился.

На него смотрел он сам. Ребёнок лет шести от роду сидел на кирпичной стене трибуны, украшенной гербом Советского Союза. Чуть позади реял плакат с мудрым ликом Ильича.

Дитя было одето в толстые штаны, пальто, выглядящее светлым на чёрно-белом снимке, круглую шапку с завязками под подбородком. Лицо шестилетнего его сияло и смеялось. Он вспомнил, что эти завязки он время от времени отрывал и всегда боялся признаться в этом матери. И ещё вспомнил вкус узла завязок, который привык сосать за чем-то. Наверное, сохранившийся младенческий рефлекс.

Он долго смотрел на себя, улыбающегося из полувековой дали.

Пенза, они живут там, поскольку командование отправило отца получать высшее образование в Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. Он помнил ту трибуну, плац, где периодически видел своего отца в тёмно-синей парадной форме, перепоясанным золотистым с золотой пряжкой ремнём. Как наяву, всплыли в памяти упругие, хрусткие шаги марширующих офицеров, гулкие команды, раздающиеся с трибуны.

Он увеличил фото, ещё, ещё. Вот это он с разницей в полвека. Вот это смеющееся, совершенно бесшабашно открытое миру и жизни существо, это он. Это тоже он.

Он всмотрелся в своё детское лицо. Ребёнок лучился восторгом, беспричинным, как большинство эмоций в детстве.

Пальцы, лежащие на мышке, вздрогнули, словно желая тронуть того, кто давно и необратимо изменился.

На щеке ребёнка, беззаботно болтающего ногами на стене трибуны, темнело пятнышко. Родинка. Он вспомнил. У него была родинка. На левой щеке, как у мамы. Он вспомнил, как мама, лёжа на кровати и поднимая его маленькое трёхлетнее тельце над собой, пела: «На щёчке родинка, в глазах любовь». Это была какая-то очень старая песня, которую он, возможно, никогда и не слышал в оригинале. У мамы была точно такая же родинка и тоже на левой щеке.

– Да, да... «На щёчке родинка, в глазах любовь», – прошептал он. – Так она пела.

Он схватил мобильный телефон, включил фронтальную камеру, посмотрел на себя. Узнать сложно. Очень сложно. Но можно. Он обзрел своё лицо, усмехнулся, сравнив с фото на экране компьютера, и заметил, что родинки нет. На экране телефона родинки не было.

– Да ладно... – сказал, изучая щёку.

Он вспомнил, что родинка хорошо прощупывалась пальцами. Но нет. Всё было пусто и ровно. Родинки не было.

Нет, он не гордился этой родинкой, не считал её чем-то важным. Но воспоминание о том, как мама трогает его лицо и поёт негромко, тепло глядя ему в глаза... «На щёчке родинка, в глазах любовь».

В детстве он считал эти слова ужасно глупыми, но поскольку их пела мама, он ничего не говорил, только улыбался и смотрел на такую же родинку у неё на лице.

Что-то дрогнуло внутри. Он никогда не был импульсивным человеком, но тут прошёл на кухню, взял керамический, вечно острый нож, подошёл к зеркалу в ванной.

Открыл фото на телефоне, посмотрел на лицо ребёнка. Приставил белое остриё к щеке.

– Здесь, – сказал себе.

Ткнул осторожно в щёку, лезвие оставило красный неглубокий, быстро исчезающий след.

Надо сильнее, понял он. Но сильнее не позволял инстинкт самосохранения.

Он уронил нож в раковину, и тот, дребезжа и пометавшись, застыл над сливным отверстием.

– Да нет же, врождённые родинки не исчезают, – сказал он отражению в зеркале. – Родинки на всю жизнь. Это как... Как отпечатки пальцев. Как генокод. Нет.

Он трогал кожу, надувал щёки, мял лицо.

– Да не бывает, чтобы вот так, совсем без следа!.. – наконец с отчаянием воскликнул он, кривя лицо и отмахиваясь от кого-то в зеркале.

Он принялся листать фото в папке. Всматривался в свои детские фото.

– Есть же ложная память, – говорил он фотографиям. – Может, её и не было никогда. Может, это просто дефект.

Фотографии не соглашались, и на каждом своём детском изображении он видел тёмную крапинку под левым глазом.

Он вышел на пустые улицы Праги, шёл и слушал, как жёсткие подошвы его ботинок от лучших мастеров Испании стучат по булыжному покрытию. Эхо гуляло меж каменных, в утреннем инее стен.

Навстречу шли туристы, молодые, взбудораженные глинтвейном и бехеровкой.

Никто не обращал на него внимания: неброский, чуть прихрамывающий, пальто в пол, хорошее, дорогое, но просто пальто, шляпа с фазаньим пёрышком.

Человек без особых примет. Человек без родинки.

## У ТРЁХ ВОКЗАЛОВ

Он привязался к нам у площади трёх вокзалов.

– Братиш, братиш, отсыпь мелочи, сколько не жалко.

Я ждал родственников жены. Поезд опаздывал на два часа. Была ранняя весна, повсюду ручьи, грязь. У меня штанины сзади в мелкую грязную крапинку, и это бесит неимоверно. Я чистюля и ненавижу это время. Что весна, что осень, как аккуратно не ходи, а чистым не бывать. Настроение паршивое, будто у меня не только на штанах грязь, а везде, будто я с ног до головы одна извалинная в грязи фигура.

– Братиш, на пиво. Сколько не жалко. Трясёт всего, – пристал он.

Шапка-петушок, серо-седая борода, женская шуба искусственного меха под леопарда. Бомж не бомж, но ещё чуть сдвинется вниз, и готовый обитатель дна. Когда он на секунду повернулся ко мне спиной, я мельком взглянул на его штанины сзади. Чистые! Как он умудряется ходить, чтобы не забрызгаться? Я сколько лет живу, а так и не научился.

– Брати-иш...

– Отстань, – ответил я, не скрывая раздражения.

Вокруг шли, торопились пассажиры. Я с супругой были едва ли не единственными, кто не спешил, поэтому он и выбрал нас в качестве жертв.

– Трубы... До зарезу...

Я скривился.

– Пятьдесят рублей... На пиво...

Я не ответил. Жена с интересом следила за мной и бородачом в леопардовой шубе. Она у меня та ещё язва, наблюдать за конфликтами – её радость.

– Хочешь, спою? – неожиданно спросил он. – Я в народном хоре пел.

И он затянул:

Вдоль по Питерской,  
По Тверской-Ямской  
Да с колокольчиком...

Голос его, неожиданно сильный и тонкий, дрожал, бился в вечерних сумерках.

– Я солистом в народном хоре был. Мы даже на гастроли ездили. В Луховицкий район, Серебряные пруды...

Я не собирался отвечать, но московская неряшливая весна, опоздание поезда, язвительный взгляд жены...

– Ты же фальшивишь безбожно. И вообще это песня не для тенора. Для баса, баритона. Но не для тенора...

– Где фальшивлю? – внезапно горячо подался он ко мне. – Никогда не фальшивил. Никогда! Я солистом был...

Я опять не желал отвечать ему.

– Ни в единой ноте не сфальшивил.

Я молчал, комкал в кармане картонную использованную карточку метро, которую позабыл выбросить.

– Меня Володихин слушал, сказал: «Что за певец!» Вот! Ты знаешь, кто такой Володихин?

Я отвернулся.

Не дождавшись ответа, он обошёл меня, чтобы снова очутиться перед моим лицом.

– Вот, не знаешь! А он сказал: «Что за певец!», заслуженный работник культуры. С медалью ходил.

– Лажаешь ты. Ну лажаешь, – снова не выдержал я.

– Э, нет. Ладно, у меня семьи не осталось, не сегодня-завтра с квартиры сгонят, но тут ты меня не обманешь. Что моё, то моё.

Над городом Горьким,  
Где ясные зорьки,  
В рабочем посёлке  
Девчонка живёт.

– И что? Опять фальшивишь.

– Постой-постой! – борода его затряслась. – Знаю, могу где-то слова забыть, мелодию могу спутать, но не сфальшивлю. Это нет!

Он разволновался.

– Девушка, милая красавица, хоть вы скажите ему. Ведь не фальшивлю же я. Каждая нотка как хрусталь.

Супруга загадочно молчала и смотрела на меня с еле заметной усмешкой, чуть искривившей линию её красивых узких губ.

– Чудило, ты вообще не певец, – сказал я ему. – Кто тебе сказал, что ты петь умеешь? Володихин с медалькой? Так, может, то не медалька была, а значок ГТО? Может, он в музыке разбирается, как свинья в ананасах, а?

– Э-э, хватит, – с испугом поднял он перед собой руки. – Не смей. Я пять лет в народном хоре, у нас при ДК. Мы в Луховицах, в Серебряных прудах...

– Да что ты заладил? Лохи из Луховиц любое мычание схавают. «Есть в России три столицы: Москва, Питер, Луховицы».

– Нет, братиш... Что я, сам не слышу, по-твоему? Слышу я. И голос у меня ещё в силе.

Над городом Горьким...

– Я когда пою, наши плачут.

Захотелось сказать, что плачут от жалости или от водки, но я смолчал, комкая проездной в кармане.

– Стой. Я же вправду хорошо пою. Зачем ты?

Он протянул руку, желая тронуть застёжку молнии на моей куртке. Я отпрянул, он опустил ладонь.

– Ты сознайся, что пошутил, – просительно посмотрел он на меня. – Деньги ладно. Не хочешь, не давай. Но про голос мой плохо не говори, ладно?

Я почувствовал, как меня переполняет раздражение и, кинув яростный взгляд на супругу, вытащил из кармана тысячу, показал ему.

– Смотри, дядя. Тебе отдам. Только крикни сейчас своим «прекрасным» голосом на всю площадь: «Я лажок, и голос у меня противный». А? Бам! Крикнешь и тысяча твоя. Окей?

Тот улыбнулся, подался от меня, примирительно водя перед собой открытыми ладонями.

– Нет. Зачем ты? Нет.

– Что не так?

– Это ж неправда.

– Правда. Да и разве это важно? Просто крикнешь, и всё.

– Ну что ты за человек такой? Не стану я.

Жена, писательница и вполне успешная, смотрела на нас с интересом, с каким энтомолог мог бы наблюдать за поединком двух жуков.

Я музыкант, но моя музыка не приносит денег. Играю по кабакам, но редко, репертуар специфический, платят мало. Почти все деньги, что есть у нас в доме, заработаны ею. И даже эта тысяча, которой я трясу перед серо-седой бородой «солиста народного хора», тоже принадлежит ей.

«Наконец-то ты нашёл себе достойного соперника», – читаю я в её глазах, и от выплеснувшегося адреналина ненависти и отвращения к себе меня начинает потряхивать.

– Что? Что? – наступаю я на мужика. – Кричи!

– Зачем я на себя наговаривать буду? – упрямится тот и в голосе его проступает просительная мягкость. – Если я что умею, то умею. Чужого не надо, своего не отдам.

– А тебя и не просят ничего отдавать. Это я тебе отдам. А ты просто крикни: «Я лажок, и голос у меня противный».

– Это неправда.

– Правда, дружок. И голос противный, и фальшивишь через ноту.

– Врёшь.

– Не имею такой привычки. Просто пропил ты всё, если что и было у тебя раньше. И теперь голоса не осталось, интонировать не можешь.

– Неправда. Зачем ты? Я же слышу... – не сдавался он, но в голосе его проступало отчаяние. – Потерял много, но что моё, то моё...

Он отступал, я надвигался, и я уже был уверен, что сейчас он отвернётся и уйдёт, как он сделал шаг мне навстречу, сделал движение левой рукой, словно соглашаясь взять деньги, а правой вытащил из рукава небольшой, похожий на пику, нож и приставил его к моему бедру.

– Только дёрнись, пропорю артерию в ляжке, и ты через минуту кровью изойдёшь, никто спасти не успеет, – сказал он. – А теперь давай, признавайся, что хорошо я пою, – произнёс он, вдавливая остриё мне в бедро.

– Плохо поёшь, лажаешь, – выдержав паузу, сказал я.

– Ну, не ври! – прикрикнул он.

Жена, чуть склонив голову, наблюдала за нами и, по-моему, не видела ножа.

– Плохо поёшь, – деревянным голосом произнёс я.

Он вдавил остриё.

– Зачем врёшь? Откажись от своих слов, – горячим шёпотом сказал он, всматриваясь в моё лицо.

У него были тёмные ореховые глаза и кустистые брови, придавленные шапкой-петушком.

– Ну! – снова надавил он, но, вроде бы так, чтобы не проткнуть кожу.

Он поднял свободную руку, намереваясь забрать купюру, которую я всё ещё держал в воздухе. Я смял её, спрятал в ладони.

– Дай, – приказал он.

– Не заработал, – ответил я.

Со стороны мы, наверное, были похожи на двух беседующих лицом к лицу друзей.

Я кинул быстрый взгляд по округе. Полиции видно не было. Снова-ли пассажиры, смотрела на нас с интересом жена.

«Убьёт ведь, и правда кровью истеку», – подумал я.

Он отпрянул от меня, неуловимым движением спрятал нож в рукаве, как не было, и направился прочь. Полы леопардовой шубы его нелепо мотались при ходьбе.

У меня подломились ноги, я сел на корточки и, увидев направляющуюся ко мне жену, неуклюже сделал вид, что пытаюсь отряхнуть штанины от грязных точек.

## МЕДВЕДЬ

В январе после трескучих средьзимних морозов вдруг грянула внезапная отчаянная оттепель. Солнце тысячью белок скакало по голым ветвям леса, возилось в снегу лисицей, фыркало, звенело капелью. Снег просел, почернел местами, будто в конце марта. Потом напоззли тучи, и стало ещё теплее. Под брюхом своим тучи несли южные ветра и южное, разом повлажневшее в наших краях, тепло.

Ручьи залили берлогу медведя, самца семи лет от роду, лобастого, с крупным выступающим горбом. Спать в луже воды зимой не сможет даже такой стойкий любитель сна, как бурый медведь. Он раскидал сучья, укрытые снегом, служившие стеной его берлоге, и вылез на свет. Здесь ему стало ещё хуже. Свет ослепил его, а свежий воздух после берложьей затхлости заставил покачнуться и сесть в снег. Голова кружилась, перед закрытыми глазами метались чёрно-красные злые пятна.

Неизвестно, сколько он просидел бы так, но вскоре резь в пустом желудке сообщила медведю, насколько он голоден. Голод злее самого лютого мороза погнал его вперёд. В ушах шумело, лапы подгибались, но голод, голод... На ходу вернулась сила, дрожь в лапах унялась, в глазах прояснилось.

Пришла злость, пришло желание крови, горячей, солёной, густой. Медведь зарычал и прибавил шагу.

Он долго блуждал по округе. Вышел к селу, стоявшему в излучине замёрзшей сейчас реки, долго нюхал запахи дымов, опасные, будоражащие, будящие в груди древние страхи. Слушал собачий лай. Пересилив опасения, приблизился. Собаки остервенели, почуяв запах пробудившегося не ко времени голодного зверя. Тревожно замычала, заблеяла, заржала в хлевах учуявшая что-то в воздухе и собачьем лае скотина по закусам – коровы, овцы, лошади.

Шатун стоял в чистом поле, плохо соображая от голода. Село лежало перед ним, придавленное тулурами вечерних туч. На окраине показались мелкие, отсюда выглядящие как семена череды собаки. Они жались к постройкам, чуя жуткую силу того, кто наблюдал за ними, не таясь и стоя посреди синего простора поля. Зверь не двигался, не приближались и собаки, лишь лаяли да пританцовывали на месте, поджав распушённые от страха хвосты и дыбя шерсть на загривках. Самый крупный кобель, предводитель деревенских собак, не выдержав собственного страха, рванул навстречу медведю. Шатун убил его одним ударом лапы, тот едва успел завизжать напоследок. Затем медленно съел на виду у своры их вожака и отправился обратно в лес, ничуть не наевшись, а только раздражив клубок червей-паразитов в брюхе.

Через пару дней после пробуждения он взял лосиный след, несколько часов гнал сохатого по лесу. Настиг, долго ходил вокруг, то подступаясь, то отступая под ударами копыт, каждый из которых мог бы сломать лапу и тем уж точно не оставил бы медведю шансов пережить эту зиму.

Медведь устал, но устал и лось. Сделав несколько резких, почти невероятных быстрых для его размеров и массы движений, медведь нырнул, увернулся от острого копыта и вцепился молодому лосю в горло.

И вот она, вожделенная кровь. Горячая, солёная густая. Резь в животе, вызванная сонмом обитающих там червей, в бескормицу грызущих медведя изнутри с особенной яростью, успокоилась.

Лось лежал на боку, уронив голову в снег, и глаз его смотрел в затянутое тучами небо со смесью удивления и непонимания. Вскоре глаз подёрнула белая пелена, и всякое выражение исчезло из него.

Медведь выгрыз брюшину, немного утолив голод, потом, отяжелев от свалившейся сытости, снова, как возле берлоги, сел в снег, ощутив дрожь в ногах и метание сполохов перед глазами.

Насытившись и кое-как закидав лося снегом и ветками, отправился к озеру. В месте впадения речушки оттепель размыла полынью. Медведь вошёл в воду, с наслаждением ощутил, как отпускает боль в лапах, израненных за время погони за лосем. Медведь окунулся в воду с головой, вынырнул, отфыркиваясь, принялся бить по воде лапами.

Вдали послышался рёв медведицы и чуть позже рёв самца. Что-то знакомое почудилось в голосе самки, и медведь рванулся на звук битвы.

Огромный, в полтора раза больше среднего самца, шатун-каннибал разворотил берлогу, где спала с тремя новорождёнными медвежатами самка. Сейчас медвежата попискивали в мгновение выстывшей берлоге, а медведица, ощерив багряно-розовые дёсны с жёлтыми клыками, рыча, бросалась на гиганта. Тот, зная, что эту битву ей не пережить, не спешил и, чуть раскачиваясь, смотрел на самку. Её ярость была самым грозным её оружием, но даже её избыток не оставлял сомнения в исходе противостояния.

И тут на месте битвы появился наш герой. Медведям не свойственно чувство родства, и то, что медведь-шатун может разорить берлогу и съесть медведицу вместе с медвежатами, вполне заурядное дело, но тут что-то сыграло в голове, а может, в сердце нашего самца. Вдвоём они отогнали гиганта. И для этого даже не понадобилось вступать в драку. Пришлый понял, что против двоих ему не выстоять, и отступил. Они некоторое время рычали, скаля пасти и выпуская в воздух густые клубы разъярённого пара. Но постепенно рёв их становился всё менее грозным, а лапы рыли снег и землю уже не с той силой. Гигант удалился.

Самка, не доверяя добрым намерениям своего спасителя, зарычала, глядя в его сторону, и он, как и каннибал, был вынужден удалиться.

Наутро он приволок к берлоге наполовину съеденную им самим и окрестными волками тушу лося и оставил, услышав угрожающий рёв из тёмного берложьего нутра.

Больше медведю не встречались ни лоси, ни кабаны. Только зайцы, лисы, да волки, охотиться на которых смысла никакого не было. Сил уйдёт много, а есть, если даже поймашь, нечего. Февраль, зверь истощён морозами и бескормицей.

Но голод – зло, от которого не укрыться. Он заставляет забывать об опасности и учит не видеть угроз.

И шатун снова пришёл в село. Уже не таясь, а помня только, что действовать надо быстро, сломал дверь в овчарню и, переломив шею толстой курдючной ярке, выбежал из закуты и понёсся к лесу.

Уже когда огоньки деревни сильно отделились, позади него защёлки выстрелы, и одна пуля даже прожужжала где-то совсем рядом.

После того как он через несколько дней унёс телушку, в селе собрались охотники и отправились на поиски шатуна.

Он часто приходил к тому месту, где в озеро впадала река. Ломал лёд, купался, фыркал, урчал от удовольствия, вылезал неохотно, встряхивался, так что брызги летели, превращаясь на лету в ледяные дробины. Впрочем, как ни встряхивайся, а досуха не отряхнёшься, и после купаний шатун подолгу ходил, звеня ледышками на шерсти, а кое-где его покрывала настоящая ледяная броня.

Таким его и застали охотники, покрытым ледяной коркой, звенящим сосульками. Мечась из стороны в сторону, он уворачивался от пуль, задавил мимоходом двух собак. Несколько пуль попали в него, но те, что могли бы убить, отрикошетили от ледяного панциря, а те, что шли вскользь, ранили неопасно. Ярость шатуна не знает границ, и счастье, что ни с кем из охотников медведю не пришлось столкнуться нос к носу.

Шатун ушёл в лес, тяжело проваливаясь в сугробах.

Охотники не решились двинуться за ним.

– Это не медведь – оборотень, – шептались они. – От него пули отскакивают.

Обратно вернулись бесславно, и если б были у них хвосты, они поджали бы их, подобно своим собакам.

На следующий день жители села посадили в сани местного батюшку и объехали с иконами всё село по кругу, вознося молитвы Георгию Победоносцу, к которому, как считается, надо обращаться для защиты от диких зверей. Это всё, на что согласился батюшка, сославшись на то, что молитвенной защиты от оборотней не существует да и оборотней никаких нет, потому и сошлись на Георгии Победоносце.

Впрочем, чтобы задобрить нечисть, селяне раз в неделю вывозили на границу леса по барану, и так, в мире и согласии, они и дожили до солнца, весенних ручьёв, первой травы и сытого времени.

## ЭТО ВСЁ ЛУНА...

«– Хочешь стать моим мужем? – спросила Наташка.

Мне было шесть, я не был уверен, что готов к такому решительному шагу.

– Что молчишь? Боишься, мама не разрешит? – насмешливо сказала она.

Это был удар, что называется, ниже пояса. Наташка старше на два года и немного выше ростом, поэтому не упускала случая дать мне понять, что я младше неё.

– Нет, – ответил я. – Мама тут ни при чём. Захочу и женюсь.

– Так в чём дело?

– Детей не женят. В смысле, в ЗАГСе не расписывают.

Я уже успел побывать на двух свадьбах и потому более-менее представлял себе процедуру. По крайней мере, официальную её часть.

– А мы не пойдём в ЗАГС.

– То есть как?

– Ты станешь моим мужем перед луной и звёздами.

Наташка достала из кармана платья тонкую потрёпанную книжонку «Обычай и обряды апачей».

– Так ты же не апач... апачка, – заметил я, глядя на тотемный столб, состоящий из поставленных друг на друга рож разной степени страхолюдства.

По бокам от столба стояли мужчина и женщина с перьями в волосах.

– Скажи лучше, что маму боишься.

Она меня вечно ловила на этот крючок, и я ничего не мог с этим поделать.

– Говори, что делать.

– Я посмотрела по численнику, через три дня будет полнолуние.

Через три дня мы развели на краю лога небольшой костерок, и когда взошла луна, Наташка приказала:

– Снимай рубашку.

Я покорно подчинился.

Наташка тоже скинула кофтёнку и белую майку на лямках, оставшись в спортивных штанах и сандалиях.

Она достала из сумки, что принесла с собой, два пучка сухого чабреца, спички и уже знакомую мне брошюру с тотемным столбом и апачами на обложке. Лица апачей в свете костра стали похожи на физиономии алкоголиков, которых в нашей деревне хватало.

Из оврага потянуло сыростью. Где-то там, на дне его время от времени пробуждался к жизни ручей. Я прислушался, и мне показалось, что я улавливаю лёгкое журчание. Целую неделю перед этим лили дожди, и ручей, конечно, мог ожить.

Кожа моя пошла крупными, как соль у бабушки в кадке, мурашками. Луна восходила над противоположным краем лога, будто рождаясь

из густой чёрной шерсти трав, в свете ночного светила тут же становившихся оловянно-белыми. Огромная, с красноватым отливом луна поднималась, обретая всё более чёткие очертания. Замершая метель звёзд высыпала на небо.

– Пора, – произнесла Наташка негромко и торжественно.

– Сейчас я очищу тебя, а ты меня, – сказала она.

Она осторожно опустила пучок чабреца в костёр, а потом поднесла к моей груди. Пламя коснулось захладевшей кожи.

– Ты сдурела?! – взвизгнул я.

– Тихо! – негромко, но со значением произнесла Наташка.

Она стала ходить вокруг меня, изредка касаясь пламенем моей кожи. Пусть на мгновение, но боль была сильной.

Я снова пискнул.

– Ты мужик или нет? – треснула она меня меж лопаток своей узкой, крепкой, как дощечка, ладонью.

Я замолчал и больше за всю процедуру не проронил ни звука.

“Зато теперь не холодно”, – подумал я, сжимая зубы.

– Теперь ты оботри меня, – сказала она, когда пучок прогорел, иставя до нескольких голых хвостиков в её руке.

– А что делать-то?

– Просто ходи вокруг меня и очищай огнём.

– Как?

– Как тряпкой моют, только огнём.

Она намотала свои длинные волосы на руку и подняла их вверх, к макушке, чтобы я случайно не поджёг их.

Я ходил вокруг Наташки и осторожно подносил пламя к её голой, вздрагивающей коже. Она терпеливо сносила близость огня, лишь иногда закусывала губу. Когда и мой пучок прогорел, она бросила его остатки в костёр и, взяв меня за руку, сказала внезапно ставшим зычным, как труба, голосом, так что эхо загуляло по логу, в сторону восходящей, нависающей над нами, взбаламученной тёмными разводами, луны.

– Мать луна, смотри, теперь я жена его, а он мой муж. Отныне мы одно целое, и он не сможет ни в чём отказать мне и никогда не соврёт мне, а я ему. Прими нашу клятву в верности и благослови нас.

“Это же навсегда”, – подумал я.

Кожу мою, словно начали кусать сотни маленьких крокодильчиков.

– Клянись быть верным мне, – приказала Наташка. – Перед луной клянись.

Лицо её в свете угасающего костра было совсем незнакомым и внезапно очень похожим на индейское. Не на одно из тех, с обложки, а на такое, от которого мурашки посыпались от макушки до пят.

– Клянись.

– Клянусь, – сказал я, вне себя от страха.

Она мазнула меня губами по щеке.

– Теперь ты поцелуй меня.

Я повиновался.

Щека её была внезапно и ледяной, и горячей, как пламя, которым она меня омывала...»

Тут, уже изрядно набравшись виски, я засмеялся и позволил себе прервать рассказ дядьки Марка.

Мы сидели на веранде его небольшой деревянной двухэтажной дачи под Электроуглями. Между нами располагался столик с литровой бутылкой любимого дядькиного торфяного виски.

Луна давно зашла, мы сидели в темноте, только на перилах тлела химозная спираль, отпугивающая комаров, да сияли в небе, подсвеченном Москвой, звёзды.

Я набрался, мне захотелось поёрничать.

– Постой, постой. Я доскажу твою историю. На следующий день после «бракосочетания» она сказала, чтобы ты принёс ей конфеты, апельсин или что-то ещё, что она любит. И ты покорно таскал ей всё это, а потом выяснилось, что она сочеталась подобным браком с половиной окрестных мальчишек и они стали добровольными её поставщиками и фактически рабами, потому что «одно целое, нельзя врать» и всё такое. Верно? Я угадал?

Дядька едва слышно хмыкнул в темноте, нисколько, впрочем, не обидевшись.

– Нет, – сказал он. – Может, оно было бы более жизненно, случись всё так, как ты рассказал. И уж точно смешнее. Но её родители вскоре переехали из нашего села. Говорили, что в Узбекистан. А через несколько лет к нам стали приезжать русские беженцы уже из Узбекистана. Говорили, что бежали от резни. Её семья не вернулась, и я не знаю, что с ней. Не знаю, жива она или нет. Я даже фамилии её не помню. По-моему, даже и не знал никогда.

Дядька еле слышно постучал краем стакана толстого стекла о зубы. Послышался тонкий щемящий звон.

– Но с тех пор не могу спокойно смотреть на луну. Вот и сейчас, хорошо, что она ушла. Глядя на неё, я всегда вспоминаю костёр на краю оврага, горящий пучок сухого чабреца, пахнувшего неимоверно душно и колдовски, и луну, огромную, нависающую над нами, подёрнутую чёрными дымками, под которой мы, крошечные, немногим больше тех самых стебельков чабреца, приносим клятву верности друг другу. С тех пор не выношу запах чабреца. Всё внутри дрожит, хочется куда-то бежать.

– Это детская травма, дядь Марк.

– Нет, дружище, – одновременно очень добрым и каким-то далёким голосом произнёс дядька. – Это луна. Это всё луна...

## Александр ОРЛОВ

Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 им. И. П. Павлова, Литературный институт им. А.М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, основ философии и права в столичной школе.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Бийский вестник», «День и ночь», «Дети Ра», «Дон», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Наш современник», «Подъём», «Сибирь», «Сибирские огни», «Юность». Автор сборников поэзии и прозы и книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси».

Лауреат всероссийских премий имени А.П. Платонова (2011), Ф.Н. Глинки (2012), С.С. Бехтеева (2014), Н.С. Лескова (2019), Д.Н. Мамина-Сибиряка (2020) и других, обладатель «Золотого Витязя», а также специального приза Издательского совета РПЦ «Дорога к храму» (2017).

Живет в Москве.

## СВЯТЫЕ МУЗЫКАНТЫ

*Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие,  
как львы!*

Николай Гоголь

– Местный владыка всегда нос по ветру держал, а как стал понимать, что, кроме пяти священников епархии, все устремили свои взгляды к Московскому патриархату, то мгновенно сориентировался, не просто дал дёру, как говорится, а ещё и прихватил всё что смог: старинные иконы, деньги все, что были, самую ценную церковную утварь – и только его и видели, – заулыбался отец Евгений.

Пристально глядявываясь в глаза отца Евгения, мысленно я воспроизвёл написанное Гоголем: «Главный герой, Тарас, считал себя защитником православия». Он вообще своей бородкой и шутливым нравом походил на какого-то гоголевского персонажа, да и храбрость у него была истинная, словно в него вселился дух одного из запорожских казаков.

– В общем, отбыл его преосвященство в согласии с традициями, что остались с униатских времён в головах немалого представительства упэцэшно-го духовенства, – вступил я в разговор, но чувствовал, что надвигающаяся пауза требует продолжения: – С этим внутренним себялюбием и себяпочитанием я встречался не раз на Донбассе среди украинского священства. Много о себе говорят, о школе своей древней, о традициях, о том, как все в праздничные дни в одном облачении, о строгости, у многих по два креста нагрудных, видимо, в служении ни один десяток лет провели. Внешним серьёзно больны. Поэтому у них и храмы полупустые или совсем пустые, и поддержки в народе нет, да и в администрации. Но они об этом не заботятся, – неожиданная пауза возникла в нашем разговоре. Мы трапезничали.

Но это временное затишье я решил перебить. Мне требовалось говорить и говорить, так как многое интересовало:

– Я сейчас с вами разговариваю, а сам вспоминаю, сколько мы в Бердянске видели закрытых храмов – и православных, и не только. Что случилось?

– Да по-разному, – не прекращая улыбаться, ответил отец Евгений. – Если православные видели закрытыми, то это одно дело, там батюшки сбежали в боязни прихода русни, думали, всех вырезать начнут, а если про остальные, то там одна и та же история. В некоторых храмах были не только схроны с оружием и взрывчаткой, но и целое лежбище нациков, а на высотных сооружениях были обустроены скрытные пункты наблюдения, которые были оснащены натовскими приборами ночного видения и оптикой, то же самое и католический костёл, и лютеранская церковь, которой немцы помогали. Так что их вовремя обнаружили, а то бы эти ждуны немало крови бы пустили, им только дай, они до крови очень голодные, а главное, им дела нет, что за человек, они людей ненавидят, чистокровные дьяволята.

– Лежки, о которых отец Евгений рассказывает, были расположены в шпале католического костёла в честь Рождества Богородицы, этот, если быть совсем точными, находится на Западном проспекте. И ещё одна лежка располагалась прямо напротив монумента Великой Отечественной войны, прямо там, где располагается Вечный огонь, – вступил в разговор немногословный отец Сергей.

– Да, вот ещё что, в цоколе костёла был обнаружен схрон с боеприпасами и нацистскими материалами. Там этой фашистской литературы пруд пруди, на целую городскую библиотеку хватило бы, – дополнил свой рассказ отец Евгений.

– Да-а, дела, – протяжно произнёс я и тут же продолжил: – Но я не удивлён, если обратиться к истории, то, как известно, все родственники гауптмана Романа Шухевича, заместителя командира диверсионно-террористического батальона «Нахтигаль» дивизии СС «Галичина» и полицейско-карательных формирований на Львовщине, Волыни и в Белоруссии по материнской линии, были униатскими священниками, а у Степана Бандеры и многих других галицийских нацистов униатскими священниками были отцы. Само по себе униатское происхождение имеет колоссальное значение в вопросах понимания этого звериного по своей ожесточённости движения. Все эти униатские садисты от рождения ненавидели Россию. Сейчас вспоминаю, как при первой нашей поездке на Донбасс мы были у одного хлебосольного и разговорчивого архиерея. Не забуду его слова, а владыка говорил, что здесь у нас свои, а там наши, только вот интересно ему, рождённому на Западной Украине, какие ближе и кто у него свои – нацбатовцы? Может, наши для него эсбэушники? Как нам Спаситель заповедовал, «никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне...» Только, может, таким владыкам виднее? – как-то со злостью вырвались у меня эти слова, стало немного неудобно, но я чувствовал, что не могу молчать:

– Есть такая избитая фраза из рассказа О. Генри «Дороги, которые мы выбираем...», всем она известна, так что: «Боливар не выдержит двоих...» Так вот таких служителей никто и никогда добрым словом не помянет. Они собственной умелой двойственностью свой выбор сделали. Так было в Гражданскую войну, так было во время Великой

Отечественной, но не мне судить, только уверен я, что их будущее – великое затмение, а иного и быть не может, Гоголя вспомнил, у него есть такие строки, они, конечно, нам всем послы, но более адресованы тем, о которых я уже говорил, так вот Гоголь писал, что «церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших...» – казалось, что я уже выговорился, но здесь наш разговор продолжил отец Евгений:

– Это всё непросто. Когда началась СВО, то из Бердянска многие драпанули, а мы ждали прихода русской армии и боялись, но перед заходом наших, мы теперь все так русскую армию называем, потоком хлынули беженцы, и конца им и края не было. В основном из Мариуполя, и как начали они нам рассказывать, что ими было пережито, то у нас волосы на голове дыбом встали. Только вы ешьте, а то после салатов мы так разговорились, что о трапезе и позабыли, а это нехорошо, сейчас нашу рыбу принесут, сами убедитесь, что за вкус, её буквально только что для вас в Азовском море выловили, а я под рыбу вам много ещё чего расскажу.

Стройная официантка Валентина лет тридцати или чуть старше принесла огромный поднос, и казалось, что ей не под силу одной справиться с этим громадным металлическим листом округлой формы. Отец Сергей встал и сделал движение по направлению к официантке, и тут же за ним привстал отец Евгений, но Валентина была категорична:

– Сидите, сидите, батюшки дорогие, и вы, гости наши, тоже не беспокойтесь, я сама справлюсь, а вы, батюшки, лучше о гостях позаботьтесь, а это всё остальное – моя работа.

Мы увлеклись трапезой, и разговор наш прекратился. Рыба была неизменно вкусная и искусного приготовления.

– Отцы дорогие, а что это за рыба такая?

– Вкусная? – поинтересовался отец Сергей.

– Ну, вкусная сказать мало, и как приготовлена! – не смог я сдержать эмоции.

– Эта рыба называется калкан, это разновидность камбалы, а другая – пеленгас, и это уже разновидность кефали, – поведал отец Евгений.

– Вам завтра в дальнюю дорогу, и мы хотим, чтобы вы запомнили всё, что здесь увидели, – поддержал беседу отец Сергей.

– И чтобы Бог вас хранил и на Донецщине, и на Луганщине, – добавил отец Евгений.

Я внимательно всматривался в лица этих священников и постоянно вспоминал слова Николая Васильевича Гоголя об историческом смысле малороссийского казачества, которое гуляло здесь, в Запорожье, и смыслом их жизни являлась борьба за народность и веру, которая на столетия вперёд закалила характер. Мне виделось, что заключение великого русского писателя, что эта борьба придала казакам черты железной энергии, которая задерживалась и скрывалась под личиной самобытной мудрости, было присуще этим двух Господним слугам. Этот пятидесятилетний и подтянутый мужчина, которого характеризовало чувство неимоверного самообладания, был искрени и прост, но главное, что как бы он ни опасался всего, что было с ним и что ему предстояло испытать в будущем, он был верен своей совести. Его было не остановить в его решениях. Он спокойно и храбро служил, невзирая на то, что каждый раз в воскресенье перед литургией ему приходилось вместе с матушкой и прихожанами вымывать стены, двери, окна, дверные ручки от человеческого дерьма, которым вымазывали Дом Господа на нашей грешной земле пытавшиеся запугать священника и приход последова-

тели Бандеры и Шухевича. И каждый раз, очистив вместе с приходом святое место, он начинал служить Богу. Он был спокоен в моменты, когда стены храма разрисовывали свастиками, обливали красной краской, оставляли на них оскорбительные и нецензурные выражения. Его не сломили и не сломят. Он сидит во главе нашего стола и с улыбкой жизнелюба и задумчивостью гурмана поглощает вкуснейшую азовскую рыбу. Я смотрю на этого великорусского человека, истинного славянина с прекрасным институтским образованием, и опять вспоминаю Гоголя, который писал, что у духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются, – исповедь и проповедь. В этот момент отец Евгений словно вступил со мной в мыслительный диалог, он внимательно посмотрел на меня с улыбкой и начал свой рассказ:

– То было много лет назад, в Святогорском монастыре тогда служил приснопамятный архимандрит Серафим, и многие люди его почитали за старца. Тогда ещё молодым священником я с двумя паломниками приехал в обитель помолиться святыням. Мы пошли на гору в Никольский храм на акафист святителя Николая, а после по меловым горам решили спуститься к могилке святого Иоанна, а по дороге встретили батюшку, который прогуливался недалеко от пещерного храма святителя Николая. Я подошёл под благословение, а он, к моему удивлению, обнял меня и стал рассказывать, как тяжело священнику приходится жить в селе. Я тогда служил в селе, и было у меня прихожан человек восемь самое большое, а детей у нас с матушкой было уже трое, и мы еле-еле сводили концы с концами. Батюшка тогда посмотрел на меня и тяжело вздохнул, как-то очень тяжело, и сказал, что и в городе нелегко, ведь послушаний много дают, а потом вздохнул ещё тяжелее и сказал:

– А тут ещё эта автокефалия, но как только до неё дело дойдёт, то снимай крест и ступай к архиерею и положи крест на стол, а потом на работу.

Я стоял, ничего не понимая, но и не мог ни единого слова вымолвить, а он мне строго так:

– Запомнил?

– Да, батюшка, запомнил, – ответил я.

Но сам недоумевал: какая автокефалия? Мыслимо ли это? В то время автокефалия была только филаретовская, и никто её всерьёз не воспринимал, и филаретовцев за священников никто не считал, так было не только в Восточной Украине и в Центральной... Но, когда произошла феофания, тогда я сразу вспомнил слова отца Серафима.

Мы все внимательно слушали повествование отца Евгения о его встрече со старцем Серафимом и предсказании о том, что произошло на Украине спустя десятилетия, только задержавшаяся у нашего стола Валентина незаметно смахивала одну слезу за другой.

– Вы уж меня простите, что я встречаю, да, может, и не по чину мне, но я вам всё скажу, всё как было, – резко бросила решительно развернувшаяся к столу Валентина

– Что вы, конечно, говорите, не надо извиняться. Правду не спрячешь, – ответил я Валентине. Я старался, чтобы голос мой был как можно размеренное, так как уже давно видел, что Валентина сильно взволнована.

– Вы уже меня простите, но я молчать не могу. У нас же знаете, ещё давно в той России, при царе, село было, а потом казаки поселились с Изюма, да переселенцев много было, со всей страны, как рассказывают, а потом и соль нашли, и уже при Советской власти рудник за рудником открывали, кварциты, глина огнеупорная, тоже всё у нас, и станция была

«Соль», а наша «Артёмсоль» всю Украину снабжала, и за границу её продавали по всей Европе и в Африку, только те гроши были не наши. Но, главное, церковь у нас в соляных шахтах единственная в мире, на триста метров под землёй дом Господень во имя вознесения Господня углубился. Много чего было, да только всё в прошлом. Как пришли эти захистники, так мы сразу всё поняли, от кого они нас захищать будут. И уж так они нас захищали, что этот захист, всё их заступничество я никогда не забуду, а дети мои и своим детям, и детям их детей, даст боже, расскажут. Из рода в род передадут. Подогнули они к нашему дому танк, спрыгнули с него и давай в дверь бить, а дверь металлическая и не поддаётся, стали орать. Ну я и несколько соседок моих высунулись в окна спрашиваем, что им надо, а они говорят нам, что теперь у них здесь опорник будет. Мы, конечно, в крик, что вы, у нас дети, что с ними и нами будет, а они нам сказали, что им всё равно, танк выехал на прямую наводку, и командир вылез из люка, ржёт, рожа красная, хоть прикуривай, и говорит, что если мы не откроем, он сейчас откроет сам. Открыли, а что делать, и жили мы после этого в подвале не один день, а вот уйти нам не разрешили, так и сказали, что кто уйдёт из дома, тот, может, и не дойдёт до ближайшей улицы. Так жили мы без воды и еды и без света белого. Все наши припасы закончились быстро, но они нас не забывали. Как обратка в них летит, так они к нам в подвал. Сразу в крик: «Слава Украине», а потом жрать садились и пить, а нас заставляли петь «Ще не вмерла України і слава...» – и сами они, пьянющие, распевали, особенно любили: «Ой Богдане, Богдане, славний наш гетьмане! Нащо віддав Україну москалям поганим?! Щоб вернути її честь, ляжем головами, назовемся України вірними синами!» Так они жировали, а мы голодали, они зигаоали, а мы рыдали, только молча, а потом пришла русская армия. ЧВК «Вагнер».

– Музыканты, – обронил я.

– Музыканты, – сказала Валентина скороговоркой и начала быстро говорить, отрывисто, не переставая смахивая слёзы. – Они детей моих и меня вытащили через окна подвала, а окна там узкие, и это пока по ним стреляли со всех сторон, а потом трое ребят взяли моих детей и побежали. Они бежали, и каждый из них прижимал моих деток к себе, а меня прикрывал четвёртый из них, а справа и слева нас прикрывали собой ещё по трое парней, и так мы бежали под обстрелом наших захистников, а я помню, как у одного пошла кровь, ранили его, а он не останавливается и бежит с нами, хотя видно, что тяжело, так мы и спаслись, а ребята поранились, двое из них. Для кого они музыканты, а для меня святые. В них словно вся сила предков наших из Сечи вошла, поэтому и святые они для нас до гроба. – Валя улыбалась и плакала, словно это чудотворное спасение под огнём фашистских тварей произошло только сейчас на моих глазах.

Мне показалось на мгновенье, что всё, что происходит сейчас и будет происходить и вспоминаться после, в памяти людей останется великим служением, которое объединяет мелодия жизни, исполнителями которой являются и вагнеровцы, и священники, сидевшие напротив меня, и все, кто победил новообращённых фашистов на великой русской земле, ведь ещё не так давно, каких-то вести лет назад, Николай Васильевич Гоголь нам завещал в своём великом произведении, что, как умеют биться на Русской земле и, ещё лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру, так нигде и никогда не умеют биться и умирать.

## Сергей КОЗЛОВ

Родился в 1966 году в Тюмени. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «история». Служил в армии. Работал сторожем, музыкантом, учителем истории, текстовиком в рекламном агентстве, директором школы, редактором газеты «Новости Югры». Главный редактор журнала «Югра».

Публиковался в газете «Литературная Россия», в журналах и альманахах. Автор многих книг прозы, вышедших в России и за рубежом.

Член Союза писателей России. Живет в Тюмени.

## ЛЕРМОНТОВ

История эта началась в конце 90-х, когда я работал учителем истории в сельской средней школе. Одному моему толковому ученику Ивану Дмитриеву тяжело давалась история России первой половины XIX века. Точнее – всё, что было после декабристов, ещё точнее – всё, что было после смерти Пушкина. А знать он хотел, потому как собирался поступать в Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности, а там нужны были при поступлении история и общественные науки. В общем – и поступить, и знать ученик хотел. Мотивация на генетическом уровне – отец офицер, старший брат служил в пограничных войсках, военная романтика в сознании ещё не развеяна сермяжным армейским бытом...

– Не заходит мне это время, – жаловался мне на вторую треть XIX века Ваня.

Я же как человек, родившийся в День пограничника, историк по образованию, посчитал делом чести поступление моего ученика в данный вуз. В какой-то момент вспомнил, что и у меня в университете это время, как говорит нынешняя молодёжь, «не заходило». Единственная четверка в дипломе – именно за этот период отечественной истории. И мне в своё время, и Ване спустя десять лет требовалась какая-то точка опоры. И я вдруг вспомнил, что такой точкой для меня стало прочтение лермонтовского «Героя нашего времени», романа, который я в школе «прочитал» по диагонали, потому как тогда лучше читались Рэй Брэдбери и Пьер Буль, Иван Ефремов и Алексей Казанцев...

– А прочитай-ка ты, Иван, «Героя нашего времени», – посоветовал я без особых надежд своему целеустремлённому ученику.

Он посмотрел на меня с сомнением и недоверием:

– Так нам его по программе вроде в следующем году...

– Мне помогло, – опередил я его дальнейшие вопросы. – Честно. Но это было уже после армии, на третьем курсе... Кстати, я потом вообще стал

перечитывать русскую классику, особенно Достоевского. Но тебе рано. Достоевского – точно рано. До сих пор не могу понять, зачем вам дают «Преступление и наказание»? А надо бы «Идиота». Какой идиот в педагогике совершил это преступление перед Достоевским?.. – начал я было размышлять о школьном курсе русской литературы, но Иван поморщился:

– Сергей Сергеевич, а зачем это всё вообще будущему русскому офицеру?

Я вздохнул. На дворе были смутные 90-е, и русская литература вообще была не ко двору. Долгие философские сентенции, как говорила молодёжь, не прокатывали, и я ответил просто:

– «Герой нашего времени» — это про русских офицеров того времени... – и мотивация сработала.

– Понял, принял, – как военный связист ответил мне будущий курсант Дмитриев.

Он пришёл ко мне через неделю с томиком Лермонтова.

– Ну вот, Сергей Сергеевич, прочитал... Вот только не понял, Печорин вроде не мажор по родству, а ведёт себя как мажор. Эту люблю, эту не люблю, эту полюблю от нечего делать, тут постреляюсь... Лермонтов с себя, что ли, писал? Язык, кстати, так себе... Всё же мне больше стихи у Михаила Юрьевича нравятся.

– Мне тоже, – признался я в ответ.

– Но время почувствовал... Вот прямо почувствовал, а ещё понял почему через сто лет всё рухнуло.

– Почему же?

– Элита так и разлагалась. В том числе военная. Подвиги от скуки совершать? Или покрасоваться? И этот, как его, фатализм... Вот точно Лермонтов про себя писал. Также ведь на дуэли погиб...

– Все авторы отчасти пишут про себя, из своего опыта, – согласился я. – С фатализмом ты тоже отчасти прав. – Я глубоко вздохнул. – Выходит, ты пожалел о потраченном на чтение времени?

– Нет-нет, я уже понял, что жалеть потом придётся о том, что не успел прочитать...

И эпоху первой трети и середины XIX века Ваня действительно почувствовал. Эпоха Николая Первого стала ему понятна. Как и сам император, которого незаслуженно в историографии долгое время называли реакционером. А император может быть только императором. И умер он под солдатской шинелью.

Ваня позвонил мне ещё из Москвы, когда сдал вступительные экзамены, позвонил и хохотал, потому как достались ему именно кавказские войны.

– Фатализм! – крикнул он в трубку.

ЕГЭ введут буквально через год, и потому абитуриенты ещё не тыкали в листы с квадратиками гелевыми ручками, а развёрнуто отвечали преподавателю-экзаменатору и должны были быть готовы отвечать на развёрнутые дополнительные вопросы. В общем, помог «Герой нашего времени» моему ученику. Иван ещё прислал пару фотографий в форме курсанта, а потом, как водится, ушёл в свою жизнь. Однажды лейтенант Дмитриев зашёл в школу, когда был в отпуске, но говорили мы уже о не об истории, не о Лермонтове, а о той самой жизни, потому что страна мало-помалу начинала подниматься с колен, на которые добровольно упала перед теми, кого всегда побеждала. Я ещё пошутил, что он уже обошёл меня, сержанта Советской армии, по званию, а он постучал себе в лоб указательным пальцем:

– Здесь бы догнать... Чтобы не поддерживать своим бравым видом поговорку «чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона».

Через какое-то время я ушёл из школы преподавать в вуз, Ивана бросало где-то по границам урезанной империи да по локальным конфликтам. То в Среднюю Азию, то на Кавказ – на современные кавказские войны, тоже, своего рода, фатализм... И, наверное, я бы никогда особо не вспомнил про героя уже нашего времени, уж тысячи учеников выпустил, если бы он сам не напомнил о себе сам летом 2023 года.

Пришла эсэмэска: «Лежу в госпитале, что посоветуете почитать?»

Ну да, где же ещё мог быть герой нашего времени, всю юность мечтавший стать офицером...

Я к тому времени знал, что многие мои ученики уже сражаются в зоне специальной военной операции как добровольцами, так и мобилизованными, а некоторые погибли... Многие из них писали мне в телеграмм или даже звонили. Рядовой и сержантский состав представляли собой те самые троечники, двоечников у меня не было. Принципиально не ставил двойки, потому что двойка – это не только оценка ученика, но и самому себе. Да, самую тяжелую ляжку войны тянули троечники.

«Интересно, он сейчас майор или уже подполковник?» – подумал я, пытаюсь понять, зачем взрослый состоявшийся мужчина спрашивает у престарелого учителя, что ему почитать...

Но тут случилась оказия, друг мой, который часто ездил в зону СВО с различными грузами и гуманитарной помощью засобиравшись в очередной раз «к ленточке». Я спросил будет ли у него возможность и по пути ли подхватить пару коробок книг для госпиталя. Он глянул на номер госпиталя и кивнул:

– Сделаем, крюк небольшой. – Все места на карте у ленточки товарищ мой знал от и до, потому как мотался туда минимум раз в месяц. – Напиши – кому...

Книг он увёз не две, а несколько коробок, которые мы собрали с друзьями за какие-то пару дней. Причем не сказал ни слова против, наоборот, заботливо надув щёки, решил, что выгрузит пару коробок с таблетками от диареи, потому как даже в окопах с ними перебор. А вот книги давно надо начать возить. Так что досталось отправленной литературы не только госпиталю, но и некоторым библиотекам Луганщины. Я же написал Ивану, что отправил книжную посылку в госпиталь, и просил сообщить о получении. «А ваши книги там есть?» – спросил он в ответ. Я ответил утвердительно, порадовавшись, что, возможно, дойдут глаза бойца и до моего скромного творчества, а сам снова погрузился в нашу тыловую суету, хотя порой с тоской вспоминаю окопное братство, потому как нигде более такого братства не встретишь. Как у Гоголя, в словах Тараса Бульбы о товариществе.

Прошла неделя, а вестей от Ивана не было. Впрочем, даже в самом глубоком тылу все уже давно поняли: оттуда звонят и пишут, когда могут, а не тогда, когда мы ждём. А потом вернулся мой друг и рассказал:

– Слушай, а нет же твоего ученика в госпитале.

– Как нет? – удивился я.

– Такие, как он, там не засиживаются, не залёживаются, мне так главврач сказал: только подлатали, и обратно. А куда обратно, сам знаешь – никто нам не скажет, хотя оно и правильно. Но книги я оставил. Ту, что ты с дарственной надписью отправил, передал главному, он найдёт способ доставить адресату.

– Спасибо...

– Что-то мне подсказывает, – грустно улыбнулся мой товарищ, – что Иван твой ещё не раз в этом госпитале побывает. Если не сам, то бойцов своих привезёт... Не дай бог, конечно... Он же и там успел отличиться...

– В каком смысле? – нахмурил я лоб.

– В хорошем. Там один боец, когда у него друг от ранений умер, умудрился напиться... где только алкоголь взял?! Там сейчас с этим строго. И заперся с боевой гранатой в морге. Такой отдельный домик во дворе всего с двумя окнами... Гранату-то проще найти, чем бутылку, но вот у этого и то и другое получилось.

– Зачем в морге-то?

– Ну, рядом с телом друга своего. Они же там как реальные братья становятся. Даже больше, чем родные.

– Знаю, – угрюмо подтвердил я. – Так зачем?

– Требовал, чтобы ему пленных «немцев» из той части, которую они штурмовали, привели на суд. Он одного такого из палаты пленных умудрился с собой прихватить...

– Отчего ж просто гранату в эту палату не швырнул? – спросил я.

Друг пожал плечами:

– Кто ж пьяную голову разберёт, да ещё контуженную? Ведите, говорит, судить буду... Его и главврач, и сёстры уговаривали, и сослуживцы... Ни в какую! А тут вышел во двор твой Иван, махом ситуацию просёк, велел всем отойти, потому как по званию он старший был. Короче принял командование ситуацией на себя. Главный ему говорит, что сейчас военная полиция приедет, мол, что удумал, Иван Андреевич. А тот говорит: граната не бутылка, упадёт не разобьётся, продолжайте говорить с ним через дверь, а мы сейчас опровергнем фатализм девятнадцатого века...

На этих словах рассказа я улыбнулся. Мелькнули в сознании образы Печорина, Казбича, есаула и добрейшего Максима Максимовича... «жаль не Сергея Сергеевича», – улыбнулся я своим мыслям. А товарищ мой продолжал:

– Доктор ему тихо, что, мол, всякое может случиться. А вояка ваш: хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь! Я, говорит, это с девятого класса знаю. «Откуда в девятом-то классе такое знать?» – усомнился главный врач, а Иван ему: «От героя нашего времени, то бишь от героев былых времён»... В общем, броник и каску надел, под окно подполз, пока доктор уговаривал бойца через дверь, один нырок – и он в морге. В морге – среди живых и мёртвых. Через полминуты уже вывел бойца раненого. И – граната в кулаке. Импортная оказалась... И пленный – трясущийся и бледный, весь в бинтах за ними выполз... Герой твой Ваня.

– Герой нашего времени, – улыбнулся я.

– Что? – не расслышал или не совсем понял мой друг.

– Да ситуация почти как в романе Лермонтова...

Товарищ мой вдруг улыбнулся и захохотал. Я смотрел на него с выжидательным изумлением, пока он не успокоился и не смог объяснить причину своего смеха.

– Позывной у твоего Ивана знаешь какой?

– Да откуда мне знать?

– Лермонтов...

История эта не кончится, пока есть герои нашего времени, пока есть Лермонтов.

## Евгений ЭРАСТОВ

Родился в 1963 году в Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт и Литинститут им. А. М. Горького. Доктор медицинских наук.

Автор семи поэтических и четырех прозаических книг, а также более двухсот публикаций в периодике. Произведения переводились на английский, немецкий, испанский, македонский и болгарский языки. Лауреат премий Нижнего Новгорода (2008), Нижегородской области им. А.М. Горького (2014), имени Ольги Бешенковской (Германия, 2014), литературной премии имени Марины Цветаевой (Тагарстан, Елабуга, 2014), литературной премии имени Николая Рыленкова (Смоленск, 2022) и многих других, победитель нескольких международных поэтических конкурсов.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ РОЗЫ ЛЬВОВНЫ

В небольшой комнатке муниципального дома города Окленда, штат Калифорния, я увидел ее впервые. Маленькая, совершенно высохшая, длинноносая старушка в сиреновом брючном костюме, так плохо сочетающемся с ее возрастом, сидела на большом металлическом кресле, оборудованном причудливыми колесами и рычагами. Было похоже, что это добрая волшебница из очень-очень старой, давно прочитанной сказки, залезшая внутрь фантастического циферблата Времени. Обстановка в этой комнатке поражала причудливой эклектикой, граничащей с безвкусицей – огромный плоский экран телевизора, местного, разумеется, производства, никак не сочетался с советским коричневым книжным шкафчиком сдвигающимися в пазах рифлеными стеклами. Над письменным столом, за которым никто никогда не сидел, висела цветная карта Соединенных Штатов со смешными маленькими изображениями различных животных, обитающих в том или ином регионе. А на столе располагался серебристый письменный прибор с ячейками для ручек и карандашей, увенчанный металлической пластинкой с рельефом головы лысого и скуластого Ленина. Казалось, что в комнате Розы Львовны Время перешло в какое-то иное агрегатное состояние – застыло, как кусочки льда в пластмассовом поддоне холодильника, спрессовалось, как опилки в плитах, из которых был сделан ее советский шкафчик.

Роза Львовна эмигрировала в Америку из Риги, где почти всю жизнь преподавала в университете политэкономии. Ее сын, профессор математики, давно уже работал в университете Беркли и жил в двухэтажном доме на окраине Окленда. Профессора звали Саша, и это очень русское имя еще раз свидетельствовало о космополитизме нашей героини.

Ничего такого, что бы так или иначе говорило о еврейском происхождении Розы Львовны, в комнате не было – ни семисвечника, ни собрания сочинений Шолом-Алейхема.

Возле кресла стояла, облокотившись на его спинку огромными красными лапищами, женщина-великан. Эта Брунгильда была хороша собой и имела вполне пропорциональное телосложение, однако все части ее тела были увеличены в полтора раза по сравнению со среднестатистическими значениями.

– Лай-маа, – представилась она с выраженным латышским акцентом.

– Вы даже представить себе не можете, Женя, – сказала Роза Львовна, – какие чудеса пришлось вытворять Саше, чтобы Лайму взяли сюда на ПМЖ. Он настолько виртуозно махал своей волшебной палочкой и такие, знаете, сказочные слова произносил, что в американском консульстве все просто застывало от удивления. Что говорить – волшебник и есть волшебник! Иначе как волшебными словами на этих закоренелых чиновников воздействовать и нельзя! Здесь вам не Россия. Это у нас так – рашен, карапшен, – как они говорят! А здесь никакой коррупции, на деньги не ведутся... Зато тупы как бараны! Саша, кстати, называл мне эти слова, но я, конечно, забыла их. Да и какой с меня прок! Одно слово – человеческое недоразумение. Мало того что сидит как истукан в одной позе, так еще и не видит ни хрена. Кажется, «крэкс–пэкс–фэкс». Именно такие слова произнес Саша. И тем самым он изменил жизнь бедной склеротички до неузнаваемости. Я настолько привыкла к Лайме, мы уже пятнадцать лет неразлучны, и я не мыслю свою жизнь без этой девушки... Кстати, вы не знаете никаких волшебных слов, Женя? Может быть, поделитесь со старой каргой?

Девушке явно было за сорок. Но Розе Львовне было вполне простительно так называть ее, поскольку ей самой недавно исполнилось девяносто восемь.

– Ну что же, Женя, – продолжала она, и я не переставал удивляться тому, что ее сравнительно молодой голос принадлежал столь зрелой человеческой особи, – стоило ли лететь в такую даль, над всей Атлантикой да еще и над всей Северной Америкой, чтобы увидеть такое чудо, как я?... Кстати, не нужно говорить со мной громко. Я великолепно слышу. Лайма, сделайте нам чаю, пожалуйста.

– Ва-ам зеленый или черный с бергамото-о-ом? – затянула Лайма долгие гласные.

– Саша много работает, у него дети, внуки, приезжает ко мне не часто, – продолжала Роза Львовна. – Очень непростая жизнь у них. Знаете, как называют здешнюю жизнь наши беженцы? – Она сделала многозначительную паузу. – Трудовой лагерь с усиленным питанием!

– А почему американцы так много работают? – спросил я. – Кто их заставляет?

– Да никто не заставляет. Похоже, что все они просто трудоголики, большие. Вот, например, как наш народ говорит про работу: «Дураков работа любит». Или еще интересней: «Работа не волк, в лес не убежит».

– Вот и я тоже никогда не понимал пословиц русских, – вмешалась в разговор Лайма. – Работа – это же так хорошо! Работа – это деньги, хлеб, молоко, сметана. Почему работа страшный волк?

– Так как раз нет, Лайма, – возразил я. – В пословице говорится, что работа – не волк, незачем за ней гнаться. Она сама найдет тебя.

– Странные вы люди, русские, – продолжала Лайма. – Гнаться за волко-о-ом! У нас волки за человеками гонялись. Да-да-а-а, у нас в Латвии леса еще такие! Не понимали мы вас никогда.

– А вы и не поймете! – подытожила Роза Львовна. Она ни минуты не сомневалась, что Лайма имела в виду не только меня, но и ее. Мы ведь все здесь в Америке русские, а потом уже латыши и евреи. – Умом Россию не понять, Лайма.

– Не понимаю, почему умом не понять? А как ее можно поня-я-ять? Можно ли вообще русских поня-я-ять?

– А вы читали Набокова, деточка? – продолжала Роза Львовна импровизированную лекцию. У нее была исключительная дикция и поставленный театральный голос. – Хотя зачем я спрашиваю? Знаю, что не читали. А вот Женя читал. Мои любимые слова у Набокова: «Пролетарии всех стран, разъединяйтесь! Мир был создан во время отдыха!»

Эта столетняя слепая старушка, прикованная к креслу, рассуждала как молодой и здоровый человек.

– Вот мой муж был инженером, – продолжала она, – и раньше пяти вечера никогда домой не приходил. А вот я в два часа дня всегда уже дома была, да и работала два-три раза в неделю. Миша говорил: «Ты, Розочка, живешь при коммунизме».

– Коммунизм – это утопия, – вновь вмешалась Лайма. – Не может быть коммунизм на земле. Коммунисты напали на нас и отняли у моего дедушка-а-а мызу.

– Опять не так, Лаймочка, – вмешалась Роза Львовна. – Трудно представить себе более выверенную во всех отношениях общественную теорию, чем теория коммунизма. Особенно ее экономическую составляющую. Это я тебе говорю как профессор политэкономии. Сейчас в Америке произошло то, о чем мечтали русские марксисты, когда ходили в народ и раз в полгода меняли потные подштанники. Здесь очень высокий уровень жизни и полная свобода. Когда американцы боролись с ненавистным коммунизмом, они в то же время уже строили его у себя и для себя, только на свой манер. Вы, Женя, Лайму не слушайте. Если она самый большой специалист в мире по выпеканию шарлоток и тортиков, то это вовсе не значит, что она сильна в марксистско-ленинской теории. Вы, Лаймочка, помните, что наш вождь говорил? «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Золотые слова!

– Да-а-а, я тоже привыкла вот с Розой Львовной. Зимой Рига, летом – Юрмала. У меня осталась в Рига взрослая уже до-о-очь, мама осталась.

– А моя мама, Женя, осталась в Белоруссии. В Щедрине, местечке таком. Точнее, в песчаном рву, в соснячке, за местечком. Но мама у меня умная была. И спасла мою Любочку. Ей тогда, когда расстреливали, всего пятьдесят лет было. А я училась тогда в Минске, и меня эвакуировали. А дочка моя, Любочка, которая сейчас в Москве живет, летом сорок первого жила у них. И вместе в гетто попали. А когда всех в грузовиках за город вывезли и подвели к вырытым рвам, мама Любочку в ров и скинула. Как раз, когда они автоматы подняли. Так что Любочка моя цела осталась, из ямы выбралась, дошла до деревни. И конечно же, волшебные слова шептала. И приютила ее добрая белорусская женщина, долго за свою дочку выдавала, и только после войны сказала ей правду. Любочка, конечно, ей не поверила.

– Вот сколько ни слышу это от нее, плачу всегда-а-а, – вмешалась Лайма.

– А что плакать? Женщина честная была. «Не я твоя мама, – сказала она Любочке. – Но я верю, что мама твоя жива и ты обязательно найдешь ее». И нашла. Русские люди помогли, из Щедрина. Соседи наши. Помнили они нас, нашли меня в Риге. Так вот я иногда, Женя, думаю – может быть, я это за них так долго живу, а? За них, расстрелянных?! Может быть, есть такой закон природы, вроде закона сохранения энергии? Или закона сообщающихся сосудов? Ведь вы же ученый, Женя, вы понимаете! Любочка с тех пор, наверное, у нас такая странная. Знаете, Женя, она очень способная девочка. И тоже профессор, физик. Только ехать сюда отказалась. Не хочет жить в Америке, знаете. Патриотка русская. Вот она говорила мне всегда, что часто видит один сон – как выбирается из этого рва через трупы, поднимает эти самые, знаете ли, мертвые тела над собой, а ведь они тяжелые...

– Роза Львовна, не надо-о-о! – завывала Лайма. – Не могу слушать это-о-о!

– Ну не будем, ладно. Хотя от такой дряхлой маразматички чего только не услышишь! Давайте лучше Женю послушаем. Расскажите нам, что вы успели посмотреть в Сан-Франциско.

Я рассказал, что успел погулять по центру города, был возле здания мэрии и в Чайнатауне, где купил металлических насекомых – кузнечика, божью коровку и жука-солдатика, увеличенных раз в пятьдесят. А завтра в восемь утра мне предстоит уже быть возле отеля «Хилтон», где начнется однодневная экскурсия по городу, которую будет проводить знаменитый в Сан-Франциско русскоязычный экскурсовод Слава Кэстлер.

– Я прекрасно знаю, где это, – провозгласила Роза Львовна. – Вам нужно будет сойти на станции метро Эмбаркадеро.

– А мне вот Гриша говорил, – возразил я ей, – что выходить надо на станции Сивик-Сентер.

– Да плевать мне на вашего Гришу, Женя, слышите? Плевать с самой высокой лестницы и с высочайшей лестницы моего возраста. Сколько ему лет и который год он живет в Америке?

– Ему семьдесят пять, а в Америке он уже года три.

– Ну так мне девяносто восемь, Женя, – возразила Роза Львовна, – и я могла бы быть его мамой. И в Америке уже двенадцать лет. Забудьте про этот самый Сивик-Сентер. Эмбаркадеро, и только!

Как всегда бывает в подобных случаях, в этот момент открылась незапертая дверь, и на пороге появился Гриша, отец моего друга.

– О чем разговор? – бодро осведомился он, но только услышав про Эмбаркадеро, сразу же оживился: – Роза Львовна, вы совершенно не знаете Сан-Франциско! Женя, не слушай ее! Сивик-Сентер – твоя станция.

– Женя, Эмбаркадеро! – закричала Роза Львовна.

Спор продолжался очень долго. Наконец, я попрощался со спорщиками и вышел из дома. Резко запахло цветущей магнолией. Этот запах в конце января заставил меня почувствовать себя невероятно счастливым. Я дошел до парка Джека Лондона, подышал чистейшим морским тихоокеанским воздухом, посмотрел на парочку целующихся гомосексуалистов, сидящих на лавочке, и повернул назад.

Группа негритянских подростков показывала мне факи и кричала в мой адрес что-то непристойное. Я поневоле ускорил шаг, но стайка негров, к моему огорчению, двинулась за мной. В какой-то момент я перестал слышать за спиной отборный американский мат и, повернув-

шись, увидел, что негры стоят на перекрестке, остановленные красным сигналом светофора. Ни одной машины на перекрестках Окленда я в этот поздний час не видел. Но горел красный, и негры стояли, как вкопанные. Удивительная законопослушность черных американских детей умилила меня.

Как только я открыл дверь квартиры, где гостил, раздался сигнал телефона.

– Это тебя, – сказал мне мой друг. – Кажется, Роза Львовна.

– Женя, это я. Надеюсь, вы отлично провели время. Я звоню напомнить, чтобы вы непременно вышли завтра на станции Эмбаркадеро! Помните, только Эмбаркадеро! И ничего другого! Вы слышите меня?

Больше Роза Львовна мне не звонила. Стыдно признаться, но за две оставшиеся недели пребывания в Окленде я так и не зашел к ней и не рассказал об экскурсии по Сан-Франциско. Я уверен, что это было бы ей очень интересно.

Но через два года мне предстояло последний раз в жизни услышать ее голос, перелетевший через Атлантику (или Тихий океан?).

– Сейчас у нас сидят Роза Львовна с Лаймой, – сказал мне мой друг. – И она очень хочет с тобой поговорить. Передаю ей трубку.

– Женя, вы меня слышите? – услышал я знакомый голос. – Это Роза Львовна. Вы меня помните? Так вот, Женя, можете меня поздравить – вчера я разменяла вторую сотню лет. Так вот что я вам скажу. Первая сотня моей жизни была не самой плохой, так что я надеюсь, что и вторая будет не хуже. Как вы считаете, у моей надежды есть основания?

Роза Львовна прожила сто три года и похоронена на тихом кладбище Окленда, возле протестантской церкви, где толстозадые негротянки поют свои безумные спиричуэлс.

## ГРЕКИ ПОБЕЖДАЮТ

Валера Колокольцев не только мечтал стать ученым – он имел к этой сфере деятельности все возможные и невозможные способности. В детстве и юности зачитывался книгами о жизни великих экспериментаторов, благоговел перед именами Пастера, Мечникова и Павлова. Биология – наука о живом – не просто привлекала мальчика. Она была для него смыслом существования.

Родители Валеры, всю жизнь протрубившие технологами на местном масложиркомбинате, были далеки не только от науки как таковой, но и вообще от какой бы то ни было интеллектуальной деятельности. В отличие от родителей нашего героя, бабушки и дедушки его даже техникума никогда не кончали, а подвизались в колхозах и на заводах слесарями и доярками. Что касается прабабушек и прадедушек, то все они читать научились только благодаря советской власти. Откуда же появилась у такого простого парня, выросшего среди убогих заводских бараков, безудержная страсть к исследовательской деятельности? Да бог его знает.

В затрапезной школе пролетарского района, где постигал азы знаний Валерик Колокольцев, биология не котировалась как предмет ни руководством учебного заведения, ни самими обучающимися. Вела биологию очкастая психастеничка Марианна Михайловна, в которую дети плевали из самодельных трубочек, сделанных из пластмассовых авторучек, катышками жеваной бумаги. Учительница не могла справиться с жестокими и наглыми детьми, краснела и бледнела, сморкалась в голубой клетчатый платок, твердый от высохших соплей, постоянно плакала и жаловалась на школьников толстозадой и равнодушной к человеческим чаяниям директорше. Она, однако, заметила страсть Валерика к своему предмету и посоветовала ему записаться в НОУ, а точнее, в научное общество учащихся при университете.

Университет располагался в верхней, элитарной части старинного волжского города. Именно там находились все вузы, театры, музеи и выставочные залы. Там, казалось, и воздух был совсем иной. Валерик был безумно счастлив, что имеет возможность ездить на вонючем «пазике» в университет и общаться с настоящими учеными.

Илья Николаевич Портнов, научный руководитель Валерочки, был очень молод, учился в заочной аспирантуре и сам имел научного руководителя, профессора Сеницына. Портнов увлек мальчика экспериментом над беспородными мышами-самцами, которым настойчиво моделировал стресс короткой продолжительности – три часа держал в пластмассовых фальконах и освещал при этом ярким светом. Аспирант был убежден, что придуманный им эксперимент вызовет такие изменения в гиппокампе мышей, знание которых перевернет всю нейробиологическую науку.

Усилия способного и старательного мальчика не были впустую – он занял несколько призовых мест на научных олимпиадах школьников и к окончанию десятилетки уже имел несколько научных публикаций, хоть и в соавторстве, – а ведь такое, если учитывать детский возраст Валерика, бывает далеко не часто.

На биологический факультет он поступил, можно сказать, со всеми пятерками. Только сочинение, последний экзамен, написал на четверку, но вовсе не потому, что наделал там орфографических ошибок. Просто в приемной комиссии велели всем преподавателям, проверявшим сочинения, не ставить пятерки тем, кто уже получил отличные оценки по биологии, химии и физике, дабы снизить немного средний балл.

Год поступления Колокольцева в университет совпал со смертью того руководителя нашего государства, который в умах миллионов людей ассоциировался со стабильностью и надежностью. В стране произошли некоторые изменения. Валерочку даже однажды остановили два служителя правопорядка возле заснеженных кривых елочек университетского скверика и настойчиво попросили предъявить документы. Ни паспорта, ни студенческого билета у Колокольцева не оказалось, и тогда его отвели в ментовку, находящуюся неподалеку. Полчаса Валерика пытали на предмет того, почему это он так свободно прогуливается по городу в середине учебного или рабочего дня. Позвонили в деканат, узнали расписание занятий студентов первого курса биологического факультета, и оказалось, что Колокольцев действительно прогуливал лекцию по истории партии. Из деканата был звонок в комитет комсомола, и дело кончилось тем, что Валерику сделали замечание и внесли соответствующую отметку в учетную карточку. Этим инцидентом всё и ограничилось. Колокольцев продолжал пропускать лекции по предметам, которые никак не были связаны с его будущей профессией, что, однако, никак не отражалось на его успеваемости. Все экзамены он сдавал на отлично.

За годы учебы Валеры в университете его научный руководитель, Илья Николаевич, стал кандидатом наук и доцентом, а также и коллегой ассистента Колокольцева по кафедре, куда последнего взял вышеупомянутый профессор Сеницын. Тема научной работы у Валерочки за пять лет не изменилась. К моменту получения диплома о высшем образовании он декапитировал двести шесть лабораторных мышей, а это был материал уже на две кандидатских диссертации или на две хорошие трети докторской. Поэтому Сеницын даже не стал определять его в аспирантуру, погрузив талантливого парня с головой в учебный процесс – он был убежден, что проведение занятий со студентами не помешает Колокольцеву в срок закончить кандидатское исследование. И он не ошибся.

Долгий процесс защиты диссертации, который многим кажется очень сложным и весьма хлопотливым делом, для Валерика был настоящим праздником. Его оппонентами были известные и прославленные профессора, работы которых он цитировал в своей диссертации и познакомиться с которыми считал за великую честь и несказанное счастье. Председателем ученого совета был знаменитый нейрофизиолог, академик Левон Робертович Айрапетян, лауреат Государственной премии СССР, автор знаменитого учебника по нормальной физиологии для студентов медицинских и биологических вузов, ученый, труды которого были переведены на десять европейских языков.

Левон Робертович оказался удивительно простым, добрым, общительным старичком, напоминающим скорее Деда Мороза, нежели

академика. Он попросил Валерика подарить ему свои слайды, на которых Колокольцев демонстрировал корреляционные связи между поведенческими реакциями мышей и размерами нервных клеток отдельных областей гиппокампа. Айрапетян заверил нашего героя, что эти слайды необходимы ему для учебного процесса – ведь он не только преподает курс нормальной физиологии, но и знакомит своих студентов с последними научными достижениями.

– Я хочу поделиться с вами приятной новостью, – сказал Валерочке академик на прощание. – Со следующего года наш совет станет докторским. Это означает, что мы вас ждем с докторской диссертацией. Ваша работа еще только в самом начале, а научная база в вашем университете великолепная. Не всякий провинциальный вуз может похвастаться такой базой.

От слов прославленного академика у Колокольцева закружилась голова. Айрапетян так был похож на доброго сказочника! В тот год Валерик, конечно, еще не понимал, что Левон Робертович рассказывает ему сказки, – встреча с суровой реальностью жизни была для нашего героя еще впереди. Новоиспеченный кандидат наук еще целую неделю жил в московской общаге, оформлял какие-то никому не нужные бумажки, ставил подписи и печати, развозил свои диссертации по библиотекам и центрам научно-технической информации. Ему даже не приходило в голову сходить в какой-нибудь московский музей или просто погулять по столице. Он, как лермонтовский Мцыри, «знал одной лишь думы власть – одну, но пламенную страсть», и эта страсть была – нейробиология.

Возвратившись из Москвы, Валерий Аркадьевич настойчиво продолжал набирать материал для докторской. После занятий надолго оставался в лаборатории и ставил всё новые и новые эксперименты.

Родители Валеры, однако, не слишком впечатлились его научными успехами. Колокольцеву не повезло – как раз в год его защиты развалился Советский Союз, и за ученые степени перестали платить деньги. Его-то, конечно, это не слишком беспокоило, но его маму, Дину Федоровну, очень расстраивало, что Валерик так много времени проводит на работе, но при этом получает зарплату, которой едва хватает на еду и коммунальные платежи. Колокольцеву исполнилось двадцать шесть лет, но он не только не думал о своей собственной семье, но почти не обращал внимания на девушек. Конечно, высокий юношеский уровень тестостерона давал знать о себе, и он периодически пользовался в лаборатории молодых лаборанток, которые все без исключения были студентками биофака. Некоторые из них даже испытывали интерес к Колокольцеву как к молодому перспективному ученому. Это были как раз те редкие девушки, которым Валерик вовсе не казался странным Паганелем, сидящим день и ночь за микроскопом и забывающим застегнуть ширинку после очередного мочеиспускания в рядом стоящую вонючую литровую банку со щербатой горловиной (добежать до туалета во время эксперимента не всегда есть время!), эти девушки сами мечтали об ученой стезе. Но они, однако, быстро осознали, что их герой далек от вождя заключенных семейных уз, и заводили себе других партнеров, более перспективных в плане замужества и законного, юридически оформленного деторождения.

А между тем в жизни молодого ученого произошло очень печальное событие – в Центральную научную лабораторию университета перестали поступать экспериментальные животные. Профессор Сеницын,

неисправимый оптимист и романтик, заявил однажды на кафедральном совещании, что это даже к лучшему – ведь не секрет, что многие наши исследователи чересчур увлеклись экспериментом, в то время как надо читать статьи и монографии, генерировать научные идеи.

– Наступило время обобщений, – заявил он.

– Какие уж тут обобщения, Николай Семенович, – возразила пожилая доцент Свирчевская. – Уже три месяца зарплату не платят.

Реактивы тоже перестали поступать в университет. Зато появились компьютеры. Последнее обстоятельство нам особенно хотелось бы подчеркнуть, потому что появление этого самого компьютера полностью изменило жизнь Валерика. Смешно сказать, но поначалу он считал, что компьютер – это такой выпуклый телевизор с присоединенной к нему клавиатурой. Лишь потом он узнал, что сам компьютер – это всего лишь невзрачный прямоугольный ящик, стоящий возле экрана.

Первое потрясение от компьютера заключалось в том, что очередная аспирантка профессора Сеницына на глазах у Валеры, за каких-то полчаса, распечатала все графики для своей диссертации. Это было какое-то чудо – вводишь в компьютер некое значение, цифру, а на экране появляется красивый столбик, рисунок которого ты можешь выбрать! А потом второй. Самому Колокольцеву графики и диаграммы для кандидатской рисовал член Союза художников Михаил Евстифеев, вечно бухой и злобный. Пьяному художнику надо было еще платить за это немалые деньги. А однажды Евстифеев всё напутал, нарисовал не то, что надо, и работу пришлось переделывать. А здесь никакого алкаша не было! Только компьютер и еще одна присоединенная к нему коробочка под названием «принтер». Этот-то принтер, издающий дикий шум, и печатал графики.

Однажды, проходя мимо комнаты, где стоял компьютер, Валерик услышал странные звуки, чем-то напоминающие русскую народную песню «Эй, ухнем». Это действительно была эта песня, только в исполнении компьютера. По экрану двигались какие-то странные человечки.

Лаборант Артем объяснил Колокольцеву, что это компьютерная игра под названием «Цивилизация» и что суть ее заключается в том, чтобы строить города, получать новые знания, развивать армию и завоевывать другие страны. Валерочка стал играть в эту игру в перерывах между занятиями, а иногда и вечерами, и постепенно втянулся в нее. Играл он всегда за русских – не потому, что был таким уж патриотом, а просто потому, что за русских играл Артем, когда учил его этой стратегии.

Первый уровень игры, под названием «Вождь», был крайне прост. Каждые две минуты Валерик получал знания и основывал города. Завоевать другие цивилизации и полностью уничтожить их на этом уровне было проще пареной репы.

Второй уровень игры, «Рыцарь», был значительно сложнее, и прежде чем научиться побеждать на нем, Колокольцев проиграл не менее пятнадцати раз. На этом уровне ему пришлось сменить общую тактику борьбы с другими цивилизациями. Если, будучи «Вождем», достаточно было построить мощную армию и разгромить всех своих врагов, то здесь нужно было еще и уметь действовать небоевыми юнитами – дипломатами, которые воевать не могли, но зато ловко воровали у других народов технологии, позволяющие, например, построить парусник или танк. Очень важно было также правильно взаимодействовать с другими цивилизациями – заключать мир с более сильными народами и даже

платить им дань за это, но уничтожать более слабых, особенно если они располагают теми технологиями, которых у тебя еще нет.

За месяц с небольшим Валерик значительно преуспел в этой игре. И лаборантка Оксана, его очередная партнерша по любовным упражнениям, злилась и очень неловко разрывала пакетики с мышинным кормом, так что он попадал в узкие промежутки между клетками, тщетно ожидая его в подвале вивария, где обычно происходили их встречи и сильно ревнует будущего Мечникова к его компьютеру.

Однако на третьем уровне, под названием «Принц», ассистент кафедры физиологии и биохимии животных выиграть уже не мог.

Интересно, что каждая игра не была похожа на предыдущую. Иногда русских колонистов убивали сразу, через пять минут после начала игры, как только они открывали неизвестные клады, поскольку эти клады материализовались в отряды варваров. А подчас игра затягивалась на несколько часов и даже дней. Валерик уходил с работы около одиннадцати часов вечера, чтобы успеть на последний автобус, и родители, конечно, даже не подозревали, что больше половины дня их сынок проводит вовсе не в учебной аудитории со студентами и не в лаборатории возле стеклянных цилиндров с плавающими в них в страхе и отчаянии мышами, а сидя за ободраным столом морфометрической лаборатории, глядя в выпуклый экран бежевого монитора с надписью: «Самсунг».

В этой игре была особенность, которая очень привлекала Валеру, и привлекала, наверное, тем обстоятельством, что ее не было в нашей реальной жизни. Игру на любом уровне можно было сохранить, оставить в памяти железного ящика, например, на уровне 1913 года, а потом продолжать играть дальше. Сделав непоправимые ошибки, ведущие к неизбежному краху, например, отказав дать деньги более сильному противнику за кратковременное перемирие, можно было выйти из игры не сохраняясь, а потом опять попасть в 1913 год. Действительно, если бы можно было каким-то сказочным образом вернуться в этот самый благополучный год в истории России, когда все показатели благосостояния государства достигли самой высшей отметки, когда еще был жив австрийский наследник Франц и жена его София, чешская графиня, была жива. А вот после этого пошло-поехало – мировая война, революция, тирания, террор, потом еще одна мировая война, а затем распад империи и полная гибель. Так вот, Валерий Аркадьевич очень любил возвращаться к сохраненной игре и старался не допускать пропущенные ошибки. Это возвращение к записанному уровню стало для него чем-то вроде идеи фикс.

В тот год, когда в своем кабинете на кафедре скоропостижно умер от инфаркта профессор Синицын и исполнять обязанности заведующего стал доцент Портнов, Валерик играл только в одну сохраненную игру. В этой игре самой сильной цивилизацией были греки. Когда Колокольцев бороздил просторы своих островов колесницами и катапультами, у греков были уже танки и БМП. Гадкая и наглая морда Александра Македонского, разноцветной копной волос смахивающего на гомосексуалиста (а он, кажется, и был таким в своей окаменевшей и ставшей руинами античности), сжимающего обеими руками обоюдоострый меч, каждые пять минут вылезала на экран монитора с требованиями всё большей и большей платы «за свое терпение».

Валерик отдавал последние деньги, заключал мир с греками, но они всё равно настойчиво подводили танки и пушки к его городам, не давали прохода колонистам, дипломатам и боевым юнитам – рыцарям и мушкетерам. А в какой-то момент на экране появлялся коричневый

прямоугольник с надписью: «Внезапная атака! Греки идут!» Тут-то и начиналась бомбежка городов Валерочки штурмовиками и истребителями, обстрел линкорами и подводными лодками, возобновлялись атаки танков и артиллерии.

В 1994 году университет объединили со строительным университетом, бывшим инженерно-строительным институтом, назвав УНТ – «Университет науки и технологий». Кафедру, где работал Колокольцев, переименовали в «кафедру физиологии и дизайна», а заведующим поставили молодого профессора из бывшего строительного университета. Количество преподавательских мест резко сократилось, и Колокольцева перевели на должность младшего научного сотрудника ЦНИЛ. Молодой профессор заявил, что поскольку в физиологии разбирается слабо, то кафедра будет продолжать те самые исследования, которые проводились еще в строительном институте. Колокольцев, однако, пришелся по душе новому руководителю, и тот торжественно провозгласил, что исследования на мышах прекращать не будет – пусть их давно уже нет, но кусочки их органов лежат в формалине и залиты в парафиновые блоки, так что изучать их можно еще двадцать лет. Да и результаты поведенческих реакций давно запротokolированы. Кроме того, он дал Валерику очень важное задание – как-то связать свои научные изыскания с актуальнейшей проблемой мировой науки – оформлением жилых помещений.

Валерик тяготился преподавательской работой, а студенты, как всегда бывает в таких случаях, чувствовали это и платили молодому преподавателю, казавшемуся им странным и заумным, ответной нелюбовью. В студенческой среде бытовали две кликухи у Валерия Аркадьевича – добрая и немного снисходительная – Колокольчик, образованная от его фамилии, и весьма уничижительная – Хорек. Несмотря на то что внешне Валерик совсем даже не напоминал известного зверька, что-то от хорька в его облике было – студенты очень талантливы в плане прозвищ, и преподы, как правило, получают от них кликухи по заслугам. Таким образом, молодые люди, узнав о том, что Хорек учить их больше не будет, только обрадовались. Валера обрадовался еще больше, поскольку это означало, что он теперь весь рабочий день может бороться с греками. Приходя на работу, он открывал текст недописанной научной статьи, свертывал его и криво надевал большие уродливые наушники – так, что одно ухо было свободно. Когда Колокольцев слышал шаги заведующего, идущего по коридору, он свертывал игру и тупо глядел на текст статьи.

Через полгода после смерти Сеницына из жизни ушел и папа Валерика. Мама его находилась в постоянной депрессии. Денег катастрофически не хватало. А с тех пор как Колокольцева перевели на должность младшего научного сотрудника, его зарплата сократилась на добрую треть.

Но этот момент совершенно не мешал ему бороться с греками, победить которых ему так и не удавалось.

А между тем Игорь Александрович (а именно так звали нового заведующего кафедрой), поначалу возложивший большие надежды на Колокольцева, постепенно стал разочаровываться в нем. Он видел, что парень совершенно не занимается научной работой, а только сидит за компьютером. Игорь Александрович никогда не увлекался исследованиями. Ему хотелось занимать ключевые места в обществе и получать большие деньги. Ум у него был чисто прикладной, практический.

«Наука» Валерика стала вызывать у него некоторые подозрения. Наконец, он попросил Колокольцева написать обзор литературы на тему «Развитие ландшафтного дизайна в 1980-е и 1990-е годы» и обозначил сроки работы – до новогодних праздников. Однако Колокольцев задание не выполнил.

Масла в огонь подлила и лаборантка Света, последняя возлюбленная Валерика. Узнав о своей беременности, испуганная и нервная, она побежала к Колокольцеву, надеясь, что он ее успокоит. Света происходила из патриархальной и авторитарной семьи. Папа – полковник-тыловик, замначальника военного училища, мама – медсестра глазного отделения городской больницы. Отец в ее семье был главой и авторитетом. Отношение к случившемуся у родителей Светланы было однозначное – надо выходить замуж и рожать ребенка!

Каково же было их удивление, а особенно удивление опредмеченной и недалекой Светы, когда Колокольцев, узнав о случившемся, полностью перестал с ней общаться!

Полковник, преисполненный негодования, однажды лично приехал на кафедру и пытался поговорить с Валериком тет-а-тет. Но тот только виновато улыбался в ответ. Света пожаловалась Игорю Александровичу на то, что Валерик целыми днями на работе играет в компьютерные игры. Эта жалоба совпала со звонком ректора, которому, пользуясь известным еще с советских времен телефонным правом, позвонил отец Светланы.

Когда Валерика уволили с работы, зарплату ему выдали шерстяными колготками. Пятьдесят пар черных шерстяных колготок – типичная зарплата в Российской Федерации времен демократии и плюрализма.

– Ну что же теперь делать, сынок, – сказала мама. – Это женские колготки. Их носить буду я. Подарю несколько пар Ларисе, тете Шуре, девочкам на работе. Зимы у нас длинные, суровые, полгода длятся. Пригодятся колготки.

В день ухода с работы Валерик решил больше не связываться с девушками из авторитарных семей и стал заниматься исключительно безопасным сексом.

Индивидуалка Марина, работающая на улице Оранжевой, ловкими и заученными движениями умелого рта натянувшая ему презерватив, сказала, улыбаясь:

– Какой-то ты усталый. Что тебя так беспокоит? Мы одни, никого здесь нет и не будет. Подружка моя из соседней комнаты сегодня не работает.

– Греки побеждают, понимаешь? – произнес Валерочка, сам не ожидая этого.

Минут через пятнадцать он уже рассказывал Марине суть игры в «Цивилизацию». Она сидела на кровати, глядя в зеркальце и подкрашивая ресницы, и внимательно слушала Колокольцева.

– Я вижу, ты добрый. Хороший ты, – сказала она. – А меня вот неделю назад грабаныли. Пришел клиент, я думала, он в ванной, а он уже в комнате, с ножом в руках стоит. Говорит, давай деньги, а то по горлу садану. Отдала двадцать два косяря. А потом позвонила в ментовку. Пришел следак, отсосал ему на халяву. Но так и не нашли урода.

Валерик не слушал ее.

– Ну что, еще придешь или не понравилась? – спросила девушка. – Постоянным клиентам скидку делаю. Если четыре раза в месяц, то по косярю только.

– Спасибо, – ответил Валерик. – Четыре раза в месяц – это слишком часто для меня. Дел других полно.

– Капусту жалеешь? – поинтересовалась Марина.

Валерик скривился и вяло махнул рукой. Вот уж денег ему точно жалко не было. А физиологические потребности у него всегда были скромные. Он и ел не чаще двух раз за день.

Дел у Валерия Аркадьевича действительно было много. И прежде всего, конечно, необходимо было купить компьютер, что он вскоре и сделал. А потом нужно было искать подходящую работу.

Валерик вовсе не был шизофреником и науку совсем даже не бросил. Более того – у него были отчетливые планы продолжения работы над докторской – он унес из лаборатории все блоки с мозгом забитых мышей, и они теперь лежали в его шкафу. Просто ему нужно было победить греков. Раз и навсегда победить. Он сам чувствовал свою зависимость от этой игры и однажды ночью написал толстым черным фломастером на картонке от шерстяных колготок: «Закончить навсегда игру в “Цивилизацию” после полного разгрома греков!!!»

Теперь он отчетливо понимал – победить греков в этой игре, создавая оружие, невозможно. Но и воровать технологии было бессмысленно – в своем развитии греки ушли так далеко, что одна украденная у них технология была просто каплей в море в деле победы над ними.

И тогда Валера принялся за строительство. Во всех своих двадцати пяти городах он стал строить амбары, заводы, водопроводы, библиотеки и, конечно же, стены, которые делали города более защищенными от греков. Пока он занимался строительством, греки уничтожили все цивилизации и во всем мире; кроме них и русских, никого уже не осталось.

Валерик продавал построенные объекты, а на вырученные деньги при помощи дипломатов устраивал революции в крупных греческих городах.

И вдруг произошло невероятное. Неожиданно для себя Колокольцев сумел организовать революцию в крупнейшем греческом городе Чепултепике. Когда-то этот город принадлежал уничтоженным греками ацтекам. Население города было огромным. Там было построено одно из чудес света – дамба Гувера. Город был окружен стенами. В нем работали водопровод, завод и фабрика, университет, библиотека, банк и стадион. Текст на экране гласил, что в городе началась гражданская война и все люди разделились на два лагеря – греков и... вавилонян. Каким бы бессмысленным и абсурдным ни было последнее сообщение, это означало одно – греки ослабели ровно наполовину, поскольку добрая половина их городов стала принадлежать вавилонянам.

Валерику захотелось поделиться своим счастьем, но собеседника у него не было. Он сначала пошел к маме, но мама смотрела бразильский телесериал. Тогда он позвонил Марине.

– Что вы говорите? Какие греки? Вы сейчас приехать хотите? – недоуменно спрашивала девушка, и Колокольцев недоумевал, почему Марина называет его на «вы», как будто он однажды уже не приходил к ней и не рассказывал о непобедимых греках.

Что теперь нужно было делать? Самому громить вавилонян или ждать, когда они и греки уничтожат друг друга?

Валерик не мог ждать в такой ситуации и принялся за вавилонян. Он занимал их города, овладевал новыми знаниями и технологиями. И вот уже танки появились у русских, а линкоры и подводные лодки

бороздили водные просторы. Последним городом, который захватил Валерочка у вавилонян, был когда-то индийский город Дели. После этого появилась табличка: «Вавилоняне цивилизация уничтожена».

Буквально через минуту после этого на экране монитора вновь оказалась наглая морда гомика Македонского. У Колокольцева всё опустилось внутри. Неужели опять хамский грек будет вымогать деньги и громить русские города? Однако на экране было написано: «Вы, наверное, хотите заключить с нами мир. Мы подготовили договор, чтобы вы подписали соглашение».

Валерочка, конечно же, заключил мир с греками и стал строить новых юнитов в отнятых у вавилонян городах. С каждым часом у него появлялось всё больше и больше знаний, и, наконец, он начал конструировать ракету для полета в космос. У греков ракета давно была построена, и они уже работали над атомной бомбой.

Валерик почти ничего не ел, не спал ночами. Он чувствовал – конец игры уже близок. Никогда в жизни он больше не будет играть в «Цивилизацию». Только сейчас бы выиграть – и всё.

Дипломат, которого Колокольцев заслал в один из греческих городов, обнаружил – новых технологий у греков нет. И тогда Валера последний раз сохранился, вышел из игры и, войдя вновь, начал войну с греками. Один за другим брал он греческие города. Но цивилизация еще не была уничтожена.

Колокольцев ходил по всем материкам и островам импровизированного мира, пока вдруг не заметил маленький город Орлеан – первоначально французский. Он подвез на остров три танка, и с первых двух ударов город был взят.

Появилась табличка: «Греки цивилизация уничтожена». Заиграл победный марш, хорошо знакомый Колокольцеву по предыдущим уровням.

Неужели это произошло? Греки уничтожены! Уничтожены греки!!!

Колокольцев выключил компьютер, но заснуть уже не мог. Только на рассвете задремал тяжелым, неглубоким сном неврастеника.

Разбудил его звонок телефона. Звонил Илья Николаевич Портнов, самый первый его научный руководитель. Илья Николаевич бодро сообщил ему, что уже две недели как исполняет обязанности заведующего кафедрой нормальной физиологии в медицинском институте, и предложил Валерику должность ассистента.

– Конечно, от учебного процесса я тебя освободить не смогу, – сказал Портнов. – Каждый день у тебя будет занятие. Но это только два с половиной часа, с половины девятого до одиннадцати. А в остальное время будешь наукой заниматься. Ты, кстати, свои блоки из универа забрал?

– Всё забрал, Илья Николаевич! – радостно закричал в телефонную трубку Валерочка.

Через три дня он уже работал в медицинском институте, и мама была безумно рада, что тяжелый период в жизни ее сына закончился.

А о побежденных греках Валерик больше не вспоминал.

## Сергей КУЛАКОВ

Родился в 1964 году в Архангельске. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Урал», «Журнал Поэтов», «Волга» и других, в американской, немецкой и украинской периодике. Живет в Ялте.

## В ПОИСКАХ ПЕРВООБРАЗА

Труд писателя – попытка прежде всего разобраться в себе самом. В ворохе из чувств, переживаний, мыслей, мечтаний – всего, что набросали в нас предыдущие поколения и что обыкновенно принято называть развитием цивилизации. Только какое может быть развитие, если в нас ровным счетом ничего не переменялось?!

Сегодня время спешит куда быстрее, чем, скажем, лет триста, да что триста – сто лет назад! Время меняется быстро. Вместе с ним меняются эпохи с их ветреным антуражем жизни – мишурой, которая скорее растворяет человека во времени, точно слезу в дожде, нежели помогает в человеке разобраться. И мы пытаемся отделить себя от марионетки, которую назвали нашим именем и засунули в кусок времени, наиболее подходящий (по чьему-то властному мнению) этой кукле из плоти. «Почему меня? Почему такого? И почему именно сюда?» Не эти ли вопросы тревожат нас чаще остальных, кроме, конечно, вопросов бессмертия и свалившихся на нашу голову страданий и бед. Человек обычно не очень увлекается разгадкой такого ребуса: покрутит его, повертит и отбросит в сторону – зачем голову попусту ломать? Пусть будет все по-прежнему!

Я думаю, для того чтобы разобраться в подобных вопросах, обязательно нужно устремиться в обратную, от пути цивилизации, сторону; вернуть себя к истокам, найти первообраз. Но как сделать это? Как пройти по загадочному пути, не сбиться и вслед за удачливым сказочным героем попасть в неведомую никому область, чтобы отыскать там то, что не вполне ясно даже себе самому? Где искать этот первообраз – загадочную ultima Tule? Я не знаю!

Не удастся, опираясь на свой только ум, умения и знания – пускай превосходные – совершить (без поводыря Вергилия) такое немыслимое для здравых мозгов путешествие по тем странным областям, где предстоит побывать. Я выбрал в провозчатые манускрипты старых авторов, которые занесли знания свои на пергамент, велень, кожу диковинных рыб, папирус, слоновую кость, кору деревьев, а бывало – и на людскую кожу. Есть здесь некая доля эстетства: искать собственный первообраз через первообраз книги, но есть и значительная доля здравого смысла.

Как манускрипт непохож на печатную книгу, так и первообраз должен отличаться от нас теперешних... Это становится понятным, когда внимательно рассматриваешь процесс сотворения манускриптов; то, как относились к ним их создатели и владельцы, и чем были – да и есть! – удивительные эти документы (их и книгами, пожалуй, нельзя назвать) для человека.

Будто в самом деле начинаешь нащупывать мыслью нечто такое, к чему и не мнил ранее прикоснуться; начинаешь ощущать себя везучим Поджио Брачиолини, вновь отыскавшим нечто значимое в изъеденном червями ящике, брошенном в ветхой постройке полуразрушенного монастыря. И мне по душе тишина скриптория, защищенная особым уставом, когда, кроме аббата, приора и помощника его, всем остальным из братии монастыря возбранялось нарушать благоговейную эту тишину, ведь, по словам святых отцов, там, в самой глубине безмолвия, обитает Господь! Мало того, заканчивая рукопись, монахи всегда писали в конце особое примечание, призывающее на нечестивого похитителя кару Божию и гневно требующее свергнуть нечестивца в пучины ада. То же самое говорит Господь, призывая через пророков своих человека блюстись и обещая тем, через кого придут соблазны, ужас и мрак преисподней.

Все дальше и дальше продираясь по тропе возвращения, точно Одиссей, показавший, как привычка может стать судьбой, я всё чаще и отчетливей вижу соответствие первообраза книги, разыскиваемому мной, первообразу человека: тому Адаму, которому Господь уже дал дыхание свое, но не дал еще любопытной и слабой подруги. Мы в равной степени утратили оба эти первообраза, впрочем, если образцы манускриптов отдаленных времен еще можно увидеть в хранилищах, где же увидим мы наш первообраз? Возможно, в сохранённых – для нас, маловеров, – мощах замечательных святых?

Собратья их, монахи-каллиграфы, полагая в основу труда своего кропотливое старание и не менее удивительное терпение, выполняли, по сути, ту же работу, что и отцы церкви: они собирали и даже подбирали доброшенные до них знания и забрасывали их дальше – в века. Поэтому приобретать рукописи светских авторов удавалось без особого труда, но со списками духовных сочинений владельцы расставались крайне неохотно. А ведь цены на манускрипты всегда были недешевы! Так, Людовик XI внес парижскому факультету в виде залога за пользование некой рукописью 100 золотых крон, а 10 серебряных крон в обеспечение за томик Авиценны показали какому-то удачливому собственнику крайне незначительной суммой. Автор «Гермафродита» Антонио Беккаделли «Панормита» распродал свои земли, чтобы приобрести Тита Ливия, а Козимо Медичи (кому и был посвящен «Гермафродит») уладил политический спор с Альфонсом Арагонским Великодушным, королем Неаполитанским, тем, что уступил ему желанную рукопись. Весьма охотно манускрипты принимались в заклады и ростовщиками-евреями...

Именно невероятно высокая стоимость манускриптов послужила поводом к уничтожению многих древних рукописей, написанных на языках, которые почти никто уже не понимал. Их варварски соскабливали с дорогого пергамента, чтобы потом нанести нечто, созданное в угоду моде, и преподнести в дар влиятельному человеку или же даме сердца. Справедливости ради нужно заметить: и тут были замечательные шедевры, вызывавшие восхищение, и созданные уже после изобретения книгопечатания. Например, «Гирлянда Юлии» – сборник, составленный лучшими поэтами эпохи, оформленный Н. Жарри и подаренный герцогом де Монтозье своей

возлюбленной – Юлии д'Анженн. Чуть позже, какой-то художник (выполняя несомненный заказ) написал ее портрет с аллегорией того самого венка на коленях, где Юлия изображена в виде прекрасной пастушки, изящно держащей посох. Драгоценность работы Жарри породила массу подделок и копий. Не правда ли, как хорошо это знакомо!

Что могут дать знания, доставленные усердными авторами и их не менее трудолюбивыми переписчиками в volumines, codices и опистографах – истории, тщательно записанные безвестными каллиграфами с помощью смеси из сажи, воды, клея и небольшой порции уксуса? Не умножат ли эти познания скорбь, о чём верно заметил мудрейший из царей, когда-либо живших на земле? Но меня и не интересует само знание! Предмет моего исследования – поиск первообраза, давно исчезнувшего на пути удаления от идеала, когда-то созданного Господом; а пройти путем обратным означает: пройти путем покаяния, вернуться к началам, чтобы не позволить тем двоим, совершить кощунственную ошибку, которая завела нас по чудовищному пути знания так далеко в глушь цивилизации. Задача далеко не из легких!

Я думаю: пускай и покажется замысел мой безумным, нужно отбросить все полузнания, что удалось отщипнуть нам от вечности; ведь в большинстве случаев мы пользуемся ими вовсе не так, как они заслуживают, а как нам удобнее применить их. Необходимо забыть, отказать от всех плодов совершившегося давным-давно воровства и попробовать вновь приблизиться к не искушенному ещё человеку, который запросто мог беседовать с Создателем и в печали просить у Него «другого я», каким Господь наделил все прочие творения Свои.

Вот этого, несомненно, хотелось бы каждому, вот о чем в отчаянии выкрикивал своим лукавым, царственным друзьям несчастный Иовав, скорбя в пыли и скобля себя черепицей: опять, после тысячелетий разлуки, встретиться лицом к лицу с Создателем, узреть Его вновь. Но лишь тогда нам удастся это, когда мы избавимся от заносчивости и чванства «цивилизованного» человека – жуткой пародии на первозданного Адама; когда прекратим следовать чудовищным советам, которые всегда услужливо подбрасывает ужасное зло, сладко и вкрадчиво шепчущее о том, что оно желает нам добра...

Перебирая время от времени копии старинных манускриптов, попавших ко мне иногда забавным, иногда странным, иногда почти мистическим образом, и прикасаясь к бумагам этим, точно слепой через толстое покрывало, я пытаюсь дотронуться до своего идеала. Но то ли чувства мои изрядно притупились, то ли покрывало чересчур плотно для моих пальцев... возможно, и нет там вовсе предмета моих поисков, а есть – обыденное, простое, ненужное.

Только я не отчаиваюсь, не прекращаю трудов, потому что, если путешествие это удастся и я сумею достичь самого дальнего предела, ничто не заменит мне столь желанную награду! Поэтому почти каждый день отправляюсь я на поиски затерянной, узкой тропы, которая, может, и приведёт туда, куда так рвется мое сердце.

И еще... Я вспоминаю притчу об одном странном монахе-бenedиктинце: в то время, когда повсюду уже печатались книги, он положил почти восемьдесят лет жизни для создания прекрасного рукописного молитвенника – рукотворного чуда предельного терпения, каллиграфии и несомненной преданности избранному пути.

## Александр КАШТАНОВ

Родился в 1978 году в Стерлитамаке, Башкирия. Окончил Уральский государственный университет. Работает бизнес-аналитиком.

Публиковался в журналах «Слово», «Современная драматургия», на интернет-порталах «Год литературы», «Прочтение». Пьесы входили в шорт-листы драматургических конкурсов «Евразия», «Пять вечеров». Сценарий «Никакого смешного» завоевал первое место на международном конкурсе киносценариев ВГИК «Новый взгляд».

Живет в Екатеринбурге.

## ВАЛЬС С ТАБУРЕТОМ

Сергеев относился к той категории парней, которые считали, что если девушку вовремя не напоить, то можно навсегда остаться с ней только друзьями. Некоторый опыт сочетания алкоголя и любовных приключений у него уже имелся. С Машей все было сложнее. Во-первых, Маша была самой красивой девушкой факультета. Во-вторых, она была пятикурсницей. В-третьих, по слухам, она была замужем. Сергееву Маша отчаянно нравилась. Правда, общение с ней ограничивалось короткими разговорами в университетской курилке. Еще Сергеева удивляло то, что Маша звала его не по имени, а по фамилии: «Сергеев, сигаретки для меня не найдется?» Пару раз под разными выдуманными предлогами Сергеев приглашал Машу выпить шампанского, но получал вежливый отказ. В пятницу в перерыве между лекциями, Маша сама поймала Сергеева возле деканата, крепко схватив его за рукав: «Сергеев, я как раз тебя ищу. Помнишь, ты предлагал мне выпить? Сегодня как раз есть повод». Сергеев был ошарашен Машиным напором, но посчитал, что если откажется, то другого такого случая у него может и не быть. Дальше события развивались так стремительно, что Сергеев не успевал их осмысливать. Сначала они пили грузинское вино в буфете филармонии. Потом пили водку в богемном баре. Потом поехали в винный магазин и украли там бутылку коньяка. И еще выпивали где-то в промежутке между буфетом филармонии и баром. Сергеев чувствовал себя так, как будто в танце его кружит и уносит декабрьская вьюга. Вконец выбившись из сил от бесконечных перемещений по городу от одного питейного заведения к другому, Сергеев услышал в ухе жаркое пьяное дыханье Маши и заветные слова: «Коньяк поедем пить ко мне домой». В лифте они стали целоваться. Маша одной рукой обнимала Сергеева, в другой крепко сжимала бутылку грузинского коньяка. У Сергеева от алкоголя и счастья кружилась голова.

- Снимай обувь, входи и ставь коньяк на стол. И сразу разливай.
  - Я еще обувь не снял.
  - Снимай. Сейчас будем пить коньяк, и я буду играть для тебя на гитаре и петь.
  - Может быть, не надо.
  - Ты не хочешь, чтобы я для тебя пела? Ты должен уметь ценить прекрасное.
  - Ценю. Может быть, повременим с коньяком. Мы уже достаточно с тобой выпили. Ты не находишь?
  - Тогда зачем мы притащили с собой коньяк? Нет, будем пить!
  - Я чувствую себя не совсем трезвым.
  - А тебе, Сергеев, не надо быть трезвым. Для чего тебе сегодня быть трезвым? Хочешь со мной переспать? Признавайся? У тебя не получится со мной переспать.
  - Хорошо, хорошо. Будем пить коньяк.
  - Тебе придется немного подождать. Я надену свой любимый домашний халат.
  - Халат? Ты будешь петь романсы в халате?
  - И что же? Эти романсы написаны мною, на мои стихи. Я могу их петь в чем угодно. Сиди и жди!
- Маша, пошатываясь, удалилась в другую комнату. Сергеев остался сидеть в кресле. Мысли в его голове путались. С одной стороны, он в гостях у самой красивой девушки факультета. И это то, о чем он давно мечтал. С другой стороны, они слишком много выпили, а значит, все может пойти по непредсказуемому сценарию. Маша вернулась в коротком домашнем халате, обнимая гитару. Сергеев успел отметить, что конфигурация гитары и фигуры Маши в халате очень похожи. Девушка запела без предупреждения довольно хриплым голосом: «И стайкою, наискосок, уходят запахи и звуки...» Сергеев поморщился: безупречный музыкальный слух не принимал художественную самодетельность.
- Мне кажется, что я уже где-то это слышал.
  - Налей мне еще и сам выпей, мы сегодня напьемся.
  - Почему ты говоришь в будущем времени? Мы уже напились.
  - Нет. Мы еще разговариваем, а я еще могу петь. Мы еще не пьяные.
  - Ты хочешь напиться так, чтобы мы не могли даже разговаривать?
  - Пока не знаю. Но спать сегодня нельзя. Мы сейчас выпьем за мой развод! За то, что я снова стала свободной и счастливой.
  - Мы сегодня пили за это уже три раза. Сначала в буфете филармонии. Потом в кафе, затем в баре. Ты, наверное, это плохо помнишь.
  - Да? Тогда мы выпьем за моего бывшего мужа, капитана.
  - За него мы пили уже раз пять. Это уже становится как-то подозрительно: я пью за какого-то мужика, которого даже ни разу не видел.
  - Он бы тебе понравился.
  - Не сомневаюсь.
  - Вы бы могли подружиться.
  - Это вряд ли.
  - Он высокий.
  - Я тоже: метр восемьдесят.
  - Он выше тебя.
  - Конечно, у него же еще фуражка.

- Я тебе рассказывала, как он вел себя в загсе?
- Когда вы женились?
- Когда разводились. Он приехал в загс с цветами, расписался там в какой-то бумажке и подарил мне цветы. Вот такой букетище!
- А потом он уехал.
- Вот и нет. Он пригласил меня в шикарный ресторан. Мы посидели, выпили красного вина.
- Вы ничего не перепутали, это точно был развод?
- Ты бы так смог?
- Я – нет.
- Он даже хотел пригласить мою маму в ресторан.
- Господи, твоя мама-то здесь при чем?
- Он такой замечательный, он хотел, чтобы всем было хорошо напоследок. А когда мы спускались по ступенькам лестницы в ресторане, я оступилась. Он взял меня на руки и нес меня на руках. Целых пять ступенек.
- Мне кажется, что ты не тяжелая.
- За капитана! А знаешь, как он за мной ухаживал?
- Зачем ты с ним развелась, если он такой идеальный?
- А вот так! Взяла и ушла. Так, видимо, было нужно.
- Должна же быть причина?
- Красивая женщина всегда найдет причину!

Лицо Маши вдруг исказилось, она быстро-быстро заморгала и стала плакать. Постепенно плач перешел в рыдание. Сергеев не знал, как себя вести. Он хотел ее приобнять и погладить ее по плечу, но трясущиеся от рыдания плечи отбросили его руку:

«Ты ничего не понимаешь! Это он от меня ушел, а не я. Это он подал на развод! Это он так захотел! Наверное, из-за того, что я истеричная? Ты тоже считаешь, что я истеричная?» Маша резко прекратила рыдания. Лицо приобрело сосредоточенное выражение, только нос продолжал предательски шмыгать. Сергеев решил порассуждать.

- Понимаешь, мне кажется, что ты немного сумасшедшая, в хорошем для девушки смысле этого слова. Кушать-то ты ему готовила?
- Конечно, я бегала к его маме и узнавала рецепты его любимых блюд. Варила ему суп, подливала вино ему за ужином.
- Тогда я не знаю. Может быть, у него есть другая женщина?
- Может быть! Но я знаю, что я лучше ее, так ведь?
- Я никогда не видел его другую женщину.
- Теперь все! Я разлюбила капитана. Давай, выпьем за любовь.
- Ты же его разлюбила.
- Да, но сама любовь еще осталась. За любовь пьют стоя!

Сергеев и Маша тяжело поднялись из своих кресел с рюмками в руках.

– Ты знаешь, а я умею танцевать вальс. Мама научила меня танцевать вальс перед выпускным вечером. Мама говорила мне, что будет неловко, если на выпускном балу объявят белый танец, зазвучит вальс, и девушка в белом платье, моя одноклассница, решит меня пригласить, а я не смогу принять это предложение. Или, что еще хуже, я оттопчу все ее прекрасные ноги в туфлях на каблучке. Получится, что я не оправдал ее доверия. Мама мне показала, как танцевать вальс на три счета, как кружиться и отсчитывать: «Раз, два, три, раз, два, три». Потом я оттачивал эти движения, танцуя с табуретом.

– С табуретом?!

– Да, с табуретом или со стулом. Я брал табурет и кружился с ним в квартире, представляя, что табурет – это моя будущая партнерша по танцу. Этот табурет придавал мне уверенности в моих силах.

– Она тебя пригласила?

– Нет, белый танец на вечере так и не объявили, вальс не звучал. Было много музыки в стиле диско, а девушек в белых платьях было очень мало. Понимаешь, настоящих девушек в белых платьях всегда мало. Они все остались в старом кино. И что это за бал без вальса?

– Ты до сих пор танцуешь с табуретом?

– Уже нет.

– Твоя мечта сейчас осуществится. Я объявляю белый танец. Я тебя приглашаю.

Маша, роняя гитару, сделала шаг вперед навстречу Сергею. Он неловко обнял ее за талию. Без музыки они начали кружиться по Машиной комнате. Несмотря на то что Сергей пытался держать ритм и проговаривал вслух счет «раз, два, три, раз, два, три», вальс выходил тяжелым и кривым. Периодически они заваливались то в левую, то в правую сторону. Пару раз задевали телами кресла и стол. А затем чуть было не раздавили валяющуюся на полу гитару. Через несколько минут, тяжело дыша, Сергей и Маша упали каждый в свое кресло. Маша пристально посмотрела Сергею в глаза.

– Немедленно прекрати это делать!

– Что прекратить?

– Ты смотришь на мои ноги!

– Боже упаси!

– У меня красивые ноги?

– Наверное.

Такой ответ Машу не удовлетворил. Она снова встала и медленным движением двух пальчиков стала приподнимать полы своего из без того короткого халата. Сергею открывалось прекрасное зрелище.

– Здесь есть на что посмотреть. У меня очень красивые ноги! Смотри, я разрешаю.

– Ты уверена?

– Ты смотришь?

– Смотрю.

– Хочешь со мной переспать?

– Час назад хотел. А теперь даже не знаю. Я слишком пьян.

– Иди в ванную комнату и включи воду.

– Это еще зачем?

– Мы примем горячую ванну.

– Я не уверен, что меня это как-то взбодрит. Скорее наоборот. Может быть, ты мне споешь еще один свой романс.

– Иди в ванную! Набери воды, ложись в ванну и жди, я скоро приду!

– Меня тошнит.

– Ничего, у меня совмещенный санузел.

Дальше подробности вечера Сергей помнил фрагментарно. Он помнил, что разделся догола, включил горячую воду, с трудом забрался в ванну и стал, как приказывала Маша, набирать воду. По-видимому, водные процедуры сильно расслабили измученное алкоголем сознание Сергея, и он на какое-то время отключился. Уснул. Очнувшись он Машиного крика: «Что ты наделал? Зачем ты уснул, Сергей?»

Мы топим соседей». Потом все происходило, как хорошем пьяном сне. Маша помогала голому Сергееву выбраться из ванны. Затем они вместе, поочередно поскользываясь на мокром кафеле, убирали полотенцами воду на полу ванной комнаты. Сергеев доказывал Маше, что принимать горячую ванну было плохой идеей. Обнявшись, они добрались до кровати в спальне. Широкая двуспальная кровать поглотила их, пьяных и мокрых. Кожа Маши была соленая на вкус, как будто она только что вышла из моря. Опьянение не помешало Сергееву запомнить детали. Когда он целовал Машино лицо, она закрывала глаза. В какой-то момент Сергееву показалось, что в этой постели должен быть не он, а кто-то другой и то, что происходит с ним и Машей этой ночью, неоправданно и странно. Однако его молодой организм в Машиных объятиях не долго мог рефлексировать на посторонние темы. «Друг друга мы любили так, что ты иссякла, я иссяк», – Сергеев начал было цитировать стихи Евтушенко, но горячая ладонь Маши заткнула ему рот.

Утром Сергеев просыпался тяжело. Он обнаружил, что Маши в постели уже нет. С трудом опустил ноги на холодной пол. Некоторое время сидел молча, вспоминая эпизоды прошедшей ночи. Машу он обнаружил сидевшей на кухне за чашкой чая. Она забралась на стул с ногами, обняв их руками и склонив на колени голову. В такой позе Маша выглядела беззащитной. От вчерашней бравады не осталось и следа. Сергеев, переминаясь с ноги на ноги, решил начать утренний разговор с констатации факта.

– Вчера много выпили.

– Я могу предложить тебе рюмку водки. Снимет похмелье.

– Наверное, это лучше, чем таблетка. Необычная ночь, ты так много рассказывала про своего бывшего капитана.

– Не называй его «бывшим». Капитанов бывших не бывает. Припоминаю, мы вчера чуть было не затопили соседей.

– Мы долго убирали воду, а потом пошли в спальню и занимались любовью.

– Но у нас же ничего не получилось?

– Почему? В конце концов у нас все получилось.

– Это правда?

– А ты ничего не помнишь?

– Этого не помню.

– Странно, ты была со мной такой страстной и нежной... с меня даже хмель слетел.

– Это ужасно, этого не должно было произойти! Сколько часов прошло после этого?

– Не знаю... немного.

– Мне нужно срочно принять таблетку.

Маша схватила лежавшую рядом дамскую сумочку и высыпала ее содержимое на стол. Трясущимися руками она среди многочисленной женской атрибутики нашла упаковку с мелкими белыми таблетками. Долго доставала одну из них, а затем, не запивая, резко откинув голову, проглотила таблетку.

– Это аспирин?

– Противозачаточный препарат! Этого не должно было со мной произойти, не должно ни при каких обстоятельствах!

– Мне казалось, ты сама этого хотела. Пригласила меня к себе, романсы пела.

- Который час?
  - Скоро двенадцать.
  - Господи! Сергеев, ты должен уйти прямо сейчас!
  - Почему?
  - Он скоро сюда придет!
  - Кто он?
  - Капитан! Он сказал, что придет около двенадцати. Здесь еще остались его вещи. Он сказал, что заедет сегодня и заберет их!
  - Ты в разводе. Он твой бывший муж.
  - Как ты не понимаешь?! Я люблю его! Люблю! Немедленно уходи!
- У нас с ним все еще может наладиться!

Маша снова заплакала.

Сергеев шел домой пешком, пытаясь мысленно уговорить себя, что все закончилось не так уж и плохо. Правда, у него было ощущение, что Машу он больше не увидит. Сергеев подумал: «Интересно было бы познакомиться с совсем непьющей женщиной». И тут же в памяти всплыла музыка вальса, будто он снова школьник и танцует вальс с табуретом, приговаривая: «Раз, два, три. Раз, два, три».

## Светлана ЛЕОНТЬЕВА

Родилась в 1960 году в Свердловске. Окончила Уральский электромеханический техникум в Свердловске, курсы сурдопереводчиков, филологический факультет Горьковского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, Высшие литературные курсы в Москве. Работала воспитателем, сурдопереводчиком на Горьковском автомобильном заводе, Нижегородском телевидении.

Публиковалась в ряде ведущих литературных журналах. Автор многих стихотворных сборников.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

## БУФЕТЧИЦА

Ей было уже глубоко за пятьдесят. Имя у неё такое простое, кажется, Галина. Имена я запоминаю очень плохо. Мне надо повторить три раза, чтобы я более-менее чётко потом могла его вспомнить. Я имена сортировала по цветам – Альбина, Анастасия, Агафья – синего цвета, Мария – красного, Вероника – фиолетового, Галина – зелёного.

Отчего буфетчиц всегда считают женщинами малокультурными, неопрятными? Причёска у них якобы с какими-то взбитыми рыжими кудрями, из-под чепчика седые, невымытые по пять дней пряди выбиваются. Фартуки замызганные. Руки неухоженные, с обкусанными ногтями.

Нет. Галина очень и очень приметная женщина.

Но поселилась она ко мне в комнату по объявлению с неким молодым мужчиной, вечно пьяненьким. «Соловейчик мой», – звала его Галина.

Про квартирантов я могу рассказывать вечно. Сколько грязи оставили, съехав с моей комнаты, сколько посуды разбили, сколько белья испачкали...

Много времени прошло с тех пор, думаю, что года три. Комнату я продала, мне тогда очень понадобились деньги на лечение: в колене сидел осколок – мелкий такой, миллиметровый, но противный, ноющий. Я прохромала всю зиму. Травматолог сказал:

– Только операция. Более ничего не поможет...

Но я упорно не хотела оперироваться. И пошла в платную клинику, сейчас их много развелось: заманивают, обещают восстановить «подвижность суставов».

Осколок...

Он вообще живёт своей жизнью. Ему всё равно, что происходит со мною. Иногда мне кажется, что он сам по себе думает, сам по себе существует, сам с собою разговаривает и сам себя любит.

Откуда он взялся? Бог весть. Мы грузили гуманитарку. Упорно. По вторникам. С восьми до девяти от Ольгинской церкви. В тот день не пришёл помощник, и часть груза я втащила сама в «буханку». Когда я погрузила последний тук, то в левом колене что-то хрустнуло и заныло.

Самое смешное, что врач МРТ, которое я вынуждена была пройти за приличную сумму – четыре пятьсот, в заключении мне написала:

«У пациентки в левом колене правой ноги имеется сломанный мениск, разорванный хрящ и осколок 1–2 мм...»

Отчего вдруг левое колено моё оказалось в районе моей правой ноги. Что за урод я?

– Поддай на них в суд! – предложили мне друзья, но я лишь отмахнулась, пусть буду ходить с левым коленом в правой ноге!

Боль как-то сама чудесным образом рассосалась, то ли соборование помогло в той же церкви, то ли уколы, которые мне встали по цене комнаты. То ли просто судьба смилостивилась надо мною.

Как-то перед храмом я встретила женщину, я часто кого-то встречаю, ко мне льнут разные живые существа: коты, собаки, птицы... То котка какого-нибудь спасаю побитого, то щенка брошенного. А тут спускаюсь с крыльца и вдруг слышу:

– Детка, поддай!

Стоит непонятного возраста женщина: лет сорока, или, может, моложе, или, наоборот, старше и просит. Отказывать нельзя, ибо – церковь на взгорке. И мелочи нет в кармане, сейчас всё карточки пластиковые да бонусы с кешбэками (ими пользуемся), а наличных денег ни копейки: я всё раздала да потратила на храм. «Что делать? Хлебом подать или сгущёнкой? У меня в машине продукты лежали, в багажнике...»

Я пожалала плечами, ссутулилась виновато и направилась, прихрамывая, к машине. Так разболелась нога, что хоть кричи! Открыла машину, наклонилась, достала хлеб, булки, сайку:

– На!

Оглянулась, а никого нет: то ли бабушка, то ли девушка исчезла.

– Где вы? – спросила я тихонько так, словно собачонка проскулила.

Нигде нет попрошайки. Ушла. У неё ноги целёхоньки, бегают быстро! Это мне нужно время, чтобы сугроб перешагнуть, чтобы машину открыть, чтобы к авоське наклониться. Вот стою я такая растерянная с хлебной продукцией в руках. Даже стоя – хромаю.

Вижу, какая-то парочка движется к церкви. Женщина – очень старая, но в приличной норковой шубе, а мужчину она на инвалидной коляске везёт, видимо, спешат на службу. Или просто хотят свечки поставить...

– Эй! – вдруг окликает меня старушка. – Хозяйка!

– Здравсте... – я нерешительно киваю. И думаю: кто это? Что им надо? Но не ухожу: грешить не хочется!

– А это мой Соловейчик! Он воевал! У него – ранения...

Вспомнила! И как я могла забыть Галину-буфетчицу!

– А ты чего хромаешь?

– Да вот... так случилось... – промямлила я. Не рассказывать же про гуманитарку, про врачей. Какой смысл?

– Соловейчик храбро воевал! – уточнила Галина. – Сейчас он не видит на оба глаза...

И тут я вспомнила свою метафору из поэмы «глядеть слепотой...» и ужаснулась: лицо Соловейчика было наполовину обожжено. И ещё я подумала, что глядеть слепотой – это не поэтический образ, а совершенно реальный. И он передо мной.

Я обняла Галину. Мне вообще вдруг стало неловко. Как-то зябко и одновременно горячо. Струйка пота потекла с виска, а руки задрожали мелко-мелко.

– На! – я протянула Галине сумку с едой. – Тут всё: хлеб, молоко! Бери! Где Соловейчик воевал-то? Когда успел сходить на СВО?

– Давай! Не отказываться же... я сейчас в буфете не работаю. Совсем нигде не работаю, – кивнула Галина. – Живём на пособие Соловейчика...

...он видит слепотой... он слышит глухотой... он говорит молчанием.

Храбрые соловейчики наши... тридцатилетние парни. Хорошо, что есть ещё в нашем мире буфетчицы, которые не отреклись от вас, дождалась, не перестали любить, не ушли, не кинули. Я бы сказала: буфетчицам слава! Их рыжим кудрям. Их белым фартучкам. Даже их перегару от спиртного. Их сломанным, ненакрашенным ногтям, неухоженным рукам из-за постоянной мойки посуды. Что-то в Галине было от Антигоны, этакая схоластика оптимизма, вера в лучшее, что Соловейчик прозреет. И вообще православие наше – это выход из отчаяния, в пасхальное, это целование распятого Христа, это викинг и освободитель одновременно. Сейчас много говорят про архетипы. Так вот Россия – это переход от смерти к бессмертию, это сострадание старушек, это одновременно грубый Вагнер и таинство боли. Если считать Галину падшей, то передо мной архетип перехода от грехопадения в святость. Словно Евангелие и радикализм одновременно врезались в мою душу. Вот они – из нашего общества, не из изнеженного и литературного, такого пренебрежительного: «Она ж буфетчица!», а из уважительного к любой профессии. Не из некоего тусовочного корпуса, где происходят пустые театральные постановки, а вот такого настоящего русского чувства: он болен, но я всё равно буду за ним ухаживать. Вот на службу, к батюшке везу своего Соловейчика! А воевал он немного, так вышло, под Авдеевкой.

И сколько ещё по России таких Соловейчиков?

И сколько их – этих баб, кто пожалели? Взяли себе на окормление? На уход? На эту вечную бабью тоску?

– Езжай, Галина, авось и прозреет твой Соловейчик!

И его зрячая слепота – не метафора пустая.

А настоящее – реальное, что может произойти!

Я верю!

## Поэзия

### Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Родился в 1973 году в Горьком. Окончил исторический факультет Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского. Работал охранником, дворником, поваром. PR-специалистом, маркетологом, райтером. В настоящее время – главный специалист аудио-видеолаборатории Волго-Вятского филиала Государственного музейно-выставочного центра «Росизо».

Автор книг стихов «Верхняя часть» (издательство «Книги», Нижний Новгород, 2013), «Наблюдения» (издательство «СТИХИ», М., 2020), «Фигуры речи» (в соавторстве с Д. Липатовым и Д. Ларионовым, издательство «Эксмо», М., 2021).

Автор-составитель посмертной книги стихов Игоря Чурдалёва «Полёт вороны над Окой» (издательство «Комарносанеподточит дизайн», Нижний Новгород, 2021), а также (совместно с Д. Липатовым) антологии современной нижегородской поэзии «Коромышлова башня» (издательство «Книги», Нижний Новгород, 2021). Лауреат премий журнала «Нижний Новгород» (2019), им. А.М. Горького (НН, 2022), ряда поэтических фестивалей.

Член Союза писателей России, Союза писателей ДНР. Живёт в Нижнем Новгороде.

## ТВОЙ ВЫСТРЕЛ

### Невеста

А невеста тебе не жена, не мать,  
Не родня – так велит закон.  
Ей останется лишь по тебе рыдать.  
Весь прибыток её таков.

Так что ты не умри, ты домой приди,  
Горячо обними. С плеча  
Не руби, а крепко прижми к груди  
Наречённую не печаль.

Надо выжить, родить себе сына, дочь  
После свадьбы – по-людски.  
Так гони костлявую до победы прочь,  
Милой чтоб не рыдать с тоски.

Победи и выживи! Дай зарок  
Ей о том, тебя дома ждут!  
Пусть невеста сплетет и несёт венок  
На челе, а не на покут.

## Еленовка

*И сим победиши!*

Над полями раздетыми  
СВО, а читай – войны,  
Разливает кассетами.  
Громом из тишины

Льётся лихая музыка.  
Черный как ворон дрон.  
Кружится в небе, кружится  
Вестником похорон.

Жирная грязь отвальная,  
Взорванный террикон  
Сталь остывает. Сталь, она  
Огненным лепестком

Точно строчила нитями  
Подлых, горячих жал:  
Взвод с лесополки вытеснил,  
Вгрызся и удержал!

В чистой от скверн Еленовке,  
Во обретенье креста  
Храм «на противныя верных  
Оружие» тем, кто встал.

Встал за родное, братское,  
Честное и свое!  
Павшим – Господне царствие!  
А для живых споём,

И под такую музыку,  
Тем отгоняя смерть,  
Воину, русскому мужику,  
Есть о чём песни петь!

## Бах

*Петру Лундстрему*

Сыграй на скрипочке, дружок,  
Про тех, кто навсегда ушёл.  
Про эту скорбь, про эту боль, про смерть,  
Про взрывов черные цветы  
Под гром безжалостной арты  
Ей петь.  
Нам завтра терриконы брать,  
Их сотни, тысячи – нас рать!  
Сейчас не страшно умирать... почти.  
Пусть не колонный светлый зал

Огнёмразобранный вокзал –  
Звучи!  
Пусть дождь по крыше: бах-бах-бах!  
И рядом слышно: бах-бах-бах, –  
Грохочет шибко.  
У нас тут Бах, Бах, Бах.  
Светлейший Бах, Бах, Бах...  
Играет скрипка.

## 2014

Рука лежала на плече,  
Рука лежала.  
Дошли почти что без вещей  
К вокзалу.  
Ты вспоминай, как он смотрел,  
Вёл речи,  
Как он ладонь ладонью грел –  
Так легче.  
«Езжай отсюда поскорей,  
малышка,  
У нас на угольной земле  
Не вышло».  
Так улыбался и махал  
С перрона.  
Смеялся, что броня крепка  
и оборона.  
В твоих глазах была вода,  
Его – из стали.  
А в октябре и поезда  
Все перестали.  
Он повернулся, вышел в степь.  
Весь вышел.  
Вернуть вернулась – смерть за смерть –  
Тот выстрел.  
Лежи, дыши, не забывай,  
Глаз вытри,  
Тот распоследний красный май...  
Твой выстрел.

## Леонид СЛАВИН

Родился в Горьком в 1968 году. Около 30 лет работает в сфере реабилитации слабослышащих, в настоящее время возглавляет сеть центров слухопротезирования «Отосфера».

Публиковался в сборниках литературной премии «Наследие» и журнале «Новая Немига литературная».

Живет в Нижнем Новгороде.

## ОН КАК ДЕНЬ, А ОНА – НОЧЬ...

### Апостол

На войне не в ходу имена, и притом  
Имена – для наград и погостов,  
Тот, который в крещении назван Петром,  
Позывным окрестился – «Апостол».

Он в бою говорил: «Я хочу тишины,  
Просто жить, а другого не надо».  
Третий год буксовали колёса войны  
У девятого сектора ада.

Только здесь, на войне, обретает металл  
Голоса, отголоски и гласы.  
Пламенел на шевроне священный овал  
Не руками творённого Спаса.

Ты сумей среди знамений, знаков войны,  
Разобрать и расслышать попробуй,  
Был ему покрывалом покров тишины,  
Стал блиндаж материнской утробой.

Из воронки, что раньше была блиндажом,  
Головой сквозь горящие бревна,  
Как младенец, на свет выползал нагишом  
Чтобы к свету родиться повторно.

Прежде он никогда не видал красный снег,  
Снег, от пота и крови горячий,  
И по полю, среди пуль, проходил человек  
В полный рост, не сутулясь, не прячась.

И «Апостол» тяжелые руки поднял:  
«Отче, камо грядеши?» – и просто

Тот ответил: «На запад, они про меня  
Позабыли, ты знаешь, апостол».

Говорят, на войне не бывает чудес,  
В блиндаже, что разрывом накрыло,  
Видел Пётр на Голгофе сияющий крест  
И над ним белоснежные крылья.

И ни жив и ни мёртв, но не всё ли равно,  
Умирая, но не умирая,  
Шел в атаку апостол и сверху – звено  
Из архангелов, присланных раем.

## Великая пятница

Человек в пальто уныло  
На погост несёт букет,  
У него под глиной стыллой  
Там лежат отец и дед.

Смотрят сотни лиц с овалов,  
В грязь дорогу развезло,  
В одиночку и вповалку  
Погребли, как повезло.

Троп изгиб и запах тлена,  
Горло жмёт сырая взвесь,  
Обелиск военнопленным,  
Тоже люди, тоже здесь.

Вот они. Пришёл, наверно,  
Место помнит по холмам,  
Стук в ограду суеверно,  
Шесть гвоздик напололам.

Все прошло – и боль, и битвы,  
Запахнул рукой пальто,  
Докурил, прочёл молитву,  
Может, там услышит кто?

Бог не слышит, над погостом  
Грай ворон да неба синь,  
У него сегодня просто  
На Голгофе умер сын.

## Есенин

*Друг мой, друг мой,  
Я очень и очень болен.*

С.А. Есенин

Почудится в доме забытая музыка Баха...  
И в колокол храма ударит полночный звонарь...

И звук разольется... и где-то завоет собака,  
Моргнет и потухнет на улице желтый фонарь.

Коричневым крепом застынут полночные тени,  
Как призраки мертвых, забывших дорогу домой,  
Привидится страшно... и явственно... мертвый Есенин,  
«Мне плохо, – промолвит, – мне плохо... я болен, друг мой».

И сквозь полуявь поплывет в тишине, ниоткуда  
Рассказ, как среди бесконечных полей и берез,  
Со взором прозрачней озер, в ожидании чуда  
Однажды жил мальчик с соломенным цветом волос.

Полночи без сна... и, тоскуя, скулила собака,  
И страшную цепью вплетались в ночной разговор  
И черные люди, и стонущий реквием Баха,  
И прошлого тени, и мощные залпы «Аврор»...

Краснея, забрезжила в окнах рассвета полоска...  
Не вырваться больше из плена ужасных химер.  
Ах, бедный мой гений, мальчишка мой желтоволосый,  
Покинули звуки земные...  
Петля... «Англетер».

## Инь–Ян

А у деда в глазах синь,  
Рядом с дедом сидит сын,  
Рядом с сыном сидит внук,  
Дед не видит, глаза – внутрь.

А у деда в глазах – боль,  
А у деда в глазах – бой,  
И бывает, в груди жжет,  
А бывает, в груди лед.

Помнит взрывы, в ушах рев,  
Лег на землю почти мертв,  
Помнит, в сердце стальной шип,  
И ее: «Не погиб, жив».

И хотелось ему жить,  
А она начала шить,  
А в глазах у нее – мрак,  
И пришила к себе так.

И была та крепка нить,  
Полюбил да и стал жить,  
Он как день, а она – ночь,  
А потом родилась дочь.

А за нею вослед сын,  
Мрак ушел, и в глазах – синь,

А потом родился внук,  
И не стало ее вдруг.

И у деда в глазах стон,  
Только колокол: динь-дон,  
И повсюду – она, глянь...  
Неразорванное Инь–Ян.

## Дороги и дураки

Я уеду в края, где текут неширокие реки.  
Ходовые огни отразятся от белых полос,  
Верстовые столбы на бегу не нарушат шеренги,  
Только здесь, далеко от столиц, их теряется лоск.

На ухабах гремя, задыхается старенький «пазик»,  
Только мысли на ум: так за что, за какие грехи,  
Кто проклятье наслал, кто же вас окончательно сглазил  
Вас, дороги мои и родные мои дураки?

Остановка в пути. На рябом общепитовском блюдце  
Есть нехитрая снедь... наливай, видишь, мне не с руки,  
Потечет разговор – мол, война и откуда берутся  
Две беды на Руси: те дороги да те дураки.

Я вернусь в этот край в благодатно-вишневом июле,  
Когда вьется в полях невесомая бурая пыль,  
Знаю я, на пруду мой карась обязательно клюнет  
И растут вдоль дорог подорожник, репей и ковыль.

Покосился навес с буквой «А» на обшарпанной стенке,  
А небесные тверди летят по небесным осям,  
Сонно цапля в пруду над водой задирает коленки,  
Но не спят караси, как положено им, карасям.

Видно, сам я дурак, коль ношу я собой на удачу,  
Как надежду на то, что уже не сбылось... не сбылось,  
Ту частицу ушедшей страны – неразменный мой ваучер  
И все жду, что земля налетит на небесную ось.

А когда налетит, если вечные, мудрые боги  
Ополчатся на нас и беда на пороге, как встарь,  
Я опять, как дурак, побреду по разбитой дороге,  
Чтоб частичку свою положить на родимый алтарь.

## Светлана ТЮРЯЕВА

Родилась и живёт в г. Петушки Владимирской области. По профессии инженер-технолог хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств.

Автор семи поэтических сборников и трех детских книг (рассказы, сказки). Публиковалась в журналах «Берега», «Московский базар», «Клязьма», литературно-краеведческом сборнике «Владимир», поэтическом альманахе «45-я параллель», в международном поэтическом альманахе «Артелен», в сборниках патриотической поэзии «Оберег», «Язык победы» (Владимирское отделение СПР). Дипломант и призёр нескольких литературных конкурсов. Член Союза писателей России.

## С ПОМЫСЛАМИ ЯСНЫМИ

### Настоящая Россия

Там она, где зреет колос,  
Где сбегают в лес тропинки,  
Где под лягушачий голос  
Дремлют сонные кувшинки,

Где ракита к водам гнётся,  
И покосом пахнет воздух,  
Возле старого колодца,  
Что на дне скрывает звезды,

В ставенках пустого дома  
Обезлюдевшей деревни,  
В лицах с юных лет знакомых,  
Что на фото жёлто-древних.

Там напев – души раздолье,  
Там одним названьем связан,  
Чисто звоном колокольным,  
Город воинов и вязов.

Там у с каждого пригорка  
Берегинями – берёзы,  
И подъём по ранней зорьке  
Осушает бабьи слёзы.

Первыми из скоробранцев –  
Их сыны, земли опора,  
За обиженных сражаться –  
В бой, без лишних уговоров.

Здесь она питает силы,  
В храмах – раны исцеляет  
Настоящая Россия,  
О которой мало знают...

## Глубинка

Суматошных суток бег –  
Сбился я с дороги,  
Приглашает на ночлег  
Дед на мотоблоке...

Дверь в избу открыв ногой,  
Дед засуетился:  
«Будешь гостем, дорогой,  
Коли приبلудился.

Мы сейчас устроим пир,  
Выпить есть! Немало!  
Тут, конечно, не трактир,  
Вот картошка, сало...

Не поверишь, рассказать:  
Я здесь за султана!  
Мой гарем ни дать ни взять –  
Нюрка, Любка, твою мать,  
Валька и Татьяна!

Бабы – что? Народ пустой!  
Чем зимой топиться?!  
Вот пустил всех на постой  
В теплоте уютиться!

Почитай, уж третий год  
И не шутки ради  
Общий садим огород.  
Я как председатель!

Посчитали впятером,  
Выгода прямая:  
Мы один лишь топим дом,  
Свет зря не сжигаем.

Транспорт? Есть! Вон мотоблок –  
Наша выручалка.  
Ты сто грамм прими, сынок,  
Для гостей не жалко.

Баб моих судьба одна –  
Вдовы-одиночки.  
К двум, бывали времена,  
Приезжали дочки.

Так, случись что, – никого.  
Сами тут врачуем.  
Ну а в общем, ничего,  
Вместе не горюем».

Долго длился тот рассказ  
Под горбушку с солью:  
Выпадет ли ещё раз  
Поделиться болью?

Ветерок качал камыш,  
Красным диском солнце  
Выступило из-за крыш,  
Осветив оконца.

Проводить деревней всей  
Вышли утром рано:  
Общий дед-султан Евсей,  
Бабка Люба, Валя с ней,  
Нюра и Татьяна.

А за ними, глядя вслед  
Сквозь бурьян косматый,  
Чернотой бесхозных лет  
Провожали хаты.

## Фельдшерица Надя

А сегодня ночью выпал снег. Некстати.  
Слякоть на дороге, непогожий день.  
Получила вызов фельдшерица Надя  
Сразу на два дома разных деревень.

Так уж получилось – нет врачей в округе.  
Все сбежали в город – там дороже труд.  
С ней – старушка-мама, помощь – сын подруги,  
И больные Надю с нетерпеньем ждут.

Вновь – медикаменты в сумочку-укладку,  
Бутерброды, термос. И в который раз  
Всё, что есть в наличие, сверить для порядку.  
Только бы «уазик» старый не увяз.

«С появлением Нади прибывают силы,  
И растёт надежда!» – говорят о ней.  
Мизер по зарплате – нищету России –  
Восполняют словом, и душе теплей.

Будь тот день наполнен светом или тьмою,  
Надя всё красиво записать спешит  
В памятку, что носит каждый день с собою,  
В школьную тетрадку – клад её души.

В старой этажерке стопки тех тетрадей  
Бережно хранятся мамой много лет.  
Сложенные в столбик размышленья Нади –  
Ценное богатство! Доченька – поэт!

Мать мечтала книжку напечатать прежде.  
А теперь ну где там, при таких делах...  
Но не всё так просто с именем Надежда –  
Теплится надежда в Надиных стихах.

## Восьмимартовское

Снег, не считаясь с людскими запросами,  
Сыплет по-зимнему, не устаёт.  
За самодельным прилавком с мимозами  
Счастье поштучно Любовь продаёт...

Ей нахамят, обругают «торговкой»,  
Чаще съязвят в отношенье цветов:  
Слишком просты, мол. А кто-то с уловкой  
Стащит букетик – купить не готов.

Школьник-мальчонка ладошку с монетами  
Тянет: «Продайте для мамы моей!»  
И получает, с улыбкой ответною,  
Самую пышную тройку ветвей.

Полдень. Толстеет барсетка на поясе...  
– Всяк на подходе бумажки готовы!  
Что вам цена!? Здесь за цифрами кроются:  
Взносы на нежность и вклад на любовь,

Гроздь пушистых малюсеньких солнышек,  
Радости женской весенний глоток,  
Нежность мимозная, дни суматошные  
И опустевший торговый лоток.

Руки, тем «счастьем» поштучным пропахшие,  
Быстро последний товар приберут...  
Ей бы до дому скорей – там домашние  
Вкусного ужина к празднику ждут.

## Дурачок Васятка

Днём и ночью напролёт  
Зарядила морось.  
А поутру косохлёт,  
С ветрами поссорясь,  
Напросился в старый дом  
Через дыры в крыше.  
Что ж такого? В доме том  
Был народ, да вышел.

Здесь домов таких, подсчесть,  
Будет с два десятка.  
Лишь в одном хозяин есть  
Дурень дед Васятка.  
Попросили присмотреть  
За добром соседи,  
Дали шанс разбогатеть.  
Жди, мол, как приедем.

Двадцать лет усердно ждал,  
Тешился надеждой.  
Надоело, подустал –  
Сам уже не прежний –  
Слеповатый и хромой.  
Думы о погосте.  
А у брошенных домов  
Ветер крыши сносит.

По подворьям проросли  
Ясени, осины,  
Стены гнутся до земли  
Ветхой древесиной.  
Нет тропинок у плетней –  
Всё бурьян – агрессор.  
Часть картофельных полей  
Порастает лесом.

Не дожидаться барышей  
От былых хозяев.  
Дед набрал себе вещей,  
По дворам пошарив,  
Пса приبلудного пустил,  
В сторожа зачислил.  
Им вдвоём чего грустить?  
Есть другие мысли...

Закипает на плите  
Почерневший чайник.  
Дремлет в полной темноте  
Сторож. А начальник  
Философствует сидит,  
Греет пёсьи уши –  
Столько нагородит...  
Кто б ещё послушал?!

## Утомившись суетой

Утомившись суетой,  
Ну её, неладную,  
Бесприютной сиротой  
За душевным снадобьем,

Вдаль от городской черты  
И от глаз прохожего,  
Я пойду искать пустырь  
По тропе нехоженой.

Проберусь бурьян-травой  
К тайному пристанищу.  
Мне сюда идти впервой  
(Спасеничка\* та ещё).  
С путеводною звездой  
До зори беседуя,  
Как монахине седой,  
Я на жизнь посетую.

Нервы – ту же тетивы...  
Снять бы натяжение  
Каплей стойкости травы  
И берёз терпением.  
В благодарность о добре  
С помыслами ясными  
Посажу на пустыре  
Я дубы да ясени.

Пусть вырастают в небеса  
Молодыми ветками,  
И пичужек голоса  
Песнь поют рассветную.  
Приукрасится бурьян  
Тропочкой исхоженной,  
И пребудет у меня  
На душе хорошее...

---

\* Спасеничка – богомолка, отшельница.

## Дмитрий ЛАГУТИН

Родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского государственного университета, работал юрисконсультom в сфере строительства. Редактор отдела прозы журнала «Наш современник».

В 2017 году занял первое место в международном конкурсе «Всемирный Пушкин» в номинации «Проза». Лауреат национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово» в номинации «Лучший сборник рассказов». Рассказы публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Новый берег», «Волга», «Нева», «Дальний Восток», в сетевых изданиях «Литература», «Южный остров».

Живет в Брянске.

## К СВОИМ ПЯТНАДЦАТИ

Андрей зажмурился и представил, как встает с кровати – выходя из своего тела и оставляя его сидеть неподвижно. Представил, как станвится в центре комнаты и оглядывается: вот сидит он сам – прямая спина, брови сведены на переносице – вот, затаив дыхание, сгрудились вокруг, на кроватях, в креслах, даже на полу, остальные – переглядываются, жестикуют, не издавая ни звука. Вот и Санчо – в противоположном от Андрея углу, глаза закрыты, руки сложены кренделем на груди. Вообще глаза закрыты во всей комнате только у них двоих – Андрея и Санчо – потому что только они двое участвуют в эксперименте, а остальные наблюдают и следят за тем, чтобы все было честно. Андрей изо всех сил представил, как шагает к закрытой двери и проходит сквозь нее, оказывается в безмолвном и пустом – тихий час – коридоре, как идет мимо таких же дверей, за которыми шепчутся, смеются в подушки, играют на щелбаны или фофаны – в общем, занимаются чем угодно, кроме того, чтобы, как требует санаторный распорядок, спать. Андрей представил, как подбирается к лестнице – разделяющей коридор надвое. Вот видно за ней комнату Белки Ореховны – дверь, конечно, открыта, чтобы все слышать, а сама Ореховна читает или заполняет какие-нибудь отчеты – а вот, дальше, до самого конца коридора, комнаты девчонок – и за их дверями тоже хихикают и шепчутся, хрустят чипсами и никто, конечно, не спит.

Андрей представил, как спускается по лестнице на первый этаж – держась для натуральности за перила, хотя в этом и нет необходимости, – как пересекает просторный и светлый, зеркала и стенды, холл, как выходит сквозь стеклянную дверь на крыльцо. Спрыгивает, перелетая через

ступени, на дорожку, идет по ней мимо клумб и фонарных столбов к площадке между корпусами. На залитой светом площадке его уже ждет Санчо – он как-то умудрился появиться первым – стоит себе руки в карманы, шаркает подошвой по асфальту. За ним смыкаются полукругом корпуса, из-за раскаленных крыш выглядывают макушки сосен. Над соснами, над корпусами, над Андреем и Санчо – бледно-синее от жары, в редких облаках, небо, из распахнутых окон главного корпуса доносится музыка.

Андрей представил, как приближается к Санчо, как останавливается перед ним и говорит первое, что приходит в голову:

– Еда в столовой отравлена.

Санчо кивает – ясное, мол, дело – и говорит в ответ:

– Мы их выведем на чистую воду, Андрюха, они у нас попляшут.

Андрей представил, как жмет Санчо руку, разворачивается и проделывает обратный путь: по дорожке к крыльцу, сквозь дверь, через холл и лестницу на второй этаж, по тихому коридору к своей двери, сквозь нее в комнату. Вот и все – и он с Санчо – сидят как сидели. Он представил, как становится перед своим телом, а затем разворачивается и опускается в него, принимая его позу. Устраивается как следует, проверяет – на всякий пожарный – совпадают ли границы.

Убедившись, что границы совпали, Андрей сказал негромко:

– Открываю.

И услышал голос Санчо:

– Открываю.

Андрей распахнул глаза и тут же заморгал с непривычки – комната сияла и светилась, в окно били золотые лучи.

– Ну как? Ну что? – зашевелились, зашептались остальные, стали пересаживаться поудобнее, разминать затекшие руки и ноги. – Как прошло?

– Отлично прошло, – ответил Санчо.

И посмотрел вопросительно на Андрея – так ведь?

Андрей кивнул.

Эксперимент заключался в том, чтобы мысленно выйти из своих тел, встретиться в заранее оговоренном месте – не слишком далеко, в пределах санатория, а не где-нибудь в Калуге или Смоленске, – и обменяться парой-тройкой несложных фраз, которые легко запомнить и воспринять. Затем нужно мысленно вернуться – и сверить показания.

– Ну? – звучало со всех сторон нетерпеливое. – Про что говорили? Сань, давай ты первый.

Санчо кашлянул, выдержал многозначительную паузу – руки он оставил сплетенными на груди, только откинулся вальяжно на спинку кресла.

– Я, – начал он наконец, – смотрю на Андрюху и говорю: «Андрюха, погнали вечером в магазин, жратвы накупим», – Санчо выдержал еще одну паузу, наслаждаясь эффектом. – А Андрюха мне отвечает: «Саня, братан, давай лучше завтра».

И Санчо замолчал, обводя комнату торжествующим взглядом.

– Ну? – повернулись все к Андрею. – А у тебя что?

Андрей пересказал разговор на площадке между корпусами. Он еле сдержался, чтобы не приукрасить, не добавить что-нибудь из услышанного только что – но перед началом эксперимента остальные требовали забиться, что никто не соврет.

Среди остальных пролетел вздох разочарования, но затем кто-то заметил, что оба разговора касаются темы еды – а это уже что-то. Комната

зашумела, начались дебаты, но в конечном счете было решено, что эксперимент можно считать скорее удавшимся, чем не удавшимся, потому что действительно в обеих историях фигурирует жратва, а уж детали – это дело десятое, кто знает, сколько их может потеряться при переходе из телесного в бестелесное и обратно.

– А кто первый, – перебил вдруг остальных, Андрей, – на площадке оказался?

Санчо подбоченился:

– Я.

– Вот, – поднял палец вверх Андрей. – И у меня так было – подхожу к площадке, а он уже стоит, ждет.

Санчо закивал восторженно и даже в кресле заерзал.

– Потому что ты как шел? По лестницам, по дорожкам?

– Ну, – ответил Андрей.

Санчо хлопнул ладонями по подлокотникам.

– А я прямо так, – он кивнул на балкон. – Спрыгнул и по клумбам.

Остальные ахнули восхищенно, Санчо подбоченился.

Дебаты возобновились с новой силой, и – с учетом открывшихся подробностей – решено было, что эксперимент совершенно точно удался.

Один только Виталик верить в возможность обсуждаемого отказался.

– Фуфло это все, – фыркнул он. – Фильмы документальные смотрите, а не вот это вот...

Его зашикали, а Санчо сказал весомо:

– Ты если сам не веришь, так и сиди себе спокойно. А пацанов не чуши, за такое и получить можно.

Виталик стушевался, забормотал что-то про статьи и исследования.

– Так ты, – сказали Андрею со смехом, – если по коридору шел – заглянул бы к девахам.

– Точняк, – подтвердил серьезно Санчо. – Эх, Андрюха, Андрюха...

И он сокрушенно покачал головой.

Андрей развел руками – не сообразил, что уж теперь – а потом отмахнулся равнодушно:

– Чего я там не видел...

Остальные притихли завистливо – все знали, что Андрей, и Санчо замутили с самыми красивыми девчонками отряда и даже совершают ночные вылазки к ним в комнату, если Ореховна храпит.

Если Ореховна не храпела, она слышала все в радиусе десяти километров – даже во время сна.

Санчо привстал и протянул Андрею ладонь для хлопка. Сразу за хлопком зазвучала из-за окна, загремела на весь санаторий попсой музыка – тихий час кончился.

Тут же корпуса взорвались воплями, визгами и хохотом – захлопали двери, затопотали по коридорам и лестницам десятки пяток, зашумела в умывальных вода, зазвенели телефоны и среди всего этого гвалта прогремел оглушительно голос Ореховны:

– Приводим себя в порядок и марш на полдник!

После полдника – какао с вафлями – пошли курить.

Курили за беседками дальнего корпуса, у стены, от которой можно в случае чего дать деру вдоль ограды.

За беседками как всегда ошивались охочие до чужих сигарет – с просьбами.

– Сань, Андрюх, дайте докурить хотя бы, голяк у всех, чаем травимся.

Андрей пригляделся – и правда: свернули бумажку «уточкой», так курит до сих пор дед, и натолкали в нее чая, вот почему пахнет жженой травой.

– Чаем? – прыснул Санчо. – Зажмуриться решили?

И достал из пачки сигарету.

– Одну на всех.

Любители чая бросили самокрутки и принялись спорить, кому курить первым, кому вторым – и так далее.

– Да держите еще одну, – сжалился Андрей. – Что вы как бомжи? Скинулись бы да и купили пачку.

– Денег нет, Андрюх, прожрали все.

– Жрать надо меньше, – фыркнул Санчо и, сложив губы трубочкой, выпустил в вязкий хвойный воздух плотное кольцо дыма.

Санаторий был так тесно окружен сосновым лесом, что казалось, будто лес осаждает его – и даже засылает на территорию «своих», которые стоят тут и там, точно мачты, шелушатся корой, рассыпают иголки на клумбы и слушают, слушают, собирают неосторожно озвученные секреты и тайны.

Все затихли и смотрели, как кольцо плывет, клубясь, но не теряя формы, расширяется, попадает из тени на свет, а затем снова оказывается в тени.

– Учитесь, пока я жив, – сказал гордо Санчо, когда кольцо, наконец, выгнулось в овал, разорвалось и растаяло.

Андрей думал тоже выпустить парочку – он умел, – но решил не рисковать при посторонних: если получится хуже, чем у Санчо, будет неловко. Поэтому он только кивнул уважительно – и продолжил курить, привалившись плечом к стене.

Докурив, пошли к девчонкам – и пока шли, пока петляли дорожками мимо корпусов, пока оказывались то ближе, то дальше к ограде, Андрей думал, что к своим пятнадцати сто раз уже был в лагерях и санаториях – самых разных, даже в «Артеке» гремел веслами по уклучинам, – но впервые подружился так крепко, не разлей вода, точно знакомы они с Санчо не полторы недели, а сто лет, и вообще странно, как это они жили так долго в одном городе, даже общие знакомые есть, а друг о друге ничего не знали.

«Вернемся домой, – думал Андрей, – и останемся лучшими друзьями, на всю жизнь».

Он вспоминал своих старых друзей, прежних – оставшихся там, в городе, шатающихся сейчас, наверное, по дворам, – но они как-то не вспоминались и казались далекими, почти чужими, точно он знал их не лично, а по чьим-то рассказам.

– Это сколько у нас времени есть? – спросил Санчо.

Андрей посмотрел на часы.

– Минут сорок.

– Нормально, – кивнул Санчо, – у девах пересидим и погнали.

Через ту же площадку, на которой они мысленно говорили о жратве, они прошагали к крыльцу своего корпуса, поднялись на второй этаж, свернули на девчачью половину и прошли в самый конец коридора, к последней двери, обклеенной цветами и вырезками из журналов.

– Здравствуйте, Белла Генриховна, – кивнул Санчо выглянувшей из своей комнаты Ореховне.

– Здоровались уже, Саша, – ответила та. – Собираешься заходить, так сперва постучись.

Санчо сделал печальное лицо – обижаєте, Белла Генриховна, – и ко-  
стяшками простучал по двери нехитрую мелодию.

– Пароль? – прозвучало весело в ответ.

– На горшке сидел король, – Санчо приоткрыл дверь и просунул в  
комнату голову. – Можно, дамы?

И юркнул внутрь. Андрей кивнул смущенно Ореховне, которая все  
еще выглядывала из своей комнаты, и вошел.

Санчо уже что-то рассказывал, развалившись в кресле. Девчонки си-  
дели вокруг него и смеялись.

– А я ему отвечаю, – говорил Санчо, – если руки золотые, то неваж-  
но, из какого места они растут.

Он откинулся в кресле и вытянул ноги так, что они перегородили  
проход между кроватями. Ирка оказалась за его спиной и обняла, поце-  
ловала в макушку.

Санчо расплылся в улыбке. Андрей перешагнул через его ноги и сел  
на кровать рядом с Мариной, приобнял ее за талию. Марина положила  
голову на его плечо – он снова ощутил, как сладко и свежо пахнут ее  
волосы шампунем, и сердце у него против воли забилось чаще.

Ирка и Марина тоже были не разлей вода, лучшие подруги – но под-  
ружиться успели еще давно и намеренно приехали вместе, правда, не  
из того же города, что и Андрей, а из другого – им тоже было по пят-  
надцать лет, и Андрей удивлялся: как это так получилось, что лучшие  
друзья, не сговариваясь, влюбились в лучших подруг? В том, что он  
именно влюбился, он не сомневался – вон как сердце гроыхает, лишь  
бы не заметил никто – а Санчо... Санчо, конечно, тоже влюбился, втю-  
рился по самые уши – хоть и напускает на себя важности, строит эдако-  
го мачо, которого не прошибешь, у которого не сердце в груди, а глыба  
льда.

Санчо так и говорил, откровенничая, когда уходили курить:

– Ирка классная, вопросов нет. Да вот только, – Санчо стучал себя  
кулаком в грудь и делал страдальческое лицо, – не могу я никого лю-  
бить, Андрюх. Было у меня сердце – а теперь не сердце это, а глыба  
льда.

И он горестно опускал голову.

По обрывочным откровениям Андрей понял, что Санчо был обма-  
нут какой-то девицей, перед самым санаторием, на которую «жизни не  
жалел», – девица была старше Санчо и по его рассказам появлялась  
даже на обложках местных журналов – и теперь обещал никого никогда  
не любить и ошибок не повторять.

– Потому что верить, Андрюха, никому нельзя, – подводил Санчо  
итог и поправлялся: – Кроме корешей, конечно.

И тянул ладонь для хлопка.

Но Андрей смотрел на Санчо, на то, как он светится и расплывается  
в улыбке, и понимал: пропал пацан, понятия понятиями, а сердцу не  
прикажешь – и никакая там, конечно, не глыба, потому что вообще-  
то как глыба может поместиться в грудной клетке пятнадцатилетнего  
мальчишки, тощего и юркого, как обезьяна?

В комнате пахло духами и шампунем – как от Марининых волос, –  
а сама комната была прибрана: вещи на местах, шкафчики закрыты,  
кровати заправлены. И ни тебе фантиков от конфет на полу, ни носков  
по углам, ни засыпанных всякой мелочью – не разберешь, чье где, –  
тумбочек.

Даже картина на стене здесь висела куда более красивая – домик в сиреневых сумерках, огонек окошка. Над кроватью Андрея – в их комнате, в другом конце коридора – маячила какая-то белиберда из разноцветных треугольников.

Санчо точно прочитал мысли Андрея и тоже начал, из кресла:

– Как это у вас получается? Хаты одинаковые, человек живет столько же... Только у нас гадюшник, а у вас как с картинки.

Он деланно разводил руками – в недоумении – девчонки принимали вид важный и самодовольный.

Андрей сидел, прижавшись щекой к Марининой макушке – даже вот носу щекотно, приходится чуть двигать головой, – обнимал ее и чувствовал, что никуда не хочет идти, что хорошо бы сидеть так и сидеть, в светлой и убранной комнате, хоть до самого ужина. Что там ужина – да хоть до самого отбоя, хоть на часы не смотри.

Но он смотрел – поглядывал время от времени, косясь глазами на запястье – и в нужный момент, когда секундная стрелка нарисовала очередной круг, а минутная ткнулась, точно копье, в девятку, кивнул Санчо.

Тот встряхнул головой и ловко вынырнул из-под Иркиных рук, встал посреди комнаты.

– Вынуждены откланяться, просьба не рыдать. Погнали, Андрюх.

Андрей со вздохом оторвал руку от Марининой талии и поднялся – кровать под ним скрипнула, точно от досады.

– А-а, – протянула Марина. – Все ваши секреты секретные.

Андрей наклонился и поцеловал ее – и снова сердце у него забилося так, что он испугался: услышат сейчас, вот смеху-то будет.

– Знаете мудрость? – покачал головой Санчо. – Женщина смотрит на мужчину, мужчина смотрит на звезды.

– Идите уже, мужчины, – засмеялись девчонки и замахали на них руками.

Андрей толкнул дверь и вынырнул в коридор, потянул за локоть Санчо.

– Время, Саня, шевели булками, – позвал он вполголоса. – Покурить не успеем.

– Успеем, – отозвался Санчо и, пятясь по-рачьи, покинул комнату. – Покурить всегда успеем.

Чтобы успеть покурить, им пришлось почти бегом бежать – и они, действительно переходя временами на бег, обогнули все корпуса, свернули перед стадионом в сторону ограды, прошли вдоль нее до дыры – один из толстых прутьев был не то выломан, не то вырезан, – огляделись, вылезли за территорию и оказались в лесу. По мягкой, усыпанной иголками, траве прошли, пригибаясь, до тропинки и заспешили по ней вглубь, за деревья – с тем, чтобы на полпути остановиться и дважды чиркнуть зажигалкой.

Санчо затянулся так, что сигарета стлела сразу на четверть, и выдохнул, закрыл глаза.

– Хорошо-о...

В лесу пели на сотню голосов птицы, откуда-то сверху падали то и дело с тихим шорохом кусочки коры. Пахло – кроме табака – хвоей и смолой. Плотный, сам похожий на смолу, желто-оранжевый свет косыми лучами резал воздух, протискиваясь между деревьями.

Андрей наклонился, поднял из травы крупную шишку с растопыренными чешуйками – подбросил на ладони раз, другой, а потом размахнулся и запульнул как можно дальше. Шишка по широкой дуге улетела за деревья.

– Мощно, – кивнул Санчо. – Не опаздываем?

– Нет, пока нормально.

– Ну вот видишь, а ты паниковал, – он посмотрел через плечо Андрея. – А вон и Рус чешет.

Андрей обернулся и увидел, что по тропинке – со стороны санатория – идет Руслан. Идет пружинистым своим, беззвучным шагом, руки в карманы, в зубах какая-то травинка.

В смоляных лучах загорелый до черноты Руслан казался отлитым из бронзы – точно это был не живой человек, а статуя, которая вдруг слезла с пьедестала, натянула на себя майку и шорты и пошла бродить по округе.

– Все курите, – хмыкнул он, подойдя и крепко пожав предложенные для приветствия ладони. – Курцы, блин.

Андрей даже взглядом не показал, что рукопожатие причинило ему боль, – позавидовал только, хорошо бы иметь такое же, – а вот Санчо, кажется, чуть заметно поморщился.

– Бросайте, – посоветовал Руслан дружелюбно. – Дыхалка ж не казенная.

Санчо хмыкнул, уклончиво повел плечами – точно дыхалка могла вдруг и впрямь оказаться казенной.

– Мы последние, что ли? – заозирался Руслан.

– Кажись, да, – Андрей снова посмотрел на часы.

– Ну и погнажи, чего ждать? – Руслан наклонил голову, сделал лицо человека, опаздывающего на важную встречу по чьей-то, но не его, вине.

Докуривали на ходу. Первым шагал Руслан – вальяжно раскачивая острыми плечами, – за ним спешили Андрей и Санчо.

Издали, задолго до поляны, стали различимы голоса – а затем и замелькали за стволами разноцветные пятна футболок.

– Орут-то как, – проворчал Руслан. – Накрывай не хочю.

Тропинка стала шире, а затем выплеснулась на широкую и ровную поляну, покрытую невысокой травой. На поляне толклись вразнобой, кучками, болтали и смеялись человек двадцать мальчишек. Самым старшим было, как Андрею и Санчо, по пятнадцать, но были и тринадцатилетние, из младших отрядов, и даже один двенадцатилетка – курносый, с выгоревшей от солнца копной волос на круглой голове.

При виде Руслана разговоры затихли.

– Здорово, бандиты, – коротко бросил Руслан, пожав несколько ладоней. – Строимся.

Кучки тут же перегруппировались, и на поляне развернулся ровный круг из стоящих плечом к плечу. Санчо и Андрей тоже заняли свои места – придержаные ради них, самые кайфовые – поздоровались со стоящими рядом.

Руслан пожевал и выплюнул травинку, шагнул в центр круга – круг разорвался на миг, впуская его, тут же сомкнулся.

– Становитесь свободнее, – посоветовал Руслан, потягиваясь. – Чего вы жметесь?

Все сделали по шагу назад, круг стал шире и... пунктирнее.

– Сань, посчитай, пожалуйста, старичков, – попросил Руслан.

Санчо вытянул шею, обвел круг глазами – губы его при этом шевелились.

– Двоих не хватает.

– Рыжий на пикнике, – подал голос кто-то из круга. – К нему родаки приехали.

– Родаки – это святое, – кивнул Руслан. – А второй где?

Несколько человек пожали плечами, никто не ответил.

– Тут я! – раздалось из-за деревьев, и на поляну вывалился опоздавший. – Простите, мужики, живот прихватило.

По кругу пробежали смешки, опоздавший потыкался туда-сюда и влез между двенадцатилеткой и увальнем с покатыми плечами.

– Живот животом, – вздохнул Руслан, – а правила правилами. Андрюх, что по времени?

Андрей озвучил время, опоздавший – видно было – побледнел.

– Четыре минуты, – вздохнул Руслан.

Опоздавший сжал губы в ниточку и кивнул обреченно

– Понимаю, мужики, – отозвался он. – Нет вопросов.

Руслан кивнул двенадцатилетке и увальню, те взяли соседа за руки – двенадцатилетка робко, увальень равнодушно. Руслан подошел вплотную, размахнулся и отвесил опоздавшему одну за другой две звонких оплеухи.

И вернулся в центр круга.

– Правила есть правила, пацаны, – сказал он твердо. – Насильно никто не держит, но раз уж в теме...

Все закивали. Закивал и опоздавший – его отпустили, и теперь он стоял, закусив губу, потирая ладонями щеки и моргая покрасневшими глазами.

– Ладно, закончили с лирикой, – хлопнул в ладоши Руслан, звук получился такой же, как от оплеух. – Начинаем.

И все начали.

Собрать *бригаду* и организовывать *сходки* предложил на второй день смены – только познакомились – Руслан. Предложил он все это Санчо, а уже Санчо подтянул Андрея. Руслан же – опытный, кажется, в этих делах – обрисовал все правила и вообще суть затеи. Суть затеи сводилась по большому счету к тому, чтобы стоять друг за друга горой, а вот с правилами было сложнее – и вращались они в основном вокруг *сходок*, которые проводились ежедневно и требовали непременно присутствия.

Правил было несколько. На *сходки* нельзя было опаздывать; на *сходках* – стоя непосредственно в кругу – нельзя было курить; на *сходках* нельзя было «говорить в параллель», то есть перебивать кого бы то ни было; на *сходках* нельзя было посылать друг друга по известному адресу. За нарушение любого из правил полагалось наказание – нарушителю *пробивали*. Нарушители, как правило, сознавали свою вину и не возмущались.

Было еще одно правило – не рассказывать никому о *бригаде*, но, судя по стремительно увеличивающемуся количеству членов, правило это регулярно кем-нибудь нарушалось.

Руслану отводилась роль *старшего*, Санчо – заместителя *старшего*, Андрей получался кем-то вроде заместителя заместителя, что не давало никаких особенных полномочий, но, как ни крути, прибавляло авторитета. При этом *бригада* не требовала, чтобы ее члены постоянно находились вместе или вообще как-то делили между собой досуг –

достаточно было приходить на *сходки*, не нарушать правила и просто числиться членом негласной организации.

*Сходки* начинались со вступительного слова *старшего*, затем происходило обсуждение *ситуации* – то есть в целом обстановки в санатории. После того как обсуждали *ситуацию*, переходили к *косякам* – члены *бригады* сообщали о возможных конфликтах и «наездах» в их адрес.

Больше всего – больше даже слаженности, с которой заработала только что созданная система, – Андрея удивляло вот что. Андрей искренне не понимал, зачем все это нужно самому Руслану – который и без всяких бригад-сходок-пробиваний крепок, дерзок и, судя по рассказам, давно занимается карате, а значит, может и сам по себе всю смену кататься как сыр в масле.

Когда настала очередь говорить про *косяки*, слово взял болезненного вида мальчуган лет четырнадцати. Он поправил очки с толстыми стеклами – они на миг полыхнули в золотых лучах, – поднял руку и, дождавшись от Руслана кивка, начал:

– Сосед мой, по комнате... В общем... Носки мои в унитаз смыл.

В кругу возмущенно засопели.

– Поподробнее давай, – скомандовал Руслан. – Обстоятельства какие?

Он слушал внимательно, скрестив руки на груди. Если бы оказалось, что мальчуган, например, перед этим сам расправился с носками соседа, то это бы не считалось *косяком* – и за такое мальчугана вообще бы с позором из *бригады* выгнали.

Мальчуган пересказал в подробностях конфликт – который сводился к тому, собственно, что да, сосед смыл носки в унитаз из чувства собственного превосходства.

Когда мальчуган замолчал, Руслан обвел глазами присутствующих.

– Еще косяки есть?

Никто не отозвался, несколько человек помотали отрицательно головами.

– Тогда погнали, – он повернулся к мальчугану. – Ты из какого корпуса?

– Из второго.

Руслан махнул рукой, приглашая следовать за ним, и вышел из круга так же, как прежде в него вошел, – круг вмиг разомкнулся, а затем сомкнулся опять.

– Он сейчас в комнате? – спросил Руслан не оборачиваясь. – Сосед твой?

Мальчуган промямлил, что да, скорее всего, в комнате – был, по крайней мере, прямо перед *сходкой*.

– Погнали, пацаны, – повторил Руслан, уже исчезая за деревьями. – Чтоб время не терять.

И круг вмиг рассыпался – все заспешили вслед за Русланом с поляны, причем Санчо и Андрея пропустили вперед.

– Рус, курить можно? – крикнул кто-то из хвоста шеренги.

– Потом покурите!

Шагали быстро, цепляя друг друга за пятки, – и тропинка скоро кончилась, точно в землю ушла. Минута, другая – и за деревьями показалась ограда. Руслан первый нырнул в проем – ловко, не сбавляя скорости, точно увернулся от летящей стрелы, – за ним пролез, втянув живот,

Санчо, за ним Андрей, а за Андреем уже повалили остальные, пыхтя и напирая друг на друга.

Через весь лагерь компания в два десятка человек прошла молча, только шаги слышны, – прошла напрямик, зацепив к неудовольствию гоняющих мяч угол стадиона, срезав, где можно было срезать.

Андрей не удивился бы вытаптыванию клумб.

Пока шли, Андрей ловил на себе – не лично на себе, а на компании – взгляды встречающихся на пути: заинтересованные, обеспокоенные, удивленные. За неделю существования *бригады* слухи о ней расползались по санаторию – многие знали, что где-то кто-то что-то организовал, но такое шествие наблюдать всем, кому не лень, можно было впервые.

Наконец, из-за третьего корпуса показался – будто испуганно – второй. Руслан, снова не сбавляя скорости, взлетел на крыльцо, дернул дверь и нырнул в холл – и дверь уже не успевала закрыться: таким плотным потоком хлынули в корпус рядовые члены *бригады*, если считать рядовыми заместителя и заместителя заместителя.

Андрею было и тревожно, и весело, он шел, поглядывая то по сторонам, то на Санчо. Санчо шагал собранный, сосредоточенный, смотрел, нахмурившись, перед собой.

Холл с эхом, лестница, жмущиеся к перилам обитатели корпуса. Тесный для такого количества людей коридор, двери, двери, двери, писк мальчугана:

– Эта.

Руслан кивнул вопросительно – переспрашивая, – мальчуган кивнул в ответ. Руслан выгнул руки за спину, так, что лопатки сошлись, хрустнул шейей и толкнул дверь, шагнул за порог.

В следующую секунду в комнату вместились все, кто успел. Кто не успел – остался привставать на цыпочки в коридоре.

– Передай, чтоб на шухере были, – шепнул Санчо стоящему позади.

Распоряжение про шухер вылетело в коридор, оттуда прозвучало сознательное: «Хорошо, Сань».

Андрей вместе с Санчо и Русланом стоял в первом ряду – напротив растерянно озирающегося здоровяка, по виду только проснувшегося и севшего на кровати.

– Не понял, – протянул здоровяк.

Руслан обернулся, в первый ряд пропустили мальчугана в очках.

– Этот? – спросил Руслан.

Мальчуган кивнул.

Здоровяк, кажется, начинающий понимать, поднялся, стал напротив Руслана, посмотрел – рост позволял – сверху вниз.

– Что надо? – пробасил он.

– Ты носки в унитаз смыл? – безмятежно спросил Руслан.

Здоровяк повел бровью, подбоченился.

– А если я, то что? Вы тут поохренели, что ли, толпой?

– Какая толпа? – удивился Руслан и сделал шаг вперед. – Я один тут.

И он повторил вопрос про носки.

Здоровяк с досадой качнул головой.

– Ну, я смыл. Тебе какое...

Договорить он не успел, потому что Руслан как-то ловко выбросил вперед кулак и воткнул его здоровяку в живот.

Здоровяк охнул и согнулся, тут же в живот влетел второй кулак.

Остальные стояли молча, но Андрей слышал, что все – и он в том числе – дышат почти восхищенно.

– Ты что... – прохрипел здоровяк, делая шаг в сторону и приваливаясь боком к спинке кровати. – Совсем...

– Еще раз, – спокойно сказал Руслан, делая шаг вслед за здоровяком и прихватывая того за плечо. – Еще раз хоть посмотришь как-то не так в его сторону...

Здоровяк мимо Руслана поймал ошалевшим взглядом мальчугана.

– Еще раз его вещи тронешь... – продолжил Руслан. – Хоть носки, хоть трусы, хоть что...

Он сделал паузу и сообщил, что последует за нарушением запрета. Затем еще раз, с глухим и плотным звуком, ударил здоровяка по животу и развернулся.

– Расход, завтра как обычно.

Через несколько минут Андрей и Санчо уже курили за беседками – *бригада* по двое, по трое, обсуждая происшествие, рассосалась по санаторию.

– Рус, конечно, мужик, – восхищенно качал головой Санчо. – Раздва, и готово, как шелковый.

Он взмахнул рукой и зацепил стену сигаретой – под ноги посыпались искры.

– Блин, – крикнул Санчо. – Поделись, Андрюх, я тебе потом отдам. У меня в номере.

Андрей фыркнул – о чем речь? – и протянул Санчо пачку.

– Да... – выдохнул Санчо, прикурив. – Вернусь домой и запишусь на карате.

Андрей кивнул.

– И я тоже.

– И говно это брошу, – Санчо поднял сигарету на уровень глаз, посмотрел на нее презрительно.

– Надо бы, да.

Покурили молча, попускали дымные кольца.

– Что там по времени, Андрюх?

– Сорок минут до ужина.

Санчо запрокинул голову, присвистнул.

– Погода кайфовая, неохота в корпус. Давай тут где-нибудь пересидим, а, Андрюх? Или до стадиона дойдем, посмотрим, как играют?

Андрей тоже запрокинул голову – высоко над верхушками сосен скользили по бледно-синему небу оранжевые, подсвеченные смоляными лучами облака. Самого солнца видно отсюда не было – на беседки ложилась тень корпуса – но крыша корпуса и верхушки сосен выглядели так, словно их окатили оранжевой краской. Из-за корпуса звучали – тише и громче, слева и справа, со стороны столовой и со стороны стадиона – голоса, музыка, кто-то кого-то окликал, кто-то во что-то играл, пиццала мелюзга, кто-то свистел по-разбойничьи, оглушительно, так, что эхо уносилось далеко за деревья, путалось в ветвях. Санаторий жил своей жизнью, шумел, пел, гудел, точно огромная музыкальная шкатулка, в которой все звуки перемешались и вылетают вразнобой, не дожидаясь своей очереди. И хорошо было стоять вот так – не одному даже, а с другом – как будто немного в стороне, за корпусом и беседками, и слушать, и слышать все, а самому – самим – молчать.

– Давай до стадиона, – согласился Андрей, наслушавшись.

Он подумал, что можно даже и поиграть – наприсниться к кому-нибудь в команду, побегать, пряча мяч то за одну ногу, то за другую, пасуя

и обманывая, накатывая и разгоняясь для того, чтобы ударить посильнее, а потом смотреть, как мяч несется к девятке...

– Еще по одной и погнались? – спросил Санчо.

Андрей кивнул и полез за пачкой.

Во время ужина, в столовой, Андрей увидел наказанного Русланом здоровяка – тот с деланно безразличным видом уплетал свою порцию, но нет-нет а оглядывался, смотрел из-под бровей. Наевшись – рыбные котлеты с толченой, салат и чай с ватрушкой – и перекурив, Андрей с Санчо отправились в свой корпус и, поднявшись на второй этаж, вернулись к девчонкам.

В комнате с цветами на двери дым стоял коромыслом – обитательницы всюю готовились к дискотеке. Сушили волосы, красились, клеили на ногти крошечные разноцветные картинки. Пахло в комнате пудрой – пудра натурально, кажется, висела в воздухе облачками, – духами и, едко, лаком для ногтей. Девчонки щебетали, смеялись, с подоконника играла музыка.

Андрея и Санчо сперва стали выпихивать вон – совсем обнаглели, – но потом разрешили немного посидеть, пока не дошло до примерки платьев.

– Так куда вы все ходите? – спрашивала Марина, не отрываясь от зеркала и от кисточки для ресниц.

– Да никуда мы не ходим, – отмахивался Санчо, закидывая ногу за ногу; они с Андреем сидели вдвоем на Иркиной кровати, сама Ирка носилась по комнате в поисках помады. – Покурить там, поболтать.

– Хорош брехать, – отзывалась, не прекращая поисков Ирка. – Покурить, поболтать...

– А у них еще кто-нибудь есть, – хихикнула одна из обитательниц, по прозвищу Макаронина, высоченная и худая, с прямыми и светлыми, белыми почти, волосами.

Марина обернулась, из-под стремительно увеличивающихся ресниц сверкнула на Андрея глазами, Андрей скривился – кого ты слушаешь?

– Заткнись, Макаронина, – зевнул Санчо. – Не завидуй чужому счастью.

– Очень надо, – буркнула Макаронина и добавила, помолчав: – А что тогда за секреты? Взяли бы да и признались! По углам зажиматься вы горазды, а как до доверия дело доходит...

– Катя! – зашикали на нее девчонки. – Хватит, а!

А Андрей задумался: почему бы действительно не рассказать Марине про *бригаду*, про *сходки*? Ведь пустяковые на самом деле секреты, слухи-то вон ходят – а все же получается, что доверия-то и нет. А что же за любовь без доверия? Сегодня он от нее что-то скрывает, завтра она от него – а дальше что? Нет, так каши не сварить.

Он посмотрел на Марину – какая она красивая. Сидит к нему впол-оборота – и видит он ее и так, и в зеркале, и в зеркале она кажется еще красивее, чем так, глаза как-то по-особенному блестят и...

«А вдруг мы поженимся? – пронзила Андрея неожиданная мысль. – А что? Мне никого больше не надо, все, определился я, нагулялся, можно сказать».

И он даже заерзал на кровати от волнения.

– Ты чего ерзаешь, Андрюх? – вяло спросил Санчо.

«Что в разных городах, так это же ерунда, – продолжал думать Андрей, не обращая на Санчо внимания. – Сперва будем ездить друг

к другу, а как шестнадцать стукнет... Ведь можно же с шестнадцати жениться, если родители не против...»

Ему захотелось переспросить у кого-нибудь, точно ли можно жениться в шестнадцать, – но у кого тут спросишь, не шептаться же с Санчо.

«Можно, можно, – успокоил он себя. – Тогда и съедемся, перевезу ее ко мне... Родители только рады будут – вот, остепенился пацан, можно быть спокойными».

И он уже совсем по-другому смотрел на Марину, а она ловила его взгляд в зеркале, и в глазах ее вспыхивали искорки, и он не знал, вспыхивают они потому, что сквозь занавески просачивается, дотягивается до столика розовый отсвет заката, или сами по себе.

– Все, – хлопнула в ладоши Ирка. – Прошу на выход.

И она потянула из шкафа платье в блестках.

– Ну я-то могу и остаться, да? – играя бровями, пробасил Санчо.

Ирка наклонилась к нему, поцеловала звонко, а потом за локоть потащила к двери.

Андрей, хохоча, ей помогал.

– Давайте, давайте, – приговаривала Ирка. – Сами-то что, в футболках пойдете?

– А что? – с вызовом восклицал Санчо. – Я хоть в футболке, хоть без футболки – красавец! Правда, Макаронина?

– Лох ты, а не красавец! – огрызнулась Макаронина. – Красивее видали!

– За лоха ответишь! – гаркнул полусхутя Санчо, но дверь перед его носом уже захлопнулась.

Он ковырнул ногтем один из цветков и посмотрел на Андрея печально.

– Втюрилась в меня.

– Кто? – не понял Андрей. – Ирка?

– Да Ирка-то понятно, – скривился Санчо. – Макаронина втюрилась, точно тебе говорю.

Андрей хмыкнул недоверчиво, посмотрел на часы.

– Саня, и нам пора.

Санчо потянулся, закинул руку Андрею на плечо, Андрей закинул свою на плечо Санчо, и так они и пошли по коридору, для смеху раскачиваясь из стороны в сторону, точно пьяные. Санчо даже затянул какую-то песню, но из своей комнаты высунулась Белка Ореховна, подозвала, попросила по очереди дыхнуть.

– Не верите вы нам, Белла Генриховна, – покачал обиженно головой Санчо. – А мы люди порядочные, законопослушные.

Ореховна скривилась, погрозила пальцем и ушла к себе.

– Ночью чтоб ни звука! – предупредила она. – И из комнаты ни ногой!

По коридору носились туда-сюда девчонки с полотенцами на головах, просили друг у друга то блестки, то заколки, дальше, в мальчишеской половине, гремел хохот, за одной из дверей – открытой – двое катались по полу, боролись в шутку, красные и взмокшие, вываливались время от времени в коридор, их за ноги тащили обратно.

Андрей и Санчо деловито понаблюдали за борющимися, дали пару советов и ушли к себе. Переоделись – сменили футболки на рубашки, Санчо еще и в брюки влез, бросив джинсы на кровать – обрызгались с ног до головы Андреевым одеколоном, вместе дошли до умывальной и долго приглаживали перед зеркалом волосы – закладывали мокрыми ладонями за уши, зачесывали, используя вместо расчески пятерню, назад.

– Повезло тебе, Андрюх, у тебя волосы вьются, – вздохнул Санчо. – А у меня, блин, как намочу, сопли какие-то, а не волосы. Я бы вообще на твоём месте – отпустил! По плечи!

Андрей всмотрелся в свое отражение, представил себя с шевелюрой по плечи и прыснул.

– В бригаде бы не поняли, – ответил он.

– Это да, – подумав, согласился Санчо. – Что есть, то есть.

Пахнувшие одеколоном, с блестящими от воды волосами, в рубашках с закатанными рукавами и расстегнутыми на груди пуговицами они вышли из корпуса, прошагали к беседкам и покурили. Затем проделали обратный путь, заглянули в свою комнату – у одного из соседей нужно было кое-что узнать, но сосед отсутствовал, – вышли снова и только тогда двинулись к главному корпусу, от которого звучала уже приглушенно музыка и к которому спешили с разных сторон члены всех отрядов – за исключением разве что самых младших.

У крыльца прохаживался туда-сюда, меряя площадку шагами, Руслан – руки в карманы, черная рубашка заправлена в брюки, на поясе сверкает огромная пряжка.

– Здорово, пацаны.

– Здорово, Рус.

Постояли немного вместе, поговорили о чем-то постороннем. Руслан, разговаривая, потягивался, хрустел костяшками, привставал на носки и оглядывался, точно высматривал кого-то. На санаторий понемногу опускались сумерки, за дальними соснами висел в остывающем небе месяц – но на другой стороне светилось еще лиловым и розовым, и окна стоящих по левую руку корпусов отражали закат.

Подошел к крыльцу, поднялся по ступеням и скрылся за дверью здоровья – Руслан даже глазом не повел.

– А научи так же бить, Рус, – попросил Санчо. – Ты ж в какое-то определенное место целишься, не абы куда?

– Конечно, в определенное, иначе толку не будет. Научу, чего ж.

Наконец показались на дорожке Марина с Ирккой – в платьях, с причудливо уложенными прическами, на каблуках. Они шли, а все оборачивались и провожали их восхищенными взглядами.

Санчо присвистнул и довольно перекатился с носков на пятки. Руслан кивнул одобряюще и хлопнул Андрея по плечу, ушел в корпус.

Одно из окон первого этажа – за которым гремел музыкой зал – распахнулось, музыка зазвучала совсем громко, так, что ее, наверно, слышно было далеко в лесу. Андрей представил себя стоящим посреди деревьев где-нибудь за оградой – да хотя бы на той поляне, на которой собирали *сходки*, – представил, как светлеет лилово небо между кронами, как расплываются, теряются в сумерках кроны, и как звучит приглушенное, с эхом, «бум-бум-бум».

– Без нас не заходите? – спросила, поднимаясь на крыльцо, Ирка. – Правильно.

Санчо предложил ей локоть, Андрей взял за руку Марину, распахнул дверь – и они вчетвером вошли в переполненный отдыхающими от танцев холл главного корпуса, свернули к темному проему, в котором мелькали огни светомузыки и из которого вываливались, чтобы отдышаться, особенно рьяные танцоры.

Андрей танцевал неохотно, потому что «надо» – вяло и без интереса дрыгал руками и ногами в тесном, пять-шесть человек, кругу, обменивался

взглядами с Мариной и по большому счету ждал одних только медляков, мысленно ругая диджея за то, что медляки выпадают реже, чем стоило бы.

Время от времени он вместе с Санчо покидал зал, а затем – и корпус, и шел курить, и за беседками стоял, вытирая рукавом пот со лба, обдувая подлетающих комаров табачным дымом и хлопая ладонями по подлетевшим. Санчо курил так же – запыхавшийся, распаренный – и то и дело смотрел на небо, вздыхал мечтательно.

– Хорошо-о...

Сумерки сгущались, и казалось, что кроны вырастают в небо – а корпуса сливаются в единую громаду, продырявленную тут и там квадратиками освещенных окон: кто-то не танцевал и оставался в комнатах.

За беседками курили такие же отдыхающие – приходили и уходили, сменяли друг друга или задерживались надолго, заболтавшись. Кто-нибудь обязательно просил у остальных сигарету, веяло едко тлеющим чаем. Иногда среди курящих попадались члены *бригады*, и на Андрея с Санчо смотрели уважительно, кивали, а раз даже угостили невесть откуда добытым пивом – горьким и теплым.

После пива пришлось курить еще по одной – чтобы перебить запах, – а потом и жевать по пути к корпусу мятную до щекотки в носу жвачку, также предложенную кем-то из *бригады*.

Когда диджей созрел до медляка и танцпол пустел в волнительном ожидании, Андрей, расправив плечи, шагал к Марине и протягивал ей руку, а потом, танцуя, шептался с ней, дуря от запаха духов, или осматривался через ее макушку: вот Санчо с Ирккой, вот Макаронина с местным Пеле – кислая, вытянутая в середину зала против своей воли. Танцевали мелкие – на расстоянии вытянутой руки, точно между ними воспитательница стоит – танцевали члены *бригады*, превратившиеся в обычных мальчишек, неуклюжих и робких. Танцевал тот, которому сегодня *пробивали* за опоздание, танцевал увальень, державший его за руку, даже здоровяк, охочий до чужих носков, – тоже танцевал, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь. Не танцевал Руслан – ни медляки, ни... быстряки – стоял у стены, скрестив руки на груди, смотрел строго – или выходил на крыльцо, мерил его шагами в задумчивости; но, посмотрев в очередной раз через милую макушку, Андрей присвистнул, потому что и Руслан, несгибаемый каратистище Руслан, сдался – и теперь покачивался, придерживая за талию девицу из старшего отряда – невзрачную какую-то, не чета Марине.

Руслан поймал взгляд Андрея и – озаренный светом софита – подмигнул дружелюбно, как подмигивают старшие братья младшим. Андрей посмотрел в сторону и увидел, что Санчо также наблюдает за Русланом – с глазами по пять копеек.

Ближе к завершению Андрей позвал Марину гулять, и они долго ходили по дорожкам между корпусами, держась за руки. Говорили о чем-то, но больше молчали, смотрели по сторонам, ежились – становилось все холоднее, – Андрей приобнимал Марину и видел, что плечи у нее покрыты мурашками. В безлюдных уголках останавливались и целовались, затем оглядывались весело и шли дальше – и время от времени встречались с такими же парочками, разгуливающими по санаторию.

Возле стадиона стояли и смотрели на небо – как оно лежит над лесом, серо-синее, подернутое неровными пепельными облаками, а в глубине его проступают точки звезд.

За оградой, в лесу, скрипели деревья, кричала время от времени жалостливо какая-то птица.

– Грустно так, – говорила Марина.

– Чего тебе грустно? – спрашивал, смеясь, Андрей и стискивал ее в объятьях, лез с поцелуями, а она уворачивалась шутивно, закрывала лицо ладонями.

Когда вернулись в очередной раз, Санчо вытворял в центре танцпола что-то невообразимое – весь зал смотрел, не моргая. Санчо подпрыгивал, раскидывая ноги в стороны, приседал, валился, опираясь на руку, набок, вскидывал ловко одну ногу, другую, крутился, падал на живот и вскакивал – а когда песня закончилась, прошелся туда-сюда колесом, оказался ровнехонько перед плачущей от смеха Ирккой, шелкнул пятками и поцеловал ее, Ирки, руку.

Зал взорвался аплодисментами, Санчо, сизый, мокрый насквозь, хрипя и задыхаясь, жестикулируя Андрею – «курить, Андрюха, срочно курить», – ушел и за беседками, вернувшись в чувство, объяснял:

– Я ж русскими народными занимался, шесть лет на них ухайдокал. Андрей и присутствующие удивлялись.

– Да я чем только не занимался, – махал рукой Санчо. – И плаванием, и баскетболом, и акробатикой... Даже по дереву выжигал.

– Выжигал-выжигал, а теперь отжигаешь, – шутил кто-то.

Санчо благодарно склонял голову на бок.

– Ну ты, Саня, энерджайзер, – фыркнул Руслан, встретив Санчо и Андрея на крыльце. – Твою бы энергию да в нужное русло...

Дискотека закончилась, и все – усталые и довольные, блестящие в свете фонарей – разбрелись по корпусам. Зашумела в раковинах вода, заскрипели по зубам щетки с пастой. Зафыркали, зашлепали тапками первые в очереди к душевым кабинкам. И долго еще санаторий гудел и горел всеми окнами, хлопал дверями, взрывался хохотом и замолкал под окриками воспитателей – готовясь к отбою.

Перед самым отбоем – перед тем, как гасить свет, – по комнатам второго этажа двинулась с проверкой и наставлениями Ореховна. Зайдет в комнату, пересчитает натанцевавших, прикажет спать, а не дурью маяться – и щелкает выключателем, комната погружается в темноту.

Когда в темноту должна была погрузиться комната Андрея и Санчо, Ореховну обступили обитатели комнаты напротив – уже погружившейся.

– Белла Генриховна, – запричитали они. – Белла Генриховна! Разрешите нам у них посидеть, истории порассказывать! Мы тихо!

Ореховна осмотрела просящих, потом Андрея с Санчо и остальными – что ни лицо, то образец порядочности и послушания.

– Но только тихо, – вздохнула она. – И недолго!

Она снова оглядела комнату.

– Саша, за старшего!

– Есть за старшего, – Санчо сел в кровати, как неваляшка, и отдал честь.

В комнату, рассыпаясь в благодарностях, пролезли мимо Ореховны любители историй – расселись кто куда, точно вросли, кто в кресло с ногами, кто на край чужой кровати, кто на табуретку. Ореховна пересчитала всех, погрозила пальцем, посмотрела многозначительно на Санчо и хлопнула ладонью по выключателю, закрыла дверь.

Комната исчезла, и на месте ее за клубилась, зашипела и зафыркала в несколько голосов темнота. Потом из темноты этой выплыло окно, стеклянная дверь балкона, а за ними уже появилось все остальное – загадочно подсвеченное с улицы фонарем.

– Так, – шепотом сказал Санчо. – Я за старшего, а потому все ведут себя тихо. Мне за вас отгребать мазы нет.

По комнате пробежал одобрителный шепот, зазвучали обещания вести себя тихо.

– Андрюх, – позвал Санчо. – Ты карауль, плиз, Ореховну, тебе от двери сподручнее. Если захрапит, мы с тобой... Ну ты понял...

– Понял, – кивнул Андрей.

Остальные молчали – завистливо.

– Ну? – спросил Санчо. – Кто первый?

– погоди, Сань, – предложил кто-то из гостей. – Давай посидим мальца молча, чтоб настроиться.

Санчо согласился.

– Это дело, – сказал он. – А то в прошлый раз начали с ходу, так только ржали, блин.

И все замолчали. Андрей устроился поудобнее на своей кровати, подпер спину подушкой, подтянул ноги, чтобы хватало места усевшемуся на самый край Пеле. Вспомнил, что Пеле танцевал с Макароной, захотел спросить что-то по этому поводу, но не стал – потом, успеется.

За стенами плавал по корпусу едва различимый гул – кто-то где-то говорил вполголоса, кто-то скрипел кроватью, ворочаясь, кто-то двигал тумбочку или стул с характерным скрежетом. В умывальной шумела вода, внизу по холлу кто-то ходил, гоня между зеркалами эхо. С улицы доносилось тарактенье – работал у главного корпуса генератор. Словно сквозь толщу воды долетел, истончаясь, угасая, из-за ограды, из леса, крик той самой птицы – которую Андрей и Марина слышали, когда стояла возле стадиона – и всем сразу стало и жутко, и весело, и захотелось пугать друг друга и пугаться самим.

Первую историю рассказал один из гостей – и история оказалась совсем не страшной, хотя у рассказчика местами подрагивал голос. Затем прозвучала история, которую Андрей знал чуть ли не наизусть – так часто он ее, менялись минимально детали, слышал. Потом кто-то взялся провернуть понятный и как правило беспроегрышный трюк: рассказывал нараспев, все тише и тише – Андрей сразу понял, к чему дело идет, – так, что, наконец, многие потянулись ближе, чтобы слышать, а голос все затихал и затихал, чтобы затем взорваться резким и неразборчивым:

– Отруби ему руку!

Фразу эту нужно было прокричать, но Белка Ореховна запретила шуметь, и потому рассказывающий сколь возможно громко прошипел, и получилось, конечно, не то, но некоторые все-таки, кажется, перепугались и подпрыгнули на своих местах – а остальные зафыркали, засмеялись, зажимая рты ладонями.

– Тихо, пацаны, тихо, – отдышавшись, посоветовал Санчо. – Разгоят контору к едрени фени.

И дальше уже рассказывали, не пугая, не шикая и не вскакивая с поднятыми угрожающе руками. Попадались истории скучные, попадались даже комичные – придумают же такое, – попадались никакие, ни рыба, ни мясо, но встречались и жуткие. Андрея больше всего впечатлила та, что рассказал Пеле – про ведьму и мебель.

– Это у нас в городе было, – говорил Пеле. – Лет пять назад, что-то такое.

Говорил он нарочно спокойно, как и положено рассказывать страшилки.

– В одном доме стали люди пропадать. Ну там, служащие разные в основном. Почтальоны, газовики какие-то, электрики... А в доме – частный, не с квартирами – бабка живет, ведьма. Она вызывает кого-нибудь – проверить там, подкрутить, человек заходит... Видели даже, как заходят, да, и детей, бывало, зазывала... Заходит – и все, – Пеле разводил руками, – с концами.

Комната слушала, затаив дыхание, за окнами гудел глухо ветер.

– И вот пацан один решил, значит, проверить, что там за дела. Разобраться, значит.

Андрей видел, что Санчо хмурится – переживает за пацана.

– Только вот он, дурак, не предупредил никого, – качал головой Пеле. – Не сказал, куда идет.

И Пеле пускался в рассуждения – выдвигал версии, почему же храбрый пацан никого о своей затее не предупредил: может, настолько храбрый был, может, не хотел, чтоб отговаривали, может, не хотел эффект портить – придет потом такой, тузом, и выложит все как есть...

– Давай ближе к сути, – перебивал Санчо, – без лирики.

Пеле смотрел почти обиженно, но возвращался к истории.

– Ну, в общем, взял он там на всякий случай нож батин, всякое такое... Дождался, пока бабка свалит куда-то, ну и перелез через забор... А дело днем было, днем-то не стремно, солнце там, вот это вот. Перелез он, значит, и прокрался по двору к дому. Еще внимание обратил – двор, грядки, а между грядками, у забора, мебели полно старой: стулья всякие, табуретки, тумбочки... Все гнилое уже, разваливающееся – но вот прямо полно, да.

Пеле кашлял в кулак, ерзал на кровати.

– Наверное бы, унесли все давно, растащили, – пояснял он. – Да все ж про бабку эту знали, да, что там что-то эдакое...

И возил по воздуху пальцами.

– К сути давай, – снова торопил его Санчо, и снова Пеле смотрел обиженно.

– К сути, к сути... Пролез он, в общем, к дому и давай в окна заглядывать. В одно заглянул, в другое – а там же не видно ни хрена, занавески, паутина даже. Хотел он уже уходить, – Пеле качал головой, – да оказался у самой двери. Ну и потянул за ручку. А дверь-то открыта!

Пеле делал круглые глаза и принимался рассуждать о том, что побудило пацана потянуть за ручку, но Санчо его снова торопил.

– Ну что-что? Зашел он, короче, в дом. Бабки-то нет, не пришла еще. Зашел, ну и давай там... по коридору там, по комнатам. И ничего особенного, значит, не видит. Ну, там, всяких штук. Обычный дом, пыльно только. И окна все зашторены – ну так многие ж старики так живут. И мебели опять – до хренища. Старая, новая, столы, кресла, комоды всякие, шкафы, торшеры... Тесно, короче. В общем, обошел он весь дом – и думает, что пора бы валить, раз ничего не увидел. А тут бац – замок щелкает, бабка вернулась.

Слушающие натурально переставали дышать – даже ветер за окном замолкал – как-то так получалось у Пеле рассказывать.

– Пацан давай, значит, – продолжал Пеле, выдержав паузу, – в обратку, к выходу во двор. Да зацепил вешалку какую-то плечом, тесно же.

Санчо горестно опускал голову на грудь.

– Зацепил, короче, вешалка завалилась, загремела... А бабка тут как тут – в коридоре стоит.

Пеле выдерживал еще одну паузу, затем рассказывал дальше.

– Пацан, понятно, пересрал, да. За ножом даже потянулся, хотел уже деру дать. А бабка такая, мол, ой, а что ты тут делаешь? – Пеле делал голос тоньше, и он звучал совсем по-старушечьи. – А что тебе, внучок, надо? У меня и красть-то нечего. Милая, типа. Да ты не бойся, внучок, я тебя не обижу... Иди вот, чайку выпей, я бараночек прикупила...

Далее по истории выходило, что пацан хоть и не хотел, а все же за-чем-то соглашался остаться и выпить чаю – и бабка долго поила его чаем, а он сидел в кресле, оглядывался по сторонам, прикидывал, что если что, шарахнет бабку вот этой вот табуреткой, или ножом пырнет, или ножку у стола отломает, вон какая увесистая...

– Глупое решение, – комментировал кто-то. – Остаться, блин, чай с ней пить.

Пеле разводил руками – за что купил, за то продает, он бы тоже поступил иначе.

– И она ему, значит, все в уши льет, – продолжал он. – Рассказывает чего-то, про молодость свою, про фигню какую-то. А он сидит, блин, уши развесил – и все баранками хрустит, по сторонам поглядывает. Только допьет, она ему подливает, подливает... В общем, его в итоге и раскумарило с этого чая – сидит как обдолбанный, башка чугунная.

Санчо фыркал с досадой – кто бы, блин, сомневался.

– Сидит он, в общем, голова дурная, и спрашивает так вот, как есть... Бабка, спрашивает, а правда, что у тебя тут люди пропадают? А она ему такая... – Пеле кашлянул, сделал старушечий голос. – Правда, внучок, правда. А он такой, – Пеле возвращался к своему голосу. – А куда ты их деваешь-то? – Переключался на старушечий. – А куда же деваю, внучок? Вот они все, тут.

Пеле замолчал, потом говорил так равнодушно, как только мог.

– И короче, показывает так вот, на комнату, рукой обводит, – он кивал. – А пацан сидит, не понимает ни хрена. Опоила бабка. В каком, говорит, смысле, тут? Тут вон мебель одна. И по подлокотнику – хлоп-хлоп ладонью. А бабка кивает – мебель, мебель. Вот и из тебя что-нибудь интересное получится – может буфет, может, зеркало напольное.

Пеле выдыхал шумно, расправлял плечи.

– Ну и вот.

– Что «вот»?

– Ну, превратила его в какую-то фигню – в кресло там какое-нибудь или правда буфет, хрен его знает.

И Пеле пояснял на всякий случай:

– Ну, она типа всех в мебель превращала, поняли?

– Да поняли, поняли... – бормотал задумчиво Санчо. – Только если она его в буфет превратила, кто об этом обо всем рассказал?

В Пеле тут же тыкали пальцами, гудели недовольно – уличая во лжи.

– Не знаю, – отвечал невозмутимо Пеле. – Может, сама и рассказала, перед смертью.

После этой истории долго сидели молча – думали. А потом кто-то скрипнул кроватью – и Пеле вдруг побледнел.

– А прикиньте, пацаны... – протянул он и обвел руками комнату.

И все тут же заозирались, оглядывая залитую призрачным светом мебель – тумбочки, кровати, кресло и стулья. И всем – Андрей был уверен, что всем, его вообще мурашками осыпало – стало не по себе.

– А ну тебя на хрен, слышь! – зашипели на Пеле. – Не нагоняй, и так стремно!

Пеле замахал руками, извиняясь.

Но Андрей – и, он был уверен, остальные – долго еще, слушая идущие следом за этой историей, чувствовал себя не в своей тарелке и старался не шевелиться, чтобы кровать не скрипела пружинами.

А спустя какое-то время – после очередной истории, глупой и нестрашной, – он услышал, как звучит в коридоре, выплывая из-за приоткрытой для бдительности двери лучший на свете звук – храп Белки Ореховны.

– Сань, – позвал он. – Храпит.

И тут же с него слетело неприятное ощущение. И с Санчо, конечно, тоже – потому что у того даже глаза засверкали.

– Народ, – сказал торжественно Санчо. – Мы с вами еще полчаса сидим, а потом давайте как-нибудь без нас.

Полчасика сидеть полагалось для того, чтобы удостовериться – Белка Ореховна спит крепко и переставать храпеть не собирается.

Белка Ореховна спала, по-видимому, крепко и переставать храпеть не собиралась – наоборот, храп ее становился все громче и громче и звучал все увереннее: теперь его, вероятно, было слышно и из холла, на первом этаже – если не из леса, с поляны для *сходок*.

Истории, которые звучали в эти полчаса Андрей слушал вполуха, рассеянно – и только поглядывал время от времени на Санчо, подмигивал ему заговорщически. Остальные ловили – вроде и темно, а всё все видят – эти взгляды и продолжали смотреть завистливо, а потом снова переключались на истории и слушали, распахнув глаза, тихо переругиваясь в особенно напряженные моменты.

Месяц – яркий, точно фольгой обернутый – выполз, наконец, из-за края окна, и теперь его было хорошо видно сквозь тюль.

– Да со мной это было, мужики, зуб даю! – принялся заверять один из гостей, едва закончив пересказывать сюжет какого-то фильма, с древними артефактами и встающими из могил покойниками.

– Во ты мастер брехать, а!

– Да он нас за лохов держит, пацаны!

Комната пришла в волнение, рассказчика стали забрасывать обвинениями.

– Все, братва, – поднялся со своего места Санчо. – Развлекайтесь.

Он снял со спинки стула джинсы и влез в них, затем передел футболку.

– Андрюх, дай одеколону.

Андрей, уже одетый и жующий жвачку, протянул Санчо гнутый пузырек, потом пшикнулся сам.

Под пристальными взглядами остальных они приоткрыли дверь – комнату разрезало пополам полосой света, храп Ореховны зазвучал так, словно она спала тут же, на стуле у стены, например, – прислушались и босиком, бесшумно, точно призраки, выскользнули в коридор.

Прикрыли за собой дверь – до мягкого щелчка.

И на цыпочках, останавливаясь и замирая, зажимая ладонями рты, чтобы не фыркнуть, не засмеяться в самый неподходящий момент, переглядываясь и кивая то на одну дверь, то на другую – за одной, слышно, сопят, за другой шепчутся, за третьей тоже кто-то храпит, но робко, неуверенно – двинулись по пустому и тихому – если не считать храпа

Ореховны – коридору, совсем такому, каким его представлял себе Андрей днем, во время эксперимента.

Но это был, конечно, ночной коридор – не дневной – с горящими неярко лампами под потолком, с черными, на деревья, окнами в начале, за спинами, и в конце, у комнаты с цветочной дверью.

Проплыла мимо лестница, спускающаяся вниз и тонущая в тени.

Оказалась совсем рядом комната Ореховны – дверь приоткрыта на ширину ладони, и в нее видно комод, угол кровати, и как светится тускло, ночником, отвернутая к стене настольная лампа. Андрей и Санчо задержали дыхание и привстали на цыпочки так высоко, что со стороны могло показаться, будто они вовсе не касаются пола.

Когда дверь Ореховны осталась позади, Андрей – сам красный от напряжения – посмотрел на бурого, точно свекла, Санчо и не удержался, прыснул со смеху, тут же залепил рот ладонью. Санчо сделал страшные глаза, замахал возмущенно руками. Остановились и долго прислушивались – храп Ореховны сперва осекся, будто споткнулся, но потом зазвучал по-прежнему.

Ореховна храпела раскатисто и громко, но все же как будто нараспев – точно речовку для отряда сочиняла, – и сразу можно было понять, что храпит женщина, а не мужик.

Наконец, коридор закончился. Протяни руку в одну сторону – коснешься цветка, приклеенного к двери, протяни в другую – прохладного и темного, без занавесок, окна. Санчо кончиками пальцев, беззвучно совсем, простучал между цветов серенаду и приоткрыл. На Андрея пахнуло духами, сердце его забило быстрее – он пригладил волосы и скользнул следом за Санчо в душистый полумрак, прикрыл за собой.

Девчонки – все, включая Макаронину и Марину с Ирккой – спали в своих кроватях. Макаронина во сне что-то бормотала недовольно.

Месяц висел ровно по центру окна – а тюль был отброшен в сторону, – и свет лился на спинки кроватей и дверцы шкафчиков, серебрил пузырьки и тюбики с косметикой на комод, и в окно хорошо было видно светлую дорожку между клумбами и площадку перед главным корпусом, черные силуэты сосен.

Санчо тут же полез к Ирке с поцелуями, зашептал ей какие-то – Андрей не поверил своим ушам – стихи.

Андрей подошел к Марининой кровати, присел на корточки и осторожно убрал с ее лица прядь, заложил за ухо. Марина открыла глаза, моргнула раз, другой и улыбнулась. Зажмурилась, зевнула в ладонь Андрея и села, встряхнула головой.

– Мы думали, вы все, – прошептала она, – спите уже.

– Помогите мне Ирке разбудить, – зашипел Санчо из угла, – она в отрубоне совсем.

– Заткнитесь, дайте поспать, – проворчала Макаронина и заворочалась на своей кровати, заскрипела пружинами.

Остальные тоже засопели недовольно, полезли глубже под одеяла.

– Да не сплю я, не сплю, – раздался шепот Ирки. – Вы бы еще позже пришли...

– Все вопросы к Ореховне, – зашипел довольно Санчо. – А у нас там пацаны до сих пор байки травят...

– Может, и не травят, – прошептал Андрей. – Может, расходятся уже.

Он сел на кровать рядом с Мариной и обнял ее обеими руками. Марина снова зевнула, потом обняла его в ответ.

– И вот не лень же было... – прошептала она.

– Не лень, – ответил Андрей, боясь, что грохот его сердца разбудит Ореховну, и весь санаторий, и вообще всю округу до самой Москвы.

И потом они с Мариной целовались, целовались и целовались, сидя на кровати, привалившись для удобства к стене, – и Андрею временами казалось, что целуются они уже неделю или месяц, а темно в комнате по-прежнему потому, что ночь за окном полярная, и он уплывал куда-то, терял ощущения своего тела, засыпал даже, кажется, целуясь, просыпался и снова уплывал, а потом изредка приоткрывал глаза и видел мимо Марининых волос, мимо тумбочек и кроватей в серебряном свете, что и Санчо с Иркочкой сидят также в своем углу, стиснув друг друга, как борцы на соревнованиях, и еще шепчутся при этом время от времени и хихикают чуть слышно. Андрей сам начинал шептать что-то Марине, та отвечала, но он не мог понять, о чем они шепчутся, и зачем, если можно просто вот так, – и думал о том, что и во время *этого*, наверное, тоже положено шептаться, но во время *этого* ведь шептаться проще, точно проще, а когда только целуешься, то зачем...

Сердце его уже не грохотало, не стучало, а точно переворачивалось в груди – как переворачиваются, делая «солнышко» качающийся на качелях.

Ореховна храпела то тише, то громче, то совсем замолкала – и тогда Андрей настораживался, думал о том, что придется лезть под кровать или в шкаф или сползть по карнизу к водосточной трубе – но потом начинала снова.

Возвращались к себе – ошалевшие, точно пьяные, с довольными осоловелыми лицами, переглядываясь и толкая друг друга локтями, не задерживая дыхание перед дверью Ореховны, – уже засветло, коридорное окно соревновалось с лампами, тени бледнели и двоились. Зашли в светлую, тихую комнату и затряслись от смеха – гости под впечатлением от историй, видимо, испугались идти к себе и остались спать кто как с остальными: кто в кресле, кто привалившись к стене, кто калачиком на краю чужой кровати, в ногах.

На кровати Андрея и Санчо никто лечь не решился – они стояли пустые.

– Хрен с ними, пусть спят, – махнул рукой Санчо. – Ореховна поймет.

Он тихонько прошел к своей тумбочке, достал сигареты, кивнул вопросительно на балкон. Андрей кивнул в ответ.

И потом они сидели на балконе – на корточках, чтобы не видно было за невысоким бортиком, – и курили, и ежились утренней прохладе, и смотрели на бледно-голубое небо, на верхушки сосен, которые гладила уже поднимающаяся из-за леса заря, и смеялись над тем, что губы у обоих как олады, онемевшие почти, сигарета выпадает, и говорили шепотом, и кивали друг другу довольно. Андрей курил, чувствовал, как приятно холодно босым ступням, и думал о том, что ему страшно повезло всех их встретить: и Санчо, и Марину, и Руслана, и вообще каждого, с кем он познакомился в санатории – за редким исключением. Думал о том, что, да, ездил раньше много раз – и хорошо даже ездил, прекрасно даже, в Артеке вот опять же веслами гремел – но никогда не было так здорово, так, что и слов не подобрать, потому что все, что было раньше, было какое-то другое, не то совсем... Или он был другим. И вот ведь дурак – упирался еще, отказывался, спорил с родителями, важничал, что, мол, взрослый совсем, что зачем это все...

Звенел птичьими голосами лес, гудела негромко столовая – Андрей был готов поручиться, что слышит, как позвякивают тарелки и шумит

вода. Санаторий понемногу просыпался – начинал подготовку к очередному шумному и наполненному событиями дню.

Пройдут годы, и, возвращаясь мысленно в это утро, Андрей будет с особым умилением, с улыбкой, почти со смехом, вспоминать то, как он мог так ловко сидеть – как кузнечик, острые колени к ушам. Он станет грузным, солидным мужчиной – и некоторые будут звать его уже не просто Андреем, а Андреем Николаевичем, – и сжаться вот так, чтобы не видно было из-за оградки балкона, он не сможет при всем желании.

Дружба с Санчо растает сразу же по приезде – они встретятся еще два-три раза, пройдутся по знакомым улицам, дымя сигаретами, но к каждому уже вернуться свои друзья и свои занятия, каждый погрузится в свою, обособленную от другого, жизнь, и не будет рядом ни корпусов с беседками, ни стадиона, ни тихих коридоров и комнат на несколько человек, все останется где-то далеко, в глубине соснового леса. И на Марине Андрей, конечно, не женится – даже не приедет к ней ни разу, хотя будет собираться и в один из дней все-таки соберется. Когда он соберется, Марина позвонит ему и извинится, попросит не приезжать, сошлется на какие-то сложности, попросит и не звонить больше, и Андрей будет горевать и вспомнит слова Санчо про ледяную глыбу в груди и поймет-прочувствует, что в мальчишеской груди может поместиться не только глыба, но и горный хребет из сплошного льда, – но потом, погоревав, успокоится и влюбится снова, с прежним жаром. И долго еще – пройдут годы – он будет вспоминать *сходки* и *бригаду*, *косяки* и *пробивания*, и отмечать, что, хотя и отдает это все известным душком, а все же с точки зрения организации коллектива по *сходкам* можно хоть исследование писать. Думая про *сходки*, он будет неизбежно вспоминать Руслана-каратиста и гадать: где он сейчас? какое нашел применение своим способностям? не пошел ли по кривой дорожке? И Андрей будет надеяться на то, что у Руслана все хорошо, что он живет обычной жизнью, а о происходившем вспоминает, как и он, Андрей, с улыбкой.

Но все это будет потом, когда пройдут годы.

А пока они еще не прошли.

– Еще по одной, Андрюх? Угости, у меня в комнате новая пачка.

– Запросто, братан, какие разговоры.

## Антон ЛУКИН

Родился в 1985 году в селе Дивееве Нижегородской области. Окончил Ардатовский аграрный техникум по специальности «правовед».

Автор десяти книг прозы. Печатался в журналах «Нижний Новгород», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Север», «Южная звезда», в «Литературной газете» и других периодических изданиях. Лауреат премии им. Андрея Платонова, всероссийской премии «Золотой Дельвиг».

Член Союза писателей России. Живёт в Дивееве.

## СПОР

Фёдор сидел у пруда. Неотрывно глядел на поплавок. В ведре булты-хались караси. Была суббота. В селе топили бани. Облака отражались в воде словно в зеркале. Душа цвела и пела, как весенние одуванчики на лугу. Хорошо было. Предвкушение чего-то доброго, приятного и спокойного. Теперь, с возрастом, главное – это спокойствие. И Фёдор это знал. Суматоху на пустом месте человек создать может в любой момент. Большого ума тут не надо. Потому после трудовой недели, в выходной день, позволял себе Фёдор посидеть иной раз с удочкой и насладиться тишиной. Привести мысли и нервишки в порядок. Человек хоть и не робот, но подзарядиться, настроиться на нужный лад порой тоже необходимо.

Позади послышались шаги. Не успел Фёдор обернуться, как в пруд кто-то запустил камень. Круги равномерно пошли по воде.

– Эт ещё что такое? – Фёдор привстал.

– Браконьерничаем? – раздался в ответ знакомый смех. На пригорке стоял Ярослав Шишкин, подкидывая в ладонях камушек, он по-мальчишески задорно казал улыбку.

– Ярик? – приятно удивился Фёдор.

– В чистом поле волки воют, я на яблони сижу, – пропел мужчина и спустился к берегу. Поздоровались. – Обознался ты, дядя Фёдор. Какой такой Ярик?.. Нет здесь никакого Ярика-Шарика.

– Ты мне Ваньку-то не валяй. Я ещё в здравом уме.

Мужчина вынул из кармана паспорт, раскрыл, показал. В документе чёрным по белому значилось – Громов Сергей.

– Не понял, – приподнял брови Фёдор и внимательно принялся разглядывать собеседника, который по-прежнему сиял улыбкой, как начищенная до блеска монета.

– Да-а... Сколько не был здесь?.. Годков пятнадцать.

– Кто?

– Дед Пыхто и бабка с пистолетом, – Шишкин похлопал Фёдора по плечу. – Чего растерялся?.. Я это. – Ярослав убрал паспорт. – Поменял имя, но человек тот же. Добродушный и весёлый.

Помолчали.

– Скрываешься от кого, что ли?

– Ну зачем сразу так... Давай меня ещё в федеральный розыск объявим, – Шишкин не переставал улыбаться. Растерянность старого друга веселила. – Человек теперь что, и имя сменить не может?

– Не может.

Ярослав вынул из кармана брюк бутылку коньяка.

– Давай за встречу.

– Дэк. Я... У меня...

– Вот только не надо. Не говори, что нельзя.

– Угу. То есть... В выходной день, после бани... грамм двести пятьдесят если, – Фёдор обернулся в сторону села. – Баню сейчас сын топит. Может, после баньки, а?

– Не будешь, значит.

– Чего сразу обижаешься.

– За встречу...

– Ну... Разве что за встречу.

Ярослав принялся разливать.

– Было к тебе сунулся, твоя говорит, на пруд ушёл. Вот... позаимствовал, – показывает на стопки. – Ну, будьма!

Выпили. Закусили шоколадной конфетой.

– Сказал бы Ольге, колбасы нарезала бы хоть. Или огурцов.

– Не надо. Я так больше люблю. Хотя... лимончик не помешал бы, – Шишкин повёл бровью. – Давай ещё по одной. Чтоб огонёк в груди не гас.

Фёдор развернул конфету, Ярослав разлил коньяк.

– А имя сменил... Ну, что такое Ярик Шишкин?.. Несерьёзно. Подетски даже как-то... А мне нужно, чтоб звучало. Чтоб строгость была. Чтобы... Имя оно ведь как визитная карточка. Как представился, так тебя и воспринимают. А то назовут Фомой, Федулом или Яриком, а детям после расхлёбывайся. Ну!.. Будьма.

Выпили по второй.

Когда-то Фёдор и Ярослав жили по соседству. Росли вместе. Дружили. Ходили в одну школу, играли на одной улице. Даже на танцы ездили вместе на стареньком отцовском «Восходе». После армии Ярослав остался в городе. Приезжал редко. А затем и вовсе перестал бывать. Предыдущий приезд, поди, и правда был лет пятнадцать тому назад, когда схоронил деда. Фёдор отучился в техникуме, женился, трудился на заводе. Где родился, там, мол, и пригодился. И всё у него, как он считал, шло гладко, равномерно, как и должно быть.

– Ну, рассказывай... Как сам? – задался обыденный примитивный вопрос.

– Да, всё хорошо, – пожал плечами Фёдор. – Живём с Ольгой душа в душу. Детей воспитываем. Их у нас трое. Старший сейчас в армии. Средний баню топит. А дочурка в куклы играет да по дому супруге помогает. Ей четыре годика.

– Дом, гляжу, обустроил. И не узнать. Молодец. Сначала и не признал даже. Что, говорю себе, за дворец такой вымахал на моей улице.

– Семья большая. И хозяйство немалое. Чего нам в тереме уютиться, когда руки из нужных мест растут.

– Эт правильно. Это похвально.

– Ну а ты как? Жена, дети, работа?..

– Работа, – кивнул Шишкин. – Работа у меня, брат, интересная. Проекты разные составляю. На миллиметр ошибёшься, всё!.. Не примут. Точность всему закон. Оно и самому приятно осознавать ответственность такую. Когда видишь ценность и значимость своего труда. Ваньку у нас не свалешь и на скорую руку отпихнуться не получится... А какой, я тебе скажу, неописуемый восторг, когда любишь плоды своих идей. И сам себе гордо скажешь – а это здание по моему макету строилось. И имеешь полное право гордиться и восхищаться собой. Потому как труд твой на века и приносит людям радость.

– Ну да, – тихо согласился Фёдор. – Это замечательно.

– Ещё как замечательно, дружище. Неописуемо, – Ярослав похлопал приятеля по плечу. – Это... как увидеть запуск ракеты в космос.

Помолчали.

– А семья?.. Дети?

– Семья... – не сразу ответил Ярослав. – Ты знаешь... Как-то не довелось пока...

– Плохо.

– Я бы так не сказал.

– Как без семьи? Далеко не пацан уже, – неодобрюще заявил Фёдор. – Ничего хорошего.

– Пряма-таки ничего? – улыбнулся в ответ Шишкин. – А работа?.. Если работа приносит человеку радость, это уже половина счастья. Разве нет?

– Ну, – Фёдор пожал плечами. – Работа – это, конечно, хорошо. Аргумент весомый. И всё же...

– Как дела обстоят на заводе? Любимым делом занят? Только честно.

– Хм, – Фёдор призадумался. – Деньги неплохие приношу в дом и на том спасибо. Не жалуюсь.

– Разве в деньгах счастье?

– Но и когда их нет, тоже, знаешь, спозаранку песни распевать не станешь и росе утренней радоваться, – ответил Фёдор. – А любимое дело, вот... с удочкой посидел часок-другой на берегу... пусть и не поймаю ничего – не беда, это не главное. А на душе хорошо. А на душе радостно.

– Н-да.

– А работа... что работа. Это когда ты у себя во дворе трудишься, тогда да, нет приятнее дела на всём белом свете. А на чужого дядю... Платят неплохо, руководство не достаёт по пустякам – уже хорошо. Здесь не город. Лучше работы всё равно не найдёшь.

– Ладно... Не будем спорить, – махнул ладонью Ярослав.

– А чего так?.. Вижу, что не согласен.

– У каждого свои мысли.

– Как на всё это глядишь именно ты... интересно знать.

– Интересно?

– Не сказать, что сгораю от любопытства прям... Но послушаю.

Ярослав подошёл к воде ближе. Посмотрел на другой берег, провёл ладонью по подбородку. Обернулся. Подошёл к Фёдору.

– А думаю я, мой друг, даже считаю, что тратить своё время нужно только на любимое дело. Жизнь коротка. Даже слишком коротка, чтобы отдавать драгоценные минуты своей нелюбимой работе... В сутках мы проводим восемь часов во сне. Ещё восемь посвящаем себя непутёвому делу. И столько же остаётся на то, чтобы реализовать свои идеи

и мечты. Не стоит забывать про человеческие потребности, которые и до того отведённое нам мизерное время сокращают до нуля. И потому ещё раз повторяюсь – когда человек занимается любимым делом, просыпается с новыми идеями и спешит их скорей воплотить, да ещё за это получает зарплату... не здесь ли, где-то за углом выглядывает то самое настоящее счастье?

Фёдор подошёл к удочкам. Вынул одну, сменил наживку, забросил снова.

– Помнишь, как с бреднем здесь ходили?

– Ещё бы, – кивнул Ярослав. – Выловим мальков ведро и кур кормить. Кинешь им рыбу, схватит какая-нибудь дурёха и бежать, не оглядываясь, покамест не отнимут.

– Неплохой карась попался.

– Не, – мотнул головой Шишкин. – Просто мы с тобой пацанята были, вот и казался он нам крупнее. Что у нас ладонь была тогда – с цыплячью лапку.

– А за тем обрывом русалки водятся, – Фёдор за всё долгое время улыбнулся впервые, указывая подбородком на другой берег, поросший камышом.

– Старик Макар страдал. Любил старый жути нагнать. В баню, мол, поздно не ходите мыться, банник непременно ошпарит кипятком. В лесу мухоморы запрещал топтать, леший обязательно заплутает...

– А в избе матюгнёшься, домовой до смерти защекотит.

– Сказочник.

– Ведь каждому слову верили.

Улыбнулись.

– Мишка мой, средний который, в мальчишках когда бегал, тоже страсть как любил сказки слушать. Про водяных, про леших, про Бабу-ягу. Тут как-то заглянул я, значит, за печку, а там конфет горсть и сахар лежит, – Фёдор расплылся добродушно в улыбке. – Вот тебе на, говорю, что за дела такие? Мышей, говорю ему, кормим?.. А он мне – это для домового. Ему, мол, угощенье. Чтоб с уроками помогал. Всё какой-никакой волшебник и хозяин избы. А значит, коли раздобрить его, то и задание домашнее сделает. – Фёдор смеётся, потирая пальцем кончик глаза. – Надо же, а! Выдумать такое. Хех... Нет, милый, никто, говорю, за тебя уроки делать не будет. Знания тебе нужны, а не домовому. А так, говоря ему, только грызунов разведём. Эт не дело.

Ярослав без особого интереса кивнул головой.

– Был я как-то в Испании, – перевёл тему Шишкин. – Есть там у них городок один. Памплона. Так вот... В городе этом с древних времён заведена одна весьма странная традиция – бег по городу от разъярённых быков. А! Как тебе такое?.. Помню, как сам себя уговаривал, что не нужно это мне. Побереги, мол, Сергей Громов, здоровье и нервы. Оно и в сам деле, думал, духу не хватит – ан нет, решился. И страх куда-то улетучился, стоило пробежать пару кварталов. Отчего так? Бегаешь со всеми по городу и никакого ужаса не испытываешь. А ведь можно жизни лишиться, попади им неудачно под копыта. Запросто... А после в азарт вошёл – стал быков дразнить. Быки остановятся, и ты вместе с ними. Руками машешь. К себе зовёшь. Появилось даже глупое желание, чтоб и меня пнули разок... легонько только.

– Совсем с головой не дружишь?

– Говорю же, глупое желание, – улыбнулся Ярослав. – Насмотришься, как людей, будто кегли, подбрасывают. И главное, благополучно всё

обходится. Встают, отряхиваются и дальше в том же духе, дразнить быков.

– Ну и как, дал себя боднуть?

– Бог миловал. Уберёг от идеи невыносимой.

– В соседнем районе, – поведал Фёдор, – пастуха бык с землёй сровнял. Генку-коротышку. Может, знал? Нога одна короче другой. Прихрамывал. Хороший мужик был. Выпивал, конечно, но... А на балалайке как играл! Заслушаешься.

– Чего ж он его так?

– Да кто ж знает. Оно ить и в животину, бывает, сам дьявол вселится. Страшное дело... Принял Генка под обед самую малость. Естественно, раскумарило на солнце, уснул. А тот и давай из него дух выбивать копытами. Мальчишка-школьник в подпасах ходил... да рази он что сделает! Разве остановит громадину эдакую разбушевавшуюся. Побежал в деревню за помощью. А как народ на поле прибёг, от Генки лишь место сырое осталось.

– Я раз медведю в лапы чуть не угодил, – сказал Ярослав. – Купил экскурсию по Горному Алтаю. Всегда сердце моё манило полюбоваться тамошней красотой. В начале августа с группой таких же, как и я, ценителей прекрасного, на надувных катамаранах, с инструкторами, совершили сплав по алтайской горной реке. Плывём, значит, фотографируемся, наслаждаемся путешествием. И только катамаран наш свернул с курса и стал приближаться к берегу, как к воде вышла медведица с медвежатами. Ни секунды не медля, бросилась разъярённая мамаша в нашу сторону. Несётся вдоль берега, каких-то несколько метров осталось, кинулась в воду, поплыла. Мы от неё. Она за нами. Еле удрали... Вот страху-то натерпелись. Если бы к берегу подплыли чуть ближе – всё! Не миновать беды.

– С детёнышем, оно, конечно... любой зверь опасен, – согласился Фёдор. – На то и родитель, чтоб чадо своё оберегать.

Помолчали.

– А старшенький у меня, – Фёдор перебрал леску. – До того чуткий и ранимый... в детстве каждую букашку жалел. То пташку какую зимой в дом принесёт, то щенка где подберёт на дороге, а уж про котят и вовсе молчу. Сколько их у нас было! Одно время не дом был, а приют для животных. Самый настоящий. Всю животину местную, большую и бездомную, со всей округи в дом нёс. И ведь не велишь ему – оставь на произвол судьбы, брось на погибель. Разве скажешь такое ребёнку? А как правильно объяснить, ума не приложу. Он хоть и комочек шерсти, а всё живая душа. Тоже и кушать хочет, и к теплу тянется, и ласку просит. Так и стали с Ольгой докторами Айболитами. Выходим бедолагу, приведём в порядок и скорее хозяев искать, покамест у самих не прижился. Да... Дети и нас, взрослых, делают добрее и наивнее. Забота и ответственность просыпается не только за семью свою, но и за окружающий тебя мир.

– В сафари, главное, его не вози. Не был, кстати, там?.. И не нужно. Раз ранимые такие, – вновь без всякого энтузиазма повёл бровью Ярик. Было видно – рассказы про семью, про детей большого интереса у того не вызывали. Да и Фёдору, признаться, тоже его разговоры о том, где он бывал и как отдышал, в восторг не вводили.

– Чего так?

– Брал я как-то турпоездку в те края. Познать дикий мир Африки, – завёл новую историю Шишкин. – Впечатляет. Спору нет. Слоны, жирафы,

гиппопотамамы... Одно дело на картинках в книжке любоваться ими, другое дело – вот они... перед тобой в трёх шагах. Львы, правда, разочаровали. Ленивые уж больно. Даже усом не пошевелили в нашу сторону. Распластались под деревом в тени, и всё им по барабану... Знаешь, как крокодилы рычат? И я раньше не ведал. От рыка ихнего спина мурашками покрывается... Лицезрели одно неприятное зрелище. По сей день вспоминаю – жуть берёт. Были свидетелями того, как гиена поедала маленькую зебру. Той, поди, и месяца отродясь не было. На тоненьких ножках неуклюже передвигалась ещё. Маленький, красивый в полоску жеребёнок – и принял такую страшную погибель. Она его, гадина, живьём ела... Я, конечно, всё понимаю, им тоже питаться кем-то нужно. Но ты избавь сперва жертву от страданий, а после... Неприятное зрелище. Будто из-за угла за маньяком каким следишь... Предложил отпугнуть, не дали. Экскурсовод, знай, твердит одно и то же – закон дикой природы жесток. И вмешиваться строго запрещено. Говорю ему, давай, мол, избавим бедолагу от мучений, а там пусть её хоть целиком, хоть по частям кушают, уже всё равно. Экскурсовод знай своё – вмешиваться не положено. И главное, все сидят, как тушканчики, возразить бояться. Китаец, правда, один сфотографировать успел, пока мы спорили. Ну... эти лягушат едят, их, думаю, ничем не удивишь, – Ярослав разлил ещё по одной. Протянул стопку Фёдору. Выпили. – Закаты, конечно, там... неопикуемой красоты. Так и хочется на мгновенье стать птицей, взмахнуть ввысь и улететь к горизонту, в багровую неизвестность. Красивые закаты всегда душу будоражат. Есть закаты скупые. Я такие не люблю. А вот щедрые, когда всё небо в красках... Помнишь, какие закаты у моря?... Да-а... Разве красоту эту забудешь.

– Не был, не знаю, – признался Фёдор.

– То есть – не был?... Даже на Чёрном?

– И на зелёном тоже.

– Ну ты, братец, даёшь! – удивился Ярослав. – Прожить жизнь и не увидеть моря это, конечно, умудриться надо. Пусть не ради себя, если на то уж пошло, но жену... любимую и дорогую, свозить обязательно стоит. И детей. Они, когда маленькие, впечатлительные. Всё им кажется ярче и интереснее.

– Тебе откуда знать? – возразил Фёдор. Нравоучение давнего друга обидно кольнуло сердце. – Хорошо так вот рассуждать, когда живёшь один.

– Не сердись. Я всего лишь предполагаю. И думается мне, что любая женщина хоть раз в жизни, да мечтала о романтическом путешествии. Песок... Море... Закат... Я для себя так решил. Как только женюсь, сразу махнём в Париж. Хочется уж мне туда очень. Но... один не поеду. И с невестой тоже. Только с женой. В медовый месяц. Либо... пусть этот город остаётся в мечтах.

– Женись сначала... Трепло.

– Зачем же так?... Жениться, оно, конечно, большого труда не составит. Если на то уж пошло, – не сразу сказал Ярослав. – Да, только... не ковёр на стену выбираешь. А друга и единомышленника. С кем готов судьбу свою разделить пополам. Родного человека. Родную душу. И коль пересекутся пути наши, уж, поверь, своего не упущу... А жениться на первой попавшей в угоду кому-то – глупо. Мне после жить с чужим человеком, не вам. А то советчиков ныне развелось. А как женятся, через год-другой домой бояться идти. Тысячу причин найдут задержаться где-нибудь вечером. Это ж неправильно. Счастье, в моём

понимании, это когда днём вдохновлён работой, а вечером спешишь обнять жену и детей.

– С эдакой жизненной позицией... Так и проживёшь один, – брякнул Фёдор и принялся сматывать удочки. Клёва не было. Разговор тоже не особо клеился. И время уже... Пора идти в баню.

– Моя жизнь. Как считаю нужным, так её и живу, – ответил Ярослав. – Тебя же я не упрекаю, что моря не видел.

– Сдалось мне твоё море! – взорвался Фёдор. – Тоже мне... смысл всей жизни нашли... Раскудахтался! Море-море. Чего в нём хорошего?

– Чего ты злишься?

– А то. Что вроде и рад тебя видеть. А поговорить не о чем. Испания, Фигания, оно мне это надо? Был и был, молодец... Имя сменил он. Что ты! Другим человеком стал, видите ли. Нет, милоч, всё тот же ты до кончика ушей. И не надо тут нос городской задирать. Эта самая земля тебя вырастила, воспитала и в люди вывела. А теперь стесняешься её. Уехал и пропал. Ещё отцовская фамилия не угодила ему. Род Шишкиных потом землю эту кропил да кровью защищал от врагов чужеземных. А ты?... Трудились, женились, потомство заводили... Жили. Не жаловались. А теперь... то это не так, то это не эдак. Лишь бы по городам кататься... Человек, как деревце, как росточек, корни пустить должен. Пусть не на малой родине. Пусть. Всякое бывает. Жизнь и в чужие края забросить может. Но и там корни пустить – это главное. Важно угол иметь свой и семью. В детях вся радость. В детях вся жизнь. Человек без корней – гиблое дело. Как сопля на ветру – то здесь, то там. Пользы от него никакой. Лишь небо копит. Плохо это. Да. Ничего хорошего.

– Н-да... Как Марья Ивановна у доски отчитала, – Ярослав почесал затылок. – Надо же, – помолчал. – Никогда ваш брат нашего брата не поймёт. Разные мы. Взгляды разные, интересы, ценности... Есть в словах твоих, Фёдор, здравый смысл. Есть. Не возразишь. Да только... У нас у обоих своя правда. Одни мир хотят повидать, потрогать, так сказать, на ощупь, другие – гнёздышко свить. Каждый радуется этой жизни по-своему... Лётчики без неба не могут, морякам океан подавай... кому-то горы, кому-то южные жаркие страны. А мне всего и сразу хочется. И упрекать, конечно, друг друга за то, что с годами появились другие интересы, нелепо. Хотя... Всегда так было и будет. Не я это придумал и не ты. Семейный никогда не поймёт холостяка, это верно. Так же, как и любитель путешествовать – домоседа. Повод ли это учить друг друга жизни?

Фёдор и Ярослав направились в деревню.

– Знаешь, – продолжил Ярослав. – А ведь я эту поездку представлял много раз. Всё чего-то откладывал, боялся. Положа руку на сердце, говорю тебе – снились и дом наш, и улица. И как приеду я весь такой важный, с чемоданами, в шляпе и галстук. И как все мне будут рады. И как с открытыми ртами и восторгом будут слушать мои истории. Я же буду говорить, говорить, не переставая. Что был там-то, что видел то-то, пробовал это, общался с теми. Что жизнь моя, как радуга, – яркая и интересная. А видишь, как всё... Ты ведь не первый, с кем разговор не сложился.

В деревню зашли молча. По улице тоже шли, не проронив ни слова. Когда-то лучшие друзья, теперь же не знали, что сказать друг другу. Чужими стали. Да и с чужим человеком порой проще завести диалог, чем вот так вот... Вроде и знаешь человека, а уже не тот. И ты ему, и он тебе. И неловкость разочарования тяготит в эти минуты душу.

А ведь, казалось бы, не так давно, каких-то тридцать лет тому назад, эти двое не отходили друг от друга даже на полшага. Вместе проказничали, вместе удили рыбу и ходили по грибы, вместе пропадали на сенокосе и так же вместе гуляли допоздна и мечтали. Мечтали о том, какая будет их взрослая жизнь. Что обязательно сложится всё так, как они этого хотят... Теперь же по улице шли совсем другие люди. Серьёзные, молчаливые и... чужие.

– Ты, это... – остановился Фёдор напротив своей избы. – Не отвык ещё от деревенской бани? Мишка так протопил, что... все обиды разом смоем. Пусть и другими стали. Что ж. С годами этого трудно избежать. А только прошлое у нас одно. Этого не отнять. Есть что вспомнить и над чем посмеяться. На том и будем держать беседу, – Фёдор кивнул. – А Ольга тем временем картошечки с грибочками пожарит, соленья достанет. Чекушок в холодильнике на такой случай имеется.

И Фёдор с Ярославом зашли в калитку.

## Вячеслав ЗАСУХИН

Родился в 1944 году в Тульской области, недалеко от Куликова Поля. Учился на истфаке Петрозаводского госуниверситета, работал на Карельском телевидении.

Автор сборника рассказов «Олухи царя небесного». Печатался в журналах и альманахах. Лауреат конкурс «Ветлужская весна».

Живет в Петрозаводске.

## СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ

Скорый поезд торопился с юга России на Север. В купе мягкого вагона сидели двое: пожилой седой мужчина, который читал потрепанную книжку, и похожий на студента-гуманитария длинноволосый юноша. Он вошел в купе на остановке в Курске.

В окно, выскочив из объятий облака, выглянуло радостное солнце, и по стенам купе забегали жизнерадостные зайчики. Студент, не отрывая взгляда от своего планшета, резко задвинул оконные шторы, ему явно не понравилась внезапная атака небесных гостей. Попутчик усмехнулся, положил книгу на столик, мимолетная улыбка воспоминания пробежала по губам.

– Я тоже с детства не люблю их, – слегка глуховатым, но довольно приятным голосом, проговорил он. – А хотите знать, почему? Рассказ будет совсем коротким, но, я думаю, он будет интересен для вас.

Длинноволосый поначалу что-то хмыкнул, не отрывая взгляда от экрана, и пожал узкими плечами. Но затем спохватился, видимо, у парня все-таки присутствовало кое-какое воспитание:

– Простите, великодушно. Я весь во внимании.

– Хорошо. Сначала маленькое вступление, да. Во второй половине прошлого века вся страна смотрела польскую военную сказку «Четыре танкиста и собака». Но злые языки моментально переименовали название в «Три поляка, грузин и собака», хотя актерский состав был великолепным... Как-то зимой в большую комнату нашей квартиры, где главенствовал новенький телик «Рекорд», по-моему, «312», заглянул наш папа, бывший офицер-фронтовик, а ныне преподаватель в лесотехникуме. Посмотрел с минуту на подвиги храбрых поляков, он громко крикнул, а потом, уходя прочь, махнул рукой и неожиданно произнес непонятную тогда фразу:

– Первыми, случись что, нас предадут поляки.

Мы с братом опешили:

– Как же так, ведь вы, папа, воевали с фашистами вместе с ними?

Отец ничего не ответил и лишь, глубоко вздохнув, отправился на кухню собирать свои рыбацкие причиндалы на зимнюю рыбалку...

Я, по правде говоря, не сильно задумался над странными словами отца, ведь тогда было далеко до прихода к власти злобного русофоба, усатого электромонтера, который своей прозападной «Солидарностью» взбудоражил народную Польшу.

Юношу заинтересовал рассказ попутчика, и он, забыв про свой планшет, стал слушать в оба уха.

– Тогда твои родители, парень, бегали в школу в пионерских галстуках и пол-Европы жили при социализме. А тут папины слова о предательстве братьев-славян. Бред какой-то.

– А вам папа рассказывал про войну? – неожиданно спросил юноша.

Попутчик на мгновение задумался, пожевал губами, отрицательно мотнул головой:

– Нет. Сколько мы с братом, уже будучи взрослыми, ни пытались его расспросить о войне – ответ был один: «Бардака было много». И только мама единожды проговорила, что папин «виллис» подорвался на mine и папа ослеп. Только в московской клинике известный врач-окулист вернул ему зрение.

– Да-а, – задумчиво протянул юноша, – так и мой папа пытался спрашивать своего родителя, трижды раненного и дошедшего до Берлина. Дед отвечал коротко: «Всему нашему народу было трудно».

Оба замолчали, пока негромкий перестук вагонных колес не нарушился речью попутчика:

– Сейчас, парень, ты поймешь, почему я начал свой рассказ с поляков, н-да. После войны папа съездил за мамой и мной и привез нас жить в Германию, где в Потсдаме родился мой младший брат. Жили мы в те послевоенные страшные годы так, как ныне живут весьма обеспеченные граждане. Нашу семью подполковника Советской армии поселили в двухэтажный коттедж, настоящие хозяева его сбежали на Запад, с автономным водяным отоплением, ванной и прочими приамбасами европейской жизни, включая легковой автомобиль. В небольшом садике росли фруктовые деревья, какие не помню, но до сих пор ощущаю незабываемый аромат спелых абрикосов, которые я срывал из окна второго этажа. Но и это не суть дела, сейчас перехожу к солнечным зайчикам.

Рассказчик вновь умолк, по всей видимости, перебирал в памяти подробности далекого детства.

– ...На какой-то большой станции в наше плацкартное купе проводница привела высокого кудрявого капитана в фуражке с голубым околышком. В воинских званиях я разбирался хорошо и знал, какое звание обозначают четыре маленькие звездочки на одном просвете погона. У моего папы было две большие звезды при двух просветах. Зато на кокарде золотились маленькие самолетные крылья, моя самая вожделенная мечта иметь такие же на своей полувоенной фуражке.

Капитан мне сразу не понравился своими форсистыми черными усиками над верхней пухлой губой. И его нахальные глаза просто буравили мою красавицу-маму. Потом усач своим громким, сочным голосом в беседе стал произносить непонятные слова, от них мама краснела и отводила глаза в сторону. А мама у нас была красивой молодой женщиной, на неё даже я, малолетка, замечал, как заглядывают посторонние дядьки. Это мне очень не нравилось, ха-ха! – тогда.

И я решил прекратить словесное безобразие летчика и достал свой пистолет, который стрелял маленькими деревянными стрелками с резиновой присоской на конце.

Юноша-попутчик расхохотался:

– Сразу видно, что растёт мамин защитник!

Пожилой тоже немного посмеялся и продолжил повествование:

– Конфликт вступил в решающую фазу в тот момент, когда я тщательно прицелился в лоб надоедливому болтуна. Но тут паровоз сильно дернул вагоны, и я случайно спустил курок. Пуля-стрела пролетела рядом с ухом летчика и со смачным звуком, завибрировав, присосалась к стене купе.

– Однако, шутник ваш мальчуган! – скосив глаза на стрелу, довольно спокойно сказал тот. – А если бы она угодила мне в глаз? Я бы наверняка ослеп, и кто стал бы защищать Родину, летая на МиГах?

Мама, ни слова не говоря, отобрала у меня пистолет, кобуру со стрелами, убрав моё оружие в свой ридикюль.

Я, помнится, загрустил и попытался выпустить покаянную слезу, но тут в противостояние вмешался младший брат, который до этого носился по коридору вагона, услаждая слух пассажиров противным визгом трофейной губной гармошки. Он замер перед капитаном, сноровисто смастерил «козу» и ехидно заболтал языком, испуская при этом презрительное: «Ме-е-е!» Взрослые переглянулись и рассмеялись, но мама не преминула сделать серьёзное внушение брату и, для усвоения урока, легонько шлепнула того по мягкому месту.

– Сделать козу! – удивленно спросил юноша. – Что это за оскорбление руками?

– Действие совсем простое, – усмехнулся рассказчик. – Хотя «коза» вовсе не оскорбление, а скорее детская шалость, тем самым выказывая сопернику свое полное пренебрежение. А делается «коза» вот этак.

И он, смущаясь, показал немудреную комбинацию из обеих рук.

– Да-а, были времена...

На следующее утро капитан глянул в окно, прочитал название проезжающей станции, радостно присвистнул:

– Последняя польская станция перед Союзом! До видzenia, пани Польшка! Не поминай лихом! А все-таки Краков мне понравился больше Варшавы, подлинная жемчужина братского народа...

Вскоре мама попросила приглядеть за нами:

– Сами видите, какие сорванцы, вечно что-нибудь придумают уму непостижимое.

– Не беспокойтесь, Мария Петровна, присмотрю.

– Я только схожу к проводнице и узнаю, где нам лучше сделать пересадку, ведь мы едем ко мне на родину в Тульскую область.

– Хорошо, хорошо, не беспокойтесь, всё будет в полном ажуре, matka боска, ченстоховска!

Мама не успела сделать и пары шагов, как неугомонный братец по капитанским коленкам бесцеремонно пролез к окну, вытащил из кармана маминой жакетки любимую гармошку, которая надоела всему вагону, а потому была изъята и убрана подальше. В перерывах монотонного пиликания и безобразных фиоритур братец крикливо комментировал мелькающий за окном пейзаж. Сидящие на боковых сиденьях две женщины в военной форме вначале много смеялись, а потом внезапно, будто что-то вспомнив, умолкли, м-да... Всё это время мною обуревали противоречивые мысли о своем неприглядном поведении. Наконец, решился и подошел к летчику:

– Извините меня, пожалуйста, за выстрел из пистолета. Я больше не буду.

– Чего уж там, бывает, – засмеялся тот. – Я в детстве и не такое отчебучивал!

Как сейчас помню, тогда словно упал с плеч тяжеленный камень, и я осмелел:

– Дяденька летчик! Можно мне потрогать крылья на вашей фуражке?

Он подал мне свою фуражку:

– Да сколь угодно, боец!

От нее пахло крепким одеколоном. Крылья на кокарде были прекрасной, но далекой мечтой! Мой папа служил в танковых войсках, и фигурки танков на его погонах меня не прельщали вовсе. То ли дело волшебные крылья военных пилотов! Вот бы их мне на мою фураньку! С какой бы гордостью я бы носил её на голове. А так эту полувоенную фуражку я ненавидел, и маме пришлось доставать красочную тубетейку. Осталось за малым – найти узбекский халат и – салам алейкум! ака Юрка.

– Нравятся крылышки? – вдруг спросил капитан.

– Ага! – нервно воскликнул я. – Очень! Тогда бы я носил свою противную фураньку.

– Погодь! – капитан встал и спокойно снял с третьей полки свой небольшой чемоданчик, порылся в нем. – На, возьми на память от гвардии капитана летчика-истребителя Михаила Трофимова.

Я вне себя от счастья принял бесценный дар и под завистливое сопение брата убрал в карман своих штанишек.

...Отчаянные женские крики начались с начала вагона и немедленно переметнулись в наше последнее перед тамбуром купе. Я непонятно зачем повернул глаза к окну, по которому вдруг с треском разбежались длинные морщинки. В следующее мгновение капитан одной рукой оторвал Витьку от окна, второй сгреб меня, и мы все вместе рухнули на дрожащий пол вагона. В рабитое окно ворвались прерывистые и тревожные гудки мчащегося паровоза. Задыхаясь под тяжестью капитанского тела, я кое-как повернул голову вбок и увидел множество круглых солнечных зайчиков. которых раньше не было на стенках и полу. Они жизнерадостно перемигивались и бегали друг за другом, словно играя в только им понятную игру.

В купе ворвалась растрепанная и заплаканная мама. Сначала перестала плакать и вытащила меня из-под безмолвного капитана. Витька вылез сам, а сейчас стоял и хныкал рядом с нижней полкой.

Тут с пола поднялись обе женщины, и они втроем перевернули офицера на спину. Все с ужасом увидели, как из черного пятна на виске молодого мужчины стекла тонкая алая струйка крови... Н-да... Гвардейский офицер погиб в мирное время, в мирном поезде, спасая двух незнакомых пацанов...

Рассказчик прикусил нижнюю губу и надолго умолк. Молчал и юноша, словно вслушивался в бодрый перестук вагонных колес.

– ...М-да, вот так погиб летчик, гвардии капитан, который страстно мечтал защищать Родину на новых реактивных самолетах. Кто расстреливал безоружный поезд – неизвестно. Может, местное население, недовольное советской «оккупацией», или бандеровцы, которые прятались в лесах Западной Украины и Белоруссии. Кто знает, кто знает...

Из внутреннего кармана пиджака он достал маленький сверток. Бережно развернул носовой платок, и юноша увидел золотистые крылышки – неуязвимую эмблему российских военных пилотов.

– Мой талисман, подаренный русским офицером, который ценой собственной жизни спас двух незнакомых мальчишек от смертельных «солнечных зайчиков».

## Иван КОБЕРНИЦКИЙ

Родился в 1996 году в поселке Шортанды Акмолинской области Казахстана. Окончил Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет по специальности «ландшафтная архитектура». Участник форума молодых писателей России «Липки», а также семинара-совещания «Мы выросли в России».

Живет в Санкт-Петербурге.

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Денис Тихомяков засмотрелся на белые пучки сирени с таким детским восторгом, словно ему недавно исполнилось не двадцать два, а только шесть. Денису даже захотелось подойти ближе к кустарнику, что красовался у перехода к Иоанновскому мосту на Заячий остров, и ощутить цветочный аромат. Он степенно запрокинул голову, посмотрев наверх. Очки на минус три слегка дёрнулись на пухловатом лице. Ни единого облачка, сплошной голубой фон – хороший день выбрал.

– Дэн, ты чего завис? – недоумевал гулявший с Тихомяковым Антон. Он был примерно на голову выше приятеля. И тоже в очках, но в солнцезащитных.

– Слушай, здорово, что мы состыковались. А то как ни позову – ты занят, – сказал Денис и тут же учтиво добавил: – Не, я понимаю, дела.

Антон согласился:

– Да, в одном городе крутимся как-никак, надо чаще видеться.

Последний раз они встречались в году минувшем. А вообще говоря, с момента поступления обоих в Питере стали реже контактировать. Раньше Денис и Антон почти всё время проводили вместе: росли на соседних улицах в Чернышевском микрорайоне Петрозаводска, ходили в один класс школы номер восемь имени Николая Варламова. Каждое лето играли на стадионе, прыгали с вышки в воду, решая, кто первый, посредством игры «камень-ножницы-бумага». Ещё и приговаривая при этом «чи-чи-ко» – за пределами Карелии мало кто поймёт.

– Ты ещё в академе, Тоха?

– Ага. Думаю, заканчивать или нет. Наверное, закончу. Там всего ничего, только диплом. А у тебя когда защита?

– Прошла. Двадцать первого.

– Рано у вас что-то... И как?

– На пять.

– Молоток!

Большая группа из детей и родителей, растянувшаяся по деревянной секции моста, заставила приятелей замедлиться. У входных ворот

укреплений Петропавловки, где дерево Иоанновского плавно переходило в брусчатку, можно было пойти в три разных стороны. Антон хотел повернуть налево, к отдыхающим на траве. Денис убеждал обойти крепость против часовой стрелки, где меньше народу.

– Решим на «чи-чи-ко»? – ностальгически предложил Тихомяков.

– А? – его приятель будто не сразу понял, о чём речь. – Сто лет таких слов не слышал! Да будь по-твоему, мне не принципиально.

Они безмолвно побрели по асфальту вдоль стены. Тихомяков боялся признаться себе, что специально писал Антону мало, чтобы обсудить больше тем при личной встрече. Но общение не клеилось. Интересные вопросы в голове вертелись.

У пустой вертолётной площадки вновь встретила сирень. Лилово-фиолетовые облачка и аккуратная, почти идеальная обрезка кустарника окрыляли Дениса. Восхищённый, он зашагал бодрее, распростёр руки к солнцу и не заметил, как оторвался от друга по школе.

– Куда ты так летишь? – недоумевал еле поспевающий за ним Антон, вытирая выступившие на шее капли пота.

– Прости! – Денис остановился. – Да, я теперь всегда быстро хожу. И ничего поделывать с собой не могу. Таким макарон прогулками не насладишься.

Золочёный шпиль Петропавловского забликовал. По кронверку разнёсся звон, который колокола отбивали каждые двадцать пять минут днём. Тихомякову показалось, что собор пытается сыграть «Маленькой ёлочке...», но путает некоторые ноты. Далеко не все способны узнать в музыке курантов «Коль славен наш Господь» Бортнянского, неофициальный гимн Российского государства вплоть до николаевских времён.

– Тоха, тебе мелодия ничего не напоминает?

– Какофонию какую-то, – откликнулся Антон. Пройдя пару метров, он спросил: – Ты, кстати, за кого болеешь? Ну в РПЛ...

– О, я перестал смотреть футбол, и вообще следить. Примерно на курсе втором ещё. Максимум – могу нарезку лучших голов врубить.

– Ясно. А мне в этом сезоне «Сочи» нравится. Прямо божат ребята.

Ухоженная женщина за сорок в нежно-голубом платье шла навстречу, ведя за ручку мальчика,

– Смотри, сколько шиповника! – указала она на частично постриженное подобие изгороди.

– Жимолости только, – тихонько и за глаза поправил её Денис, разглядев зелёные продолговатые листья.

– А, всё твои цветочки, – с ухмылкой цокнул его друг детства. – Будешь по специальности работать, что ли?

– Конечно! Уже звали подработать одни ландшафтники. Даже выходил.

– Сколько платят?

– Тыщу восемьсот за смену. Слушай, а ты же в этом, как его, «Ол-дисбэланс» работаешь?

Название сети обувных магазинов вспомнилось с трудом.

– Уже нет, – неопределённо ухмыльнулся Антон и не стал дальше ничего рассказывать.

Тихомяков же, промямлив пару звуков, почему-то передумал спрашивать.

Вскоре вышли к Неве. За ограничительной цепью слишком беспокойные для погожего денька волны ловила брусчатка, что уходила вниз покатым берегом. Прямо перед цепью сидели отдыхающие. Они вздрагивали

и пытались увернуться, когда брызги взлетали вверх и подмачивали их, но никуда не уходили с нагретых солнцем камней.

Денису очень нравился вид, несмотря на то что здание Биржи на время реконструкции затянули экранами. Биржевой мост выглядел не-презентабельно: его продолжали ремонтировать с осени. Под мостом протискивался прогулочный катер, который, казалось, вот-вот зацепит опоры и непонятные короба строителей.

– Идём? – вскоре спросил Антон, на что получил кивок.

Прогулка продолжилась. Правда, обойти крепость оказалось невозможно: проход к песчаному пляжу перекрыли сетчатым забором. Чтобы не пролезли даже самые смелые, на пластиковый стул за сеткой посадили сурового охранника из ЧОПа.

– Так, «Алые паруса» завтра. Я и забыл, – несколько печально выдал Денис после изучения жёлтой памятки на заборе. – Давай тогда вернёмся и зайдём в крепость.

– Да, давай. Ещё минут двадцать могу с тобой погулять.

Парни принялись обходить длинную очередь у забитого людьми ресторана. Вероятно, все жаждали попробовать корюшки. Денис заметил бегонии в прямоугольных белых кадках возле столиков, но из-за странного стыда внутри не стал ничего говорить про их красоту. Дальнейший путь лежал через площадку, где семьями играли в подзабытые городки, и другие ворота Петропавловки, ведущие к бывшей тюрьме Трубецкого бастиона.

– Разные хосты подобрали, интересно, – всё же не смог сдержаться Тихомяков у круглого цветника. Но его спутник, кажется, туда даже не глянул.

Когда позади остался Каретник, Антон вдруг заговорил с многозначительным выражением:

– Дэн, у меня к тебе деловое предложение!

– Выкладывай, – в предвкушении ответил Денис, не сбавляя ход.

– Предлагаю войти в один проект. Всё чисто, не развод и не скам! Скину видос с обучением – разберёшься, ты же умный. Диплом вот на пять сам защитил... Короче, скажу так: всё зависит только от тебя, потолок заработка никто не устанавливает.

– Подожди, предлагаешь вложиться? Ты уже этим зарабатываешь?

– Ещё как! Солидно выходит. Полностью себя обеспечиваю, – бывший петрозаводчанин тыкнул на свою обувь. – Нравятся кроссы?

– Да, – неуверенно ответил Денис. – Дорогие, наверное.

– А то! Взял после увольнения, сделал выручку напоследок... Дэн, ты поразмысли: денег получишь явно побольше, чем на своей возне с растениями. Это не в земле копаться – всё из дома, хватит даже смартфона.

Тихомяков почувствовал лёгкую обиду за свою специальность. Он вообще считал достойными уважения любые профессии, включая дворника, курьера или работника общепита.

Тем временем приятели вышли на открытую площадку. У трёх артиллерийских пушек и лестницы на обзорную экскурсию по стенам толпились туристы и горожане.

– Прости, я, пожалуй, откажусь, – пробубнил Тихомяков. Тут же вдобавок к легкой обиде примешалось непонятное чувство вины.

– Да куда ты спешишь? Надо понимать, какую возможность теряешь. Нам такие кейсы на презентации показывали, ух! Челики реально поднимались с нуля до миллионов. Сначала попробуй разобраться сам.

– Звучит как работа с возражениями, – рассудил Денис.  
– Да брось, Дэн. Надо успеть залететь! Я тебе дружеский инсайт даю.

– И у вас нет системы «пригласи друга»?

– Есть! – скоропалительно произнёс Антон. – По моей рефералке зайдёшь.

Тихомяков просто отмолчался, а ещё порадовался, что не услышал аргумент про «работу на дядю». Ноги его сами неслись по брусчатке и плитке. Остановился он только в крытом проходе, у отметки о высоте наводнения 1924 года. Антон снова догонял.

– Прикинь, Тоха, 11 футов и 8 дюймов. Один фут – третья часть метра, если не ошибаюсь. Знатно залило!

– Ну, ты хорошенько подумай ещё, – тут же произнёс Антон, будто проигнорировав предыдущие слова собеседника.

Выпускники восьмой школы ещё совсем немного побыли в крепости, а затем направились к ближайшей станции метро, напоминающей пришельческую тарелку. Брели к ней молча.

Следующим вечером Антон прислал личное сообщение, напомнив о своём предложении. После отправил то самое ознакомительное видео. Скрепив сердечко, Денис из праздного интереса врубил запись на скорости 1,25. На протяжении получаса лектор пел дифирамбы «уникальному проекту», рисуя фломастером на доске пирамидальные схемы и обещая «высокую доходность». Тихомякова удивила разветвлённая система рангов для участников, а также и сложный подсчёт вознаграждений за приглашения других. Надо сказать, презентация совершенно не тронула его души, не изменила мнение и только подтвердила сомнения.

– Ознакомился с видосом. Извини, не хочу в это ввязываться, – написал парень после просмотра.

Антон набрал сухое «Понятно», а затем вообще не ответил на банальное «Как дела?».

Недели через две Тихомяков собрался вновь погулять у Петропавловки, но теперь уже один. «Тарелку» в тот день закрывали на вход и выход, и Денису пришлось выйти наружу на другой станции.

«Ничего – прогуляюсь», – поднявшись на эскалаторе, сказал себе он.

По пути ему внезапно захотелось есть. Выбор пал на ближайший фастфуд. Выбирая бургер по картинкам, Денис неожиданно для себя увидел знакомое лицо за кассой.

Антон-кассир замялся и потупил взгляд.

– Что будете заказывать? – выщедил он после заминки.

## Екатерина ДРОЗДОВА

Родилась в 1986 году в Москве. Выпускница Литературного института им. А.М. Горького (семинар прозы М.М. Попова). Участница Литературной мастерской Захара Прилепина. Выпускница Школы Первого канала (специальность: автор телекино и телесериалов).

Литературно-критические статьи публиковались в литературных журналах «Москва», «Кольцо А» и в других изданиях. Живет в Москве.

## ЗАЩИТНИЦЫ ИСКУССТВА

Нина ехала в холодном двухэтажном троллейбусе по улице Горького. На первом этаже сидела она да трое школьников позади, без умолку обсуждавших, как подложат учительнице по немецкому крысу.

«Глупые», – подумала Нина, прислонив голову к окну. Очень сильно хотелось спать. Солнце ещё не встало, а серо-голубой рассвет только-только расстелился над городом.

Дожди сменились заморозками. Опавшие листья почернели и лежали неубранные. Оголённые липы клонили к земле скрюченные ветки-пальцы. Грустная осень. Грустная пустынная улица, по левой стороне которой в ожидании своей грустной миссии стояли полуторки, а по правой – покрытые инеем, лежали дрова.

Прифронтная Москва готовилась к зиме.

Нина и сама, возвращаясь с лесозаготовки, везла связку дров. Сказал бы ей кто-то ещё полгода назад, что она, москвичка с Гоголевского бульвара, будет трудиться на лесозаготовке, никогда бы не поверила. Какой прок от её узких запястий и тонких музыкальных пальчиков на лесозаготовке? Потому-то она и просилась в огородный колхоз в Коломенское. С овощами в теплицах она бы как-нибудь управилась. Наверное, обрабатывать картофель не сложнее, чем многочисленные бабушкины клумбы на даче во Внукове. Но директор распорядился иначе. Что же, спорить Нина не стала, спасибо уже за то, что вообще не сократил, как многих.

На Моховой Нина вышла из троллейбуса и поплелась пешком, буквально на ощупь, ориентируясь на белые бордюры, заменявшие теперь фонари, впавшие в безвременный сон. Верёвка от вязанки больно впилась в озябшие на морозе пальцы, и ноша казалась от этого ещё тяжелее.

Уже на Волхонке, Нина споткнулась и упала, ударившись коленями о разбитый асфальт. Связка поленьев отлетела в сторону и растворилась в темноте. Тут же топот чьих-то башмаков, удалявшихся всё дальше и дальше, дал понять, что её ограбили, подставив подножку.

Шпана! Нина бросилась вдогонку. То ли хулиганы ослабли от голода, то ли отличие в ГТО помогло, однако воришек она догнала и принялась отчаянно биться так, как учил когда-то старший брат.

– Отдайте! Отдайте, паразиты! Я сейчас милицию позову!

– Уйди! Уйди, зашибём! – не испугались те.

Они держали вязанку крепко и вырывались. Тогда Нина уцепилась за связку руками. Так и тащилась, волочась по земле.

Если бы эти дрова она несла домой, ни за что не решилась бы на драку. Страшно, вдруг не справится, вдруг побьют. Но она несла их на работу, в замерзающий музей. Не скажешь же произведениям искусства: «Вы потерпите, пока баржу разгрузят». Они не потерпят, умрут. Века жили, и умрут от того, что нерадивый экскурсовод испугалась шпаны.

Однако как следует испугаться Нина не успела. Неподальёку упала бомба. Грохнуло так, что в ушах загудело, а саму её взрывной волной отшвырнуло, протавив по стене дома. Всё произошло так неожиданно и быстро, что она ничего не успела понять. Придя в себя, машинально, будто ведомая железным механизмом изнутри, на коленях подползла к связке поленьев. Хулиганы лежали рядом, неестественно разбросав руки и ноги, с чёрными лицам. Контужены? Мертвы? Нине некогда было об этом думать. По страшной иронии, бомба сохранила ей здоровье или даже жизнь. Ведь зашибли бы, как и грозились. А Пушкинский был уже совсем близко.

Лавируя между противотанковыми ежами, она добралась наконец до заветных, заколоченных почерневшими досками колонн и вошла в вестибюль.

Никогда прежде она не приходила сюда в таком виде: грязном полушубке, ватных штанах, со стёсанной скулой и разбитой губой. Но ощутила она себя... Снежной королевой в ледяном дворце. Мрамор лестницы и пола сверкала розовыми блёстками, по углам белели сугробы, на стенах переливалась изморозь, а из Итальянского дворика летела пурга и доносились, не оставляя эха, женские голоса.

Нина вошла в зал и подняла голову. Через обрушившуюся крышу ей ехидно подмигивали косые лучи поднявшегося зимнего солнца и, вальсируя, спускались хрустальные снежинки.

– Нинка, принесла всё-таки, – подхватила поленья, словно младенца, искусствовед Анна Николаевна. – Надюшка тоже вчера немного раздобыла.

В повязанном крестом на груди, поверх тёплого пальто, мышинового цвета платке, Анна Николаевна показалась Нине какой-то квадратной и похожей на теперешние московские окна.

Устало улыбнулась и реставратор Надюшка. Скулы её впали, а глаза навыкате казались теперь совсем лягушачьими. Всё-таки шестьсот грамм хлеба давали о себе знать. Хорошо ещё, что завесили нидерландские натюрморты с кроликами, куропатками, мидиями... А то как, зная на всё это, не сойти с ума? Да Нина и сама стала слабо узнаваемой: тощая, остроносая, алый бутон губ выцвел, каштановые косы обрезаны. Мыло теперь достать трудно, а кормить вшей не хотелось.

– Когда это случилось? – всё ещё плохо слыша после взрыва даже саму себя, спросила с ужасом Нина.

– Четырнадцатого. Надеялись успеть починить до зимы. Кто же мог подумать, что зима в октябре придёт. Да нас четырежды бомбили, пока ты была на заготовке. И зажигалками засыпали. Одна вон прямиком к Надюшке упала, к счастью, не загорелась. Мы же теперь в МПВО, вот и тушим, и осколки с кирпичами собираем...

Осторожно ступая по мраморному, хрустящему от наледи и стёкол полу, Нина подошла к «квартире» Давида.

– Уцелел? – забеспокоилась она.

– Уцелел, – с теплотой в голосе, будто говоря о родственнике, ответила Анна Николаевна.

Давида Нина любила сильнее остальных экспонатов. Ведь именно он стал свидетелем её счастья, зарождения её большой любви.

В тот жаркий июльский день сорокового года, она, выпускница искусствоведческого факультета, сдавала экзамен, чтобы поступить на должность экскурсовода. От волнения она запинаясь и путала слова. А ещё, как назло, привели группу курсантов Кремлёвского полка. Они улыбались, подмигивали ей, ещё сильнее сбивая с толку. И только Алёша утвердительно кивал, словно говоря: «Ты молодец! У тебя всё получается».

До конца лета, каждую увольнительную, он приходил к ней на свидание в залитый дружелюбным солнцем и благоуханием цветов Парк культуры и отдыха, угощал мороженым, катал на лодке. Нина надевала любимое красное платье в белый горошек, с отложным воротничком и туфли-лодочки. А на Первомай, после демонстрации, Алёша пригласил в столовую МХАТ. Улицы горели пламенем знамён, играли марши, набухшие почки деревьев явили миру сочно-зелёные листики.

– Ты выйдешь за меня замуж? – спросил вдруг он, не дожидаясь, когда она прожует свою «хлебную» котлету.

Нина неторопливо дожевала, наслаждаясь любимым вкусом, и зачем-то спросила:

– А собаку разрешишь завести?

Алёша рассмеялся и согласился.

Завести собаку они не успели. Началась война. И где теперь Алёша? Временами Нине казалось, что черты его лица: карие глаза, курносый нос, улыбка одним уголком рта – стали исчезать из памяти.

В столовой МХАТ Нина обедала в последний раз перед отправкой на лесозаготовку. Таким образом чиновники от культуры поддержали своих работниц, взваливших на хрупкие плечи снабжение столицы дровами. Там всё напоминало об Алёше и было так же вкусно, как и прежде. Или Нине это только казалось. Теперь для неё всё было вкусным, даже чай на еловых, серо-зелёных веточках в лесной землянке.

В носу невесть откуда послышался запах «хлебных» котлет, а в животе предательски заурчало. С началом войны и вводом карточек есть хотелось постоянно.

– Снег надо убирать, – безапелляционно сказала она, стряхнув с себя мысли о еде.

– Его теперь каждый день убирать надо, – тоскливо пробурчала Надюшка.

– Значит, будем убирать каждый день.

Принесли веники и вёдра. На всех сотрудников не хватило, и Нина взялась за скребок. Отскребать ледяные горки пришлось голыми руками. Рукавички она потеряла где-то на лесозаготовке.

Время от времени, грея дыханием онемевшие пальцы, она поглядывала на «квартиру» Давида. Ветер кружился, жужжа под полуразрушенной стеклянной крышей, и ей казалось, что это Давид тяжело дышит.

Эвакуировать его в Новосибирск со ста тысячами других экспонатов не удалось. Гипсовый монолит не разбирался, а везти целиком было слишком сложно и рискованно. Тогда его и других, таких же «невъездных», решили спрятать в дощатые коробки.

Эти ящики напугали Нину. Будто живых людей уложили в гробы. Находчивые музейные работники окрестили их тогда однокомнатными квартирами. Но страшные ассоциации всё равно не оставляли Нину, и, помогая прятать любимый экспонат, она погнала их от себя словами:

– Это не гроб и не квартира. Это мой щит Алёше.

И загадала:

– Если сберегу Давида, Алёша выживет и вернётся ко мне. Вам это смешно? – опустив свои серые глаза, спросила она Анну Николаевну.

– Нет, – покачала головой та. – Нам всем сейчас нужно во что-то верить.

Верить. Прежде Нина не задумывалась над этим словом. Вера ассоциировалась в её комсомольском сознании с религиозным культом, а наличие Бога она отрицала, поэтому в церковь не ходила и молиться не умела. Впервые она сделала это на второй месяц войны, когда с другими работниками прятала слепки греческих богов со святыми в музейный подвал. Боги и святые встретились друг с другом. Нине показалось, что это не случайно. Может быть, они и в самом деле встретились сейчас точно так же на небе, чтобы помочь людям одолеть это нацистское зло?

– Святые, защитите моего Алёшу, пожалуйста! Уберегите от смерти! – тихонько шептала она в холодном, сыром подzemелье, сложив ладони перед слепками, как делала Мадонна у Боттичелли.

От воспоминаний у Нины защипало в горле. Захотелось пить, а водопроводные трубы лопнули. Пришлось ставить ведро со снегом к буржуйке и ждать, пока растает.

– Для кого стараемся, себя не жалея? Для немцев? – возмущённо пробормотала Надюшка.

– Для тех, которые коммунисты, тоже, – уточнила Нина.

– Наивная ты.

– Я комсомолка и марксистка.

– Ага, вот придут немцы, посмотрю, как ты скажешь им об этом.

– Скажу, – выпрямилась Нина. – Когда они придут в этот музей после нашей победы!

Вдруг что-то со звоном грохнулось об пол, и тут же с испуганным криком взлетели к крыше чёрные вороны.

– «Зажигалка»! «Зажигалка»! – слышалось со всех сторон.

Плюясь и подпрыгивая, бомба закрутилась в сторону Давида. У Нины замерло сердце.

– Нет! – с воплем схватила она щипцы и, подцепив «убийцу», бросила его в ведро с прозрачной водой, которой теперь было точно не напиток.

Руки Нины тряслись от страха, но она радовалась. Радовалась не тому, что потушила свою первую «зажигалку», а тому, что спасла...

– Нина, бегом в кабинет директора, мама звонит! – позвала взволнованная Анна Николаевна.

– Мамочка, ты цела! – вцепилась Нина в телефонную трубку.

– Доченька не волнуйся, – слышался голос на другом конце провода. – Письмо тебе принесли, от Алёши!

...спасла Алёшу.

В этот день Нина уверилась, что настанет победа, в музей вернутся старые и придут новые сотрудники, вернутся эвакуированные экспонаты, стены «храма искусств» наполнятся привычной жизнью. В этот день Нина стала верить.

## Владимир РОМАНОВ

Родился в 1959 году в селе Семенове Арзамасского района. Получил высшее педагогическое образование на отделении физической культуры, работал тренером по легкой атлетике в спортивной школе. В настоящее время – тренер по пожарно-прикладному спорту.

Публиковался в журнале «Нижний Новгород», альманахах «Земляки», «Арина НН».

Живет в Арзамасе.

## МЕЛОДИЯ ЖАРКОГО ЛЕТА

Коля всегда так делал, с самого первого дня, как только дядя Миша поручил ему ухаживать за вороной кобылой и эксплуатировать ее на хозяйственных работах: он целовал ее в белое пятно на лбу, обнимал за шею и шептал в волосатое ухо:

– Здравствуй, Нелька! Доброе утро!

Лошадь в ответ фыркала губами, подставляла свою покорную голову, чтобы он надел на нее уздечку и вывел из стойла, провел по разбитым доскам деревянного пола за серые ворота на солнечный свет, яркие лучи которого, словно вырвавшись из завесы темной ночи, разбежались по всей территории хозяйственного двора.

Который день стояла изнуряющая жара. Мужики шли на свои рабочие места, с надеждой поглядывая на небо – нет ли там долгожданных облаков и серости в виде туч, но утро обещало погожий день с новым пеклом. Через несколько минут раскрылись двери мастерских и гаражей, послышался стук молотка, завелась машина, зашумела протяжно пилорама. Коля запряг лошадь, дернул нежно вожжами, и та привычно направилась в сторону конторы, где работник получал разнарядку от бригадира на ближайшую неделю. Этим бригадиром был дядя Миша.

– С сегодняшнего дня начинаем строить овощехранилище, – сказал тот, – студенты приезжают, стройотряд, будешь им подвозить кирпич, что у первого склада под навесом.

– Знаю.

– Получишь помощника, чтоб быстрее было и веселей. А вот и они подъехали. Ну, пошли здороваться.

Через борта машин парни лихо спрыгивали на землю, девушки осторожно спускались. Тихое утро наполнилось шумными задорными голосами.

Через минуту студенты стояли в строю, словно военные в плащевых темно-зеленых куртках. Дядя Миша сделал шаг вперед:

– Здравствуйте, молодые люди!

– Здравсте-е-е! – отозвались студенты.

– Не скрою, мы ждали вас, так как нуждаемся в помощи, на кого надеяться, как не на вас – молодежь! Работа предстоит непростая – нужно достроить овощехранилище к концу лета, чтобы к осени сдать его в эксплуатацию. Жить будете на территории старой школы, завтрак и ужин организуется там же, обед – здесь. Для этого приготовили столы, умывальники и прочие удобства. Обустраивайтесь, осваивайте новую территорию, а на завтра милости прошу на объект. Желаю удачи!

Следующее утро было суетливым. Бодрый голос дяди Миши слышался повсюду: он давал распоряжения по организации работ, разбил студентов на несколько групп и объяснил, что нужно делать. Потом он подошел с девушкой к Николаю:

– Вот тебе курносая помощница. Как тебя, доченька, величать?

– Оля!

– Стало быть – Ольга! Выдай ей рукавицы и фартук, а то кирпичом испортит всю свою внешность. Да не налегай на нее сильно с работой, неровен час, занеможет с непривычки, – дядя Миша заулыбался, – это я так шуткую.

Коля весь выпрямился, подобрался изнутри и замер, он и думать не мог о такой напарнице: с большими карими глазами, хрупкой фигурой и пытливым взглядом.

– Ой, лошадь! – сказала она. – А можно ее погладить?

– Можно! – ответил Коля, выйдя из состояния заторможенности.

Девушка дотронулась своими длинными пальцами до белого пятна кобылы, та мотнула головой.

– Ой! – отпрянула от нее Ольга.

– Нелька! Ты что? Прекращай хулиганить. Идите сюда, она больше не будет.

Во второй попытке лошадь стояла смирно.

– Нелька, хорошая, я хочу с тобой дружить! Разреши мне провести рукой по твоему прекрасному лбу? – девушка положила свою ладонь к голове кобылы, а потом прижалась к ней щекой. – Это удивительно – я чувствую ее дыхание, мы с ней одно целое.

– Она приняла вас.

– Нелька, Нелли – это греческое имя, в переводе означает «молодая», «светлая», мы недавно в институте проходили. Посмотри на нее внимательно: с таким лбом и глазами может быть истинная гречанка, – она перевела взгляд на повозку. – А это что? Телега, да? И мы на ней поедем?

Коля лишь мотнул головой.

Деревянные колеса с металлическим ободом грубо подпрыгивали на щебенке дороги, телега от этого сотрясалась мелкой дрожью. Они сделали несколько рейсов туда и обратно, нагружая и сгружая красный кирпич, прежде чем Ольга спросила его, смешно смахивая пот со лба огромной рукавицей:

– Коля, а сколько тебе лет?

– Шестнадцать, – ответил он, и почувствовал, как по его лицу пробежал румянец, – в сентябре пойду в десятый класс.

– Девушка, наверное, есть?

– Больно надо!

– Нет, я тебе не верю. Все парни влюбляются в одноклассниц. Списывать, наверное, даешь на занятиях?

– Вот еще, была нужда.

– А я, сколько себя помню, всегда была в кого-то влюблена, даже в директора школы. Он вел у нас химию. Мне, наивной дурочке, казалось, что он смотрит только на меня, на кого же еще, а однажды, проходя между рядами парт, положил ладонь на мое плечо – до сих пор чувствую дрожь в позвоночнике. Химия давалась с трудом, не до нее было. Как-то раз директор пришел к нам на физкультуру. В это время парни занимались метанием на дальность. Он снял пиджак, закатал по локоть рукава белой рубашки, конец галстука засунул между пуговиц, затем как метнет гранату, очень далеко, куда-то за горизонт, в неизвестность. Наш класс как стоял, так и ахнул, у всех прямо дух перехватило. А он снял очки, чтобы протереть их платком, а сам так смотрит близорукими глазами на меня, смотрит не отрываясь. Я в ответ вытаращила свои глазищи, впускаю его биотоки в себя, пропускаю через сердце и разные там сложные системы большими порциями, по спине пробежал холодок, разум помутился. Оказалось, что за моей спиной стояла Кира Валерьевна, наша классная дама, на нее он и щурился. Такой вот казус случился со мной... С тобой, может, случилось нечто похожее?

Коля, смущаясь, помотал головой, подошел к лошади:

– Я пойду до обеда Нельку искупаю.

Он распряг лошадь, сел на нее верхом и, прижимаясь ногами к ее бокам, дергая левой рукой за уздечку, правой ударяя по крупу, поскакал в сторону пруда.

Шли дни, огромная куча кирпича медленно уменьшалась. Коля видел, как Ольге было непросто, особенно в первые дни: все мышцы болели, спина и ноги не сгибались, даже ложка дрожала в руке, когда ела, но потом втянулась, и ее смех все чаще и чаще разносился по территории двора.

Когда в обеденный перерыв все сидели за длинным столом под брезентовым тентом, рядом с ней обычно находился долговязый парень в очках. Он перегибался к ее голове и говорил шепотом в ухо, после чего она смущенно улыбалась, закрывая рот рукой. Коля косился в их сторону сначала со сдержанным спокойствием, потом его стало это соседство раздражать. Может быть, ее счастливая улыбка так действовала на него, может быть, то, что парень иногда клал свою руку в ее ладонь и заглядывал в глаза, только после этого Коля весь напрягался и ему хотелось быстрее уйти. Он уходил, и в попытке унять свое возбужденное состояние, начинал работать один. Ольга между тем сидела с парнем до конца обеденного перерыва под кленом, на лавочке, приходила улыбочивая, отрешенная от действительности.

Коля привык к тому, как она умела переключаться из одного состояния в другое очень быстро. Вот и сейчас в один миг с ее лица слетела расплывчатая умиротворенность, и взамен появилась выражение деловитости и сосредоточенности.

– Нелька! Дорогая, твой хозяин сердится на меня, вон как губы надул, глаза как молнии сверкают, а я, может быть, хорошая, только он этого не знает.

– Ничего я не сержусь.

– Тогда возьмишь меня завтра на пруд, хочу лошадь купать вместе с тобой, буду постигать секреты деревенской жизни.

– Зачем ждать завтра, пошли сейчас, мы дневную норму выполнили. Коля вел лошадь под уздцы, Ольга шла рядом.

– Я чувствую себя солдаткой, провожающей своего мужа на войну, – сказала она, – поцелую тебя на прощание, перекрещу тайком в спину, потом буду все ночи напролет плакать в подушку. А днем, в глубоком тылу, буду стараться для фронта, для победы, выполняя план на двести процентов.

Они подошли к небольшому пруду, который зарос по краям камышом и водорослями, кое-где белели кувшинки, по глади воды бегали мерцающие блики от солнца. Коля отпустил лошадь. Она сошла вниз по песчаному берегу в прохладу воды по самое брюхо и, надувая ноздри и выпятив губы вперед, стала пить. Стая домашних уток проплыла у нее перед носом. Ольга села на горячий песок, обхватила колени руками и тихим голосом зашептала:

И странной близостью закованный,  
Смотрю за темную вуаль,  
И вижу берег очарованный  
И очарованную даль.

– Я где-то слышал эти стихи, – сказал Коля.

– Да ты что, это же Александр Блок!

Коля снял с крючка телеги ведро, побежал к лошади, поливал на нее водой и тер металлической щеткой ее крутые бока. Оля смотрела на него, потом напевая себе под нос, закружилась в танце. Она топталась кругами по песку босыми ногами, то прижимая обувь к груди, то разбрасывая руки в стороны:

– До чего же хорошо на свете жить! Там-там, та-ра-ра-рам, ля-ля-ля-лям! Хочется взлететь к небу, парить в облаках и глядеть сверху на вас с Нелькой, таких маленьких и забавных.

Оля несколько раз подпрыгнула на месте, словно и правда хотела оторваться от земли, но ее заразительный смех неожиданно оборвался, ноги подкосились, она упала на песок. Коля видел ее падение и застывшее тело в неестественной позе. Он подбежал к ней с ведром воды, перевернул на спину, вытер сухие губы от песка, оглянулся по сторонам, ища помощи, но никого не увидел:

– Оля, Оля, что с вами?

Ему ничего не пришло в голову, как набрать в ладони воды и побрызгать Ольге в лицо. Потом неожиданно для себя, он наклонил над ней голову и поцеловал в полуоткрытые обветренные губы. И вдруг отпрянул от нее как ошпаренный и попятился назад. Ольга как будто застонала, зашевелила руками и открыла глаза:

– Небо! Самолет летит, наверное, на Москву? – сказала она.

Коля поднял голову. На безоблачном синем небе летел самолет, оставляя после себя белую кривую линию. Парня лихорадило, щеки горели от стыда, руки тряслись мелкой дрожью, было одно желание – убежать прочь куда подальше.

– Что со мной? Голова немного кружится, ноги ватные.

– Э-э-то солнце виновато, – выдавил он из себя растянутые слова, – тебе нужно уйти в тень, давай помогу.

Он хотел проводить Ольгу под дерево, но ноги ее не слушались. Тогда он подхватил ее на руки и стал подниматься на высоту берега.

– У тебя на носу веснушки, ровно пять штук, – сказала она, обхватив его шею ладонями, чтобы ему было легче нести, – когда ты напрягаешь свое лицо, они словно живые прыгают из стороны в сторону, так смешно.

Коля молча положил ее на телегу, взял пустой мешок, вытряхнул его от пыли и подложил под голову. Повозка запрыгала по щебенке в сторону строительного объекта.

Руководитель отряда Володя сунул девушке под нос нашатырный спирт, потер пальцами виски, дал попить воды из бутылки и объявил, что у неё случился самый обычный тепловой удар, нужно какое-то время побыть в покое и обязательно не на солнце.

Возвращаясь, Коля чувствовал себя виноватым, угнетала мысль – была ли Ольга в сознании, когда он ее поцеловал, могла ли понимать, что он совершил по отношению к ней? Между тем чувство вины перемешивалось с нежным трепетом, сладостным томлением. Он нес свое счастье домой по знакомой улице, бережно пряча его в своей груди. Физическая усталость, милые лица знакомых, красный диск заходящего солнца, необычные краски неба с тягучим бордовым оттенком только усиливали его романтическое настроение. Уставшие за день от зноя и надоедливых слепней, тяжело шагали коровы, подгоняемые последними криками пастуха. Они несли полные тугие вымена, которые мерно раскачивалось из стороны в сторону, брызгая молоком из набухших сосков, и расходились по своим дворам на вечернюю дойку. Старики вышли посидеть на завалинки, дети играли у своих домов, женщины с ведрами стояли у колодца. Это были самые обыденные картинки каждодневной жизни, которые вдруг проникали в самое сердце и заставляли его то пугающе замирать, то бешено биться.

Последние дни Коля ночевал на сеновале. Лежа на пахучем сене, он долго смотрел на звезды и дожидался луны, которая в одно и то же время осторожно заглядывала в проем деревянного навеса. Ему часто снилось море, которого никогда не видел, и белый пароход. На пароходе он всегда видел себя в строгом кителе, широкой фуражке, белых перчатках. Он стоял на верхней палубе и смотрел в бесконечную даль. Но сегодня он думал об Ольге и никак не мог заснуть, к тому же было душно: раскаленное за день железо еще не успело остыть, от него исходил запах старой краски.

Коля оделся и спустился по лестнице вниз, прошел прямо, минуя несколько домов, затем свернул в проулок между дворами. Тропа вывела его через колючее поле скошенной пшеницы к желтым огням старой школы.

Деревянное одноэтажное здание, состоящее из четырех классных комнат, учительской и длинного коридора было опоясано большими раскидистыми деревьями и зарослями кустарника. Сквозь большие окна с прогнившими рамами, наполовину зашторенными занавесками, проглядывали грязные светильники и потолки с облупившейся краской.

Коля притаился за стволем ивы, всматриваясь в щель между неплотно задвинутыми занавесками, надеясь увидеть Ольгу. «Что-то никого не видно, – подумал он, – наверное, все ушли в клуб на дискотеку». Стоял долго, потом, наконец, решил подойти ближе к окну, но услышал шаги на крыльце и увидел разгорающуюся в темноте красную точку сигареты, снова замер за деревом. Неожиданно открылась дверь, желтый свет из коридора осветил долговязую фигуру в очках и крепкого парня в серой панаме, сдвинутой на затылок.

– Послушай очкарик, – сказал парень в панаме, – еще раз увижу тебя с Ольгой, и твоя жизнь превратится в ад.

– Тогда и ты меня послушай, – ответил очкарик, – твои угрозы не помогут, война так война, давай все решим здесь и сейчас.

Они схватили друг друга за куртки, словно борцы за кимоно, и начали дергать руками на себя и в стороны и делать подсечки ногами. Уже через две минуты от рукопашной борьбы оба тяжело задышали, под ногами поднялась летняя пыль.

Коля выбежал из укрытия и набросился на драчунов с трудом, растолкав их по разные стороны.

– Чего тебе? – спросил парень в панаме, узнав Колю. – Ты откуда здесь? А-а, тоже страдаешь, да? По ней страдаешь? Мы тут три страдальца. Не правда ли, смешно?

В темноте послышались шаги, кто-то быстро шел, загребая обувь, пыль на тропинке, появились движущиеся тени. Это был Володя. Он быстро окинул всех троих взглядом и, убедившись, что все здоровы, без синяков и ссадин, скомандовал голосом, не терпящим возражений:

– Вы, господа студенты, извольте следовать за мной на разговор, а вы, молодой человек, идите домой к родителям.

Едва за ними захлопнулась дверь, как Коля почувствовал своей головой мелкие капли дождя, который резко усилился и перешел в ливень. Разрезая небо огненными линиями, засверкали молнии, раскатистый гром ударял над самой головой. Дверь снова открылась:

– Эй, где ты там? – услышал он голос Володи. – Промокнешь, иди к нам.

Коля не отозвался. Он пошел прочь наугад, не чувствуя дождя, тяжелого дыхания и ударов сердца в груди, очнулся в поле за селом среди тюков прессованной соломы. Дождь закончился быстро, так же как и начался. Мокрая одежда прилипла к телу, ногам было неуютно от налипшей грязи. Ближе к полуночи парень добрался до дома и, боясь потревожить родителей, пошел к себе на сеновал; раздевшись, долго не мог согреться и уснуть. Все время что-то мешало: то шорохи мышей, то тяжелое дыхание коровы, то крики петуха, то шум мотоцикла.

Утром, не выспавшись, с тяжелой головой, Коля торопился на работу, чтобы увидеть Ольгу, услышать от нее привычные слова: «Доброе утро! Как дела?» Но она не пришла, ее определили на кухню, более легкий труд.

Проезжая на телеге по своему маршруту, Коля все косился в сторону брезентового тента, где топилась печка-прачка, из высокой трубы которой вился белый дымок. Слышались женские голоса. Коле было трудно удержаться, чтобы туда не зайти, но Ольга словно почувствовала и вышла к нему сама, с ножом в одной руке, держа в другой руке наполовину очищенную картофелину.

– Я рада тебя видеть! И тебя, моя дорогая Нелька!

Коля молчал. Он чувствовал смущение и неловкость, другой стороны, его переполняли радость и приятная теплота, именно такие он испытывал в детстве, когда мама гладила его по голове и целовала в щеку.

– Тебе совсем не обязательно было вступать в драку, они взрослые парни и разберутся сами в своих делах, но мне приятно, что ты не спавал. – Ольга поправила рукой волосы, выбившиеся из косынки. – А откуда ты там взялся?

– Случайно.

– Настоящие герои всегда появляются вовремя. Вот мой младший брат, он ровесник тебе, ни за что бы не вышел навстречу опасности, переждал бы в укрытии. Но я его все равно люблю!

– Откуда ты знаешь?

– Знаю! В нем нет, как бы тебе сказать, мужского начала, что ли, а в тебе есть. Смотри не растеряй.

– Подумаешь, что тут такого?

– Да, действительно, ничего такого. Для вас, ребят, очень важны мужские поступки, в конечном итоге они являются важными и для нас. – Она посмотрела поверх его головы. – Самолет летит, кажется, я его уже видела, только не помню где. О чем это я? Ах да, как ты думаешь, зачем мы сюда приехали?

– Чтобы построить овощехранилище.

– Ну, это конечно, а в чем главная причина для каждого?

– Наверное, романтика, возможность слинять от предков, попробовать трудностей и чего-то такого, типа вкусной приправы, которую мама добавляет для засолки помидоров.

– Примерно так.

– А у тебя какая причина?

– Мне нужно было узнать отношение к себе одного человека, кажется, я не ошиблась, а впрочем, это не важно. Кроме «да» или «нет» есть еще что-то, за что хочется уважать.

– Согласен, – Коля понял, что она говорит об очкарике.

– Ехала сюда получить ответы на поставленные вопросы, а приобрела другое, которое трудно объяснить. Словно во мне живет прекрасная мелодия, отзвуки которой все время преследуют меня и днем и ночью, больше ночью. Ты понимаешь меня? Я чувствую – ты понимаешь! Мы с тобой из одной приправы, той самой, для засолки помидоров.

Она снова поправила челку тыльной стороной ладони и залилась счастливым смехом, отчего ее подбородок мелко задрожал, а в глазах запрыгали лучики яркого солнца.

– Сегодня к вечеру закончим строительство, завтра уезжаем. Придешь проводить?

Коля в ответ лишь мотнул головой.

Утром следующего дня дядя Миша говорил длинную прощальную речь. Студенты вяло хлопали в ладоши, переминаясь на месте с ноги на ногу, с нетерпением поглядывая на подъехавшие машины. Ребята стояли помятые, уставшие от солнца, от бессонных ночей, неудобств, дискотек, новых знакомств, любовных интриг, выяснения отношений и теперь откровенно хотели домой.

Коля так и не вышел из своего укрытия. Он стоял за кирпичной стеной и глядел в проем окна. Отсюда хорошо было видно Ольгу и долгового парня в очках рядом с ней, они держались за руки. Ему показалось, что она рассеянно несколько раз покрутила по сторонам головой, словно искала глазами кого-то.

Наконец Володя дал команду:

– По машинам!

Молодые люди с удовольствием расселись на деревянные лавочки двух машин. Все уже были мыслями там, в городе. Водители, стоявшие в стороне, докурили сигареты, завели моторы, и машины тронулись с места. Вот они проехали мимо овощехранилища, выехали за околицу, свернули в сторону шоссе. Коля стоял в растерянности, не понимая, что с ним происходит. Но вдруг его словно кто-то подтолкнул в спину и заставил бежать сначала к лошади, запрыгнуть и скакать на ней, что было сил, через поле к машинам, сокращая путь.

Студенты пытались запеть песню, но увидев его стали кричать. Лошадь приближалась к машинам, двигалась параллельно, но в какой-то

момент стала отставать. Коля не сдавался, все хлестал и хлестал ее по бокам, подгоняя вперед. Ольга пробралась через спины сидящих к кабине и застучала по ней ладонью.

– Чего? – отозвались из окна прокуренным голосом.

– Мне надо сойти на минутку.

– Не могу, опаздываю, нужно к десяти успеть на базу получить запчасти для комбайна.

– Шеф! Будь человеком! – заголосили студенты наверху.

Водитель тоже заметил молодого человека на лошади.

– Давай, только быстро.

Коля стоял рядом с кобылой, круп которой покрылся испариной, и от тяжелого дыхания ни чего не мог сказать.

– Вот и молчи, ничего не говори, – сказала Ольга, – я хочу запомнить тебя таким, как сейчас.

– Долго еще? – спросил прокуренный голос.

– Иду!

Ольгу подхватили за руки и усадили на прежнее место рядом с очкариком. Машина тронулась, осторожно миновала овраг, проехала вдоль березовых посадок и, свернув на центральное шоссе, растворилась в общем потоке бесконечного движения транспорта.

Коля еще долго стоял, провожая ее глазами.

## Дмитрий ВОРОНИН

Родился в 1961 году в Клайпеде Литовской ССР. Окончил географический факультет Калининградского государственного университета. Сельский учитель.

Публиковался в журналах «Нева», «Наш современник», «Нижний Новгород», «Москва», «Север», в «Роман-газете» и других периодических изданиях и сборниках в России и за рубежом.

Автор четырех книг прозы. Лауреат премии им. А. Куприна, конкурса «Защитим правду о Победе» газеты «Литературная Россия» и ряда других литературных фестивалей и конкурсов.

Член Союза писателей России. Живет в поселке Тишино Калининградской области.

## ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН

Ах, этот волшебный Тбилиси, этот великолепный Тбилисо! Ах, эти потрясающие сациви и сулугуни, чахохбили и хачапури, хинкали и чанахи! Ах, эта «Хванчкара», эти «Цинандали», это «Киндзмараули» и это «Мукузани»!

Дмитрий Петрович с женой Наденькой просто обалдели от красот чудесного города. Гуляли по запутанным улочкам Авлабари, заглядывали в сказочные дворики Старого Тбилиси, наполненные ароматами местной кухни и громкими голосами старожиллов, удивлялись необычным строениям Мтацминды и смеялись радостно друг другу всякий раз, когда встречали на пути что-то неожиданное. А неожиданностей попадалось предостаточно. Старуха-торговка, завернутая с ног до головы в чёрные шали и предлагающая купить любую из них: «Э, дарагой, падары сваей жэнщине платок. Сматри, заморзла савсэм! Из лучшэй авцы сдэлан, самую лахматую стрыглы. На сэвэре грэть, как пэчка, станэт. Ты с сэвэра?» Подвыпивший велосипедист, горланящий на весь квартал «Тбилисо» и не дающий обогнать себя целой веренице машин. Постовой, увещающий лохматого пса, пытающегося ухватить его за штанину: «Слушай, дарагой, атстан, а? Савсэм задрал, а? Гдэ твой со-вэст?» Комбинации, бюстгальтеры девятого размера и цветные семейные трусы, гордо реющие на верёвке, перетянутой через дорогу между домами.

– Просто замечательно! – цокал языком Дмитрий Петрович и поднимал вверх фотоаппарат.

– Просто сказочно! – жмурилась от удовольствия Наденька, выщёл-кивая на камеру телефона гордых грузинских кошек.

– Просто невероятно!

– Просто чудо чудесное! Вот только куколки для моей коллекции не хватает, и тогда уж, точно, полная нирвана, – кивнула в сторону очередной сувенирной лавки Наденька.

– Стоп! – пресёк её попытку супруг. – Мы же договорились, покупаем только редкие вещи и только на блошином рынке.

– Ну так пошли уже на этот чёртов рынок, – капризно надула губы Наденька, – сколько можно меня мариновать, измучилась совсем. Третий день в Грузии, а я всё ещё без куклы! Время пролетит, не заметишь.

– Надюша, потерпи до завтра. Ты же знаешь, пойдём – пропадём. Сегодня город досмотрим, хинкали съедим, саперави выпьем, в театр сходим, а завтра, с утра пораньше, и окунёмся в волшебный мир блох. Ты – кукол искать, я – картины высматривать. У нас четыре дня ещё впереди, хватит.

Дмитрий Петрович собирал картины, а Наденька куколок. По возможности старались пополнять свои коллекции уникальными экземплярами, но всё больше случались бесполезные покупки, которые потом расходились по друзьям и знакомым. Денег на такие приобретения хватало раз-два в год, и радость от удач держалась долго-долго.

Наутро блошинный рынок Тбилиси встретил новых покупателей тепло и весело, как давних знакомых, моментально погрузив их в круговорот своей жизни. Аромат кофе и пряных булочек наполнял всё пространство барахолки от Сухого до Саарбрюкенского моста, перекинутого через Куру. Почти вся торговля шла прямо с земли. Всюду лежали покрывала и простыни, картон и байковые одеяла, газеты и даже ковры, на которых, порой в полнейшем беспорядке, валялась разная всячина от поношенной обуви до виниловых пластинок. Тут можно было найти и истрепанные временем книги, и советскую бижутерию, и детские игрушки, и русские самовары, и напольные часы с патефонами, и саквояжи с фотоаппаратами. И только на облупленных столиках, раскладушках и самодельных прилавках товар выглядел упорядоченно: кинжалы и ножи отдельно, значки и медали отдельно, марки и открытки отдельно. Глаза покупателей вытанцовывали половецкие пляски, пытаясь отыскать в этом хаосе необходимую вещь.

Вытанцовывали глаза и у Дмитрия Петровича. Выплясывали до тех пор, пока не наткнулись на прислонённую к чемодану картину какого-то местного художника. Работа была любительская, очень небрежная и, скорее всего, недописанная, но, тем не менее, она привлекла к себе внимание. По всей видимости, художник изобразил на холсте сельский пейзаж. Хотя Дмитрий Петрович мог и ошибиться. На переднем плане особо выделялись тёмно-зелёные пятна то ли многочисленных кустов, то ли деревьев, но полной уверенности в этом не было. Прорисовка была нечёткой, совершенно размытой. Деревья могли оказаться и чем-то другим. В середине картины просматривалось подобие водоёма, но и тут могло не сложиться. При определенном положении водоём превращался в пашню или огород. На заднем плане угадывались сельские домики, за которыми синели горы, а может быть, и само небо.

– Что скажэш? Правда, красива? Тэбэ нравится? – неожиданно прозвучало рядом.

Дмитрий Петрович обернулся на голос. Возле него стоял типичный невысокий усатый грузин с классической кепкой-аэродромом на голове и с любовью смотрел на произведение искусства.

– Замэчатэльный жывапыс! Пазапрошлый вэк, канец дэвятнадцатого, старина ещё при царэ. Втарой Пырасмани! Выжу по тваим глазам, что панравилса. Пакупай. Тэбэ, как знатаку, бонус.

– А что за художник этот ваш второй Пирасмани? – весело сощурился Дмитрий Петрович.

– Вай, ты нэ знаеш? – удивленно приподнял густые брови грузин. – Эта жэ Вано Вэпхвэдзэ! Точна нэ знаэш?

– Нет.

– Вах, ви слыхалы, он нэ знаэт Вано Вэпхвэдзэ! – повернулся продавец к соседям, и те укоризненно закивали. – Можэт, ты и Ван Гога нэ знаеш, и Кустадыева с русскими красавыцами?

– Ван Гога знаю и Кустодиева тоже.

– Вот выдиш, Ван Гога знаэш, Кустадыева тожэ, а Вано Вэпхвэдзэ нэт. Это нэ справэдыва, слюшай! Давай, купи картыну, дома на стэну павэсиш, будэш знат, кто такой Вано, будэш гастям паказыват, мнэ сыбо гаварит.

– Сколько стоит?

– Какой маладэц, всё панымает. Тэбэ, как цэнытэлю, за пятсот лари отдам, савсэм бэсплатна! – махнул вверх ладонью грузин.

– Пятьсот? – изумлённо уставился на него Дмитрий Петрович.

– Што? Многа? – развёл руками продавец. – Я тэбэ даром её отдаю, а ты глаза на мэня вилуплаэш! Врэмя маё тратыш. Иды атсюда, можэт гдэ дэшэвлэ вэликого Вэпхвэдзэ купиш, – возмутился хозяин картины и обиженно отвернулся от покупателя.

Дмитрий Петрович удивлённо пожал плечами и продолжил обследовать рынок. Часа два супружеская пара внимательно изучала развал, с наслаждением втягивая в себя запахи ушедшего времени. От каждой вещи исходил свой неповторимый аромат – дух истории.

Наденьке удалось пополнить свою коллекцию прелестной французской фарфоровой куколкой первой половины двадцатого века, а Дмитрий Петрович удачно сторговал у старой торговки, плохо говорившей по-русски, любопытный натюрморт с изображением абрикосов, рассыпанных по столу вокруг бокала с красным вином. Написан он был лет пятьдесят назад на фанерной крышке от посылочного ящика. Довольные собой и покупками супруги возвращались в гостиницу.

– Э, слюшай, зачэм мима идёш, на картину савсэм нэ смотриш? – раздался позади знакомый голос. – Нэ хочэш Вэпхвэдзэ забирает, так и скажи. А то я тэбя тут цэлий дэн жду, дамой нэ иду. Никаму этот шэдевр нэ прадаю, голодный савсэм. Двадцат чэлавэк хатэли картину купит, сэм атказал, тэбэ бэрэг, а ты мима праходиш. Будэш пакупат?

– За пятьсот лари?

– Канэчна! Патрогай, – протянул грузин картину Дмитрию Петровичу, – натуральный масло, гдэ ещё такой найдёш? Это тэбэ нэ в магазынэ ддя сывэниров. Там всё нэ настаящее – эрзац.

– Нет, дорого.

– Пачэму дорого? Пэтсот лари – дорого? Савсэм жадный, да? Совэсти нэт! Мнэ за нэ семсот лари давали, нэ прадал, тэбэ бэрэг. А ты – дорого! Аграбыт мэня хочэш, па мыру пустыт! Знал бы, што такой крукул, вчэра бы другому прадал за тысачу лари.

– Так за сэмьсот хотели купить или за тысачу? – улыбнулся Дмитрий Петрович.

– Вчэра за тысачу, сэгодна за сэмсот. Твой какая разныца? – возмутился продавец. – Иды давай дамой и нэ мароч мнэ уже голаву. Но павэр, завтра сам прыбэжыш, спат вся ноч нэ уснэш. Мэтатьса по падуш-кам будэш, про Вэпхвэдзэ думат.

Утром, сидя за чашкой кофе, Дмитрий Петрович с Наденькой наметали дневной план и рассмеялись послеобеденному посещению Сухого моста.

- За картиной второго Пиросмани?
- Обязательно!

Прогуляв всю первую половину дня в ботаническом саду, до краёв наполненном магией, и откушав в одном из подвальчиков старого Тбилиси эрбохачо, харчо, чашушули и кучмачи, супруги, взявшись за руки, неторопливо направились к рынку.

– Вай, сматры, Нино, идот! – донёсся издалека до счастливой парочки зычный голос грузина. – Я тэбэ гаварыл, куда дэнэтса! Картина у нас валшэбная, нэ днём, нэ ночью нэ атпускаэт.

Дмитрий Петрович широко заулыбался продавцу, как старому доброму знакомому.

– Вот, гуляем по городу. Заодно решили и по рядам пройтись, вдруг вчера чего не заметили, мимо проскочили.

– А што здэс сматрэт? Сматры нэ сматры, болшэ такой красату нэгдэ нэ увидэш. Так толка Алэксэй Вэпхвэдзэ мог нарысават!

– Как, Алексей? – удивился Дмитрий Петрович. – Вчера же Иван был.

– Развэ? Ты точна помныш? – подозрительно покосился на него грузин.

– Точно. Вы сами его Вано называли.

– Нэ можэт быт! Што я Вано от Алоши нэ атлычу? А тэбэ какой разныца, што Иван, што Алоша? Аны в адной сэмье жили. Это атэц и сын, нэ панымаэш, да?

– Не скажите. Возможно этот ваш Вепхвадзе Вано и второй Пиросмани, но тогда какой Алексей? Третий, что ли? А если третий, то и цена должна быть, как за третьего.

– Умный, да? – сняв кепку, задумчиво потёр затылок продавец. – Ладна, угаварыл, бэри Алошу за трыста лари.

– Надо подумать.

– Иды, думай. Толка долга нэ хады, купыт могут.

И этот день оказался удачным. За двадцать лари Дмитрию Петровичу достался простенький городской пейзаж, по всей видимости, долго пылившийся где-то на чердаке или антресолях. Краска в некоторых местах осыпалась, и на изображении виднелись какие-то потёки, но в целом картинка выглядела вполне сносно. Наденька же нашла однорукую куклу-марионетку фотографа-грузина, и была этому необыкновенно рада. Возвращаясь обратно, она повела бровями в сторону знакомого продавца.

– Нас, верно, высматривает.

И действительно, владелец трёх Пиросмани тревожно рыскал глазами по пёстрой толпе, снующей вдоль торговых рядов. Заметив Дмитрия Петровича, пожилой грузин радостно замахал ему своей огромной кепкой.

– Давай, давай, иды скарэй суда! Ужэ устали тэбя ждат с Нино. Всэ глаза прасматрэли. Нэт и нэт савсэм. Думали, ушол – нэ прыдэш. Забыл, про тэбя тут Джаванни Вэпхвэдзэ очэн скучаэт.

– Какой ещё Джаванни? – от неожиданности подался назад Дмитрий Петрович.

– Как какой? – нахмурился грузин и показал на давешнюю картину. – Вот этот. Чачу пыл или вина многа?

– Не пил я ничего.

– Нэ пыл, а Джаванни нэ узнал. Можэт, тэмпэратура?

– Может, у вас температура?

– У мэна зачэм?

– Да просто бред какой-то, – потёр висок Дмитрий Петрович. – Этот ваш Джованни с утра был Алёшей, а вчера так и вовсе Иваном.

– Правда? – в свою очередь удивился грузин. – Вчера Иваном бил? Точна?

– Ну да, Иваном.

– И што тут нэ ясна? Иван, Джаванни – одна имя.

– Ага, то русское, то итальянское, то грузинское.

– Слушай, што прэстал, как в банэ лыст? Нэ знаэш нэчэго, так малычы, да? Джаванни – эта внук Ваню, сын Алошы, он в Италии радылса, в самом Мыланэ, там гдэ Ла-Скала. Там Паваротти пэл. Ты опэру лубыш?

– Люблю.

– А гаварыш, што нэ знаэш, пачэму Джаванни. Вот мама и папа, каторый Алоша, его так называли. В чэст дэда. Толка на итальянском. У тэбя внуки эст?

– Нет.

– Вот кагда будут, ты их тожэ в чэст дэда назавы. Так всэ дэлают. Памят.

– Ну ладно. А картина тогда чья?

– Всэх! – обозлился грузин. – Ты савсэм нэ панымаэш? Или издэваэшса?

– Почему издеваюсь? Не понимаю, – искренно посмотрел на продавца Дмитрий Петрович.

– Вся сэмья Вэпхвэдзэ – художныки. Аны всэ вмэстэ картыны рисуют. Всу жызн, из пакалэныя в пакалэныя.

– Сколько лет?

– Многа. Можэт сто, можэт болшэ. Дэд начынаэт, сын патом далшэ прадалжаэт, внуки заканчывають. Вэздэ так.

– И поэтому дорого?

– Канэчна! А как ты хатэл? Здэс какой труд? Сто лэт картуны пышут, нэ раз-два ляп. Одын зэмлю рисуэт, другой – лэс и полэ, трэтый – нэбо и воду. Патом адын шэдэвр палучаэтса. Сам выдыш.

– Ну уж, конечно, шедевр, – скептически ухмыльнулся Дмитрий Петрович.

– А ты выдыш, какой здэс мазок, выдыш, какой тэн? – обиделся грузин.

– Нет, не вижу, – сделал шаг в сторону от картины Дмитрий Петрович.

– Правэлно, нэ выдыш! У абыкнавэннаго художныка всо проста, а у классыка нэчэго нэ панятна, патаму и дорага. Павэсыш такую картуны на гвозд, и ходыш вакруг нэё всу жызн, и думаеш, што там на нэй нарысована. И мэчтаеш всэгда. Сэгодна адна мэчта у тэбя, патаму што солнце так пасвэтило на краски, завтра у тэбя втарая мэчта, патаму што солнца луч на картуны лёг с другой стараны, а послэзавтра трэтый мэчта, патаму што солнца луч вапшэ нэкуда нэ лёг, тэмно на улыцэ, вэтэр адын и дожд идот. Сагласэн?

– Ну наверное и так бывает. Только мне авангард не нужен, я пейзажи люблю.

– Э, какой авангард, слюшай. Мнэ самаму авангард нэ нужэн. Маяковский только замэчатэлный, но он – грузын, у нас радылса. Тут ныкакой нэ авангард, тут пэйзаж и ест, как у Лэвэтана. Помныш его картуны «Кладбищэ на Волгэ»? Я в Масквэ в Трэтаковкэ бил, кагда в сэсэре жили, Лэвэтана увидэл – лубов на всу жызн. Вэпхвэдзэ тожэ Лэвэтан, толка в Грузии.

- Да ну?
- Нэ вэрыш? А вот пасматры, – стал тыкать пальцем в тёмно-зелёные пятна на холсте грузин, – вот горы, выдыш, Казбэк.
- А почему они зелёные? Горы, если вдали, чаще синие.
- Какой сыные? Сыный нэбо, а тут лэс в гарах. Ты што, лэса нэ видэл?
- Видел. Ну, допустим тут лес, а где тогда Казбек? Там же снег круглый год на вершине.
- Э, какой снэг? Расстаэл снэг, экалогия такой сэгодна, тэпло вэздэ, парник на зэмлэ. Заводы там, фабрыки, машины ездат, воздуха нэ стала савсэм, адын газ. Вот и на Казбэк дашол, всо атравыл. Купишь картыну?
- Не знаю. Надо подумать ещё. Тут даже авторской подписи нет. Как определишь – Вепхвэдзе это или нет?
- Ты какой-та тугой дум, вродэ так па русски. Очен долга думаэш, два дня ужэ. Так и памэрэт можна. И што здэс апрэдэлат, и так выдна, настаящий Вэпхвэдзэ. Нэ вэрыш? Тэбя как завут?
- Дмитрий.
- О, Димэтр, хорошее имя, умное. А мэна – Арчыл, или Арчи завы. А ты знаэш, аткуда твой имя?
- Вроде греческое.
- Маладэц, знаэш. Димэтр – это бог в Греции, он палями и уражаями рукавадыл. Ты сам аткуда прыехал?
- Из Калининграда.
- О, Лэнинград, красывый город, чут хужэ Тбилисо. Я там бил давно, эшо в савэтскае врэмэ. В Эрмитаж хадыл, на Аврору хадыл, в Лэтнэм саду хадыл, в Пэтропавлавку хадыл, по Нэвскаму хадыл. Панравылса мнэ Лэнинград. Но скучна. Грузын мала, пэсэн мала, Куры нэт, Авлабара нэт, вино – дран. Прасты. Картину завэрнут?
- Я ещё не решил, – задумчиво посмотрел на «шедевр» Дмитрий Петрович.
- Пачэму нэ рэшил, а? Иза подпэси, да? Ка мнэ ужэ сорок чэлавэк падхадили, прадат прасылы, пэтсот лари давалы, на подпыс нэ сматрэлы. Нэ прадал, тэбэ бэрог, как другу. А ты – нэ рэшил. За двэсти лари нэ рэшил. Бэсплатно савсэм! Бэри, пака дошева, – настаивал Арчил.
- Я думаю.
- Вах, ты слышала, Нино, он эщё думаэт. Индук тожэ думал, пака в харчо нэ папал. Можэт, чачи выпьем, чтобы думал быстрэе? Или в нарды сыграэм?
- Нет, сегодня не могу. Сейчас в консерваторию идём оперу Доницетти слушать.
- Навэрно, «Любовный напыток»?
- Точно, – удивился эрудиции грузина Дмитрий Петрович.
- Какой маладэц! Завтра расскажэш, как пэли. Я патом тэбэ «Сулико» спаю. Сравныш, – и, повернувшись к жене, Арчил добавил. – Пасматры Нино, Димэтр на опэру идот, наш чэлавэк, настаящий грузын.
- После спектакля супруги в отличном настроении неспешно возвращались в гостиницу. По дороге они бесконечно делились между собой впечатлениями об опере, консерваторской акустике, актёрах и певцах, об оркестре и зрителях. И только в номере вспомнили о продавце-грузине.
- Когда к Арчилу завтра пойдём торговать Вепхвэдзе? – подмигнула супругу Наденька.
- Как обычно, после обеда.

– А давай с утра. С утра мы туда ещё не ходили.

– Ну, давай, – согласился Дмитрий Петрович, – позавтракаем и пойдём.

– Нет, давай совсем рано пойдём, когда ещё и торговли нет, а продавцы только-только подтягиваются к рынку и начинают раскладывать свои сокровища.

– Так это часам к восьми надо уже там быть. Встанешь?

– Встану, – уверенно ответила Наденька и хитро прищурилась. – А ты представь, какое лицо будет у нашего замечательного грузина, когда он увидит, что мы его уже ждём!

– Нет, не могу. Хотя... – вдруг рассмеялся Дмитрий Петрович.

– Вот-вот.

Арчил, впряжённый в самодельную коляску, наполненную товаром, полусонно двигался к Сухому мосту. Рядом с ним, высоко подняв подбородок, аристократично вышагивала Нино, раскрыв над головой китайский зонтик и придерживая подмышкой дамскую сумочку. Её взгляд был устремлён вверх голов идущих навстречу людей.

– Гамарджоба, Арчи! Гамарджоба, Нино! – приветствовали пару ранние торговцы.

– Гагимарджос, Гиви! Гагимарджос, Ашот! Гагимарджос, Елена! – кланялся в ответ Арчил.

– Гагимарджос, – небрежно отвечала Нино.

– Арчи, Нино, там вас ужэ ждут, – предупредили по дороге супружескую чету.

– Ждут? Кто ждот, скажи? – окончательно проснулся Арчил.

– Увидишь.

– Димэтр! Надин! – широко улыбаясь, закричал на весь рынок грузин, заметив, стоящих на его торговом пятачке, знакомых. – Вах, какой нам подарок, Нино! Пакупатэли раншэ прадавца прэшлы. Эта балшой чэст для нас! Такая удача, можэт, адын раз в жизни бываэт. У мэна пэрвые – точна! Давно ждош? – заключил Дмитрия Петровича в свои объятия Арчил.

– Ещё солнце не встало, пришли, – пошутил Дмитрий Петрович, аккуратно высвобождаясь от цепкой хватки.

– Ты слышала, Нино, какой джигит – Димэтр! Ночю, в тэмнатэ к нам с тобой са сваей Надин пашол! Нэ напугалса! Настояшый гэррой! Мцыри! Я тэбэ за эта Бруно Вэпхвэдзэ за сто лари падару! Павэсиш дома на стэну, Арчи с Нино добрым словом помныт будэш. Мы ыкат станэм, тэбэ с Надин вспомним. Дай, пацэлую!

– Слушай, Арчил, – от переизбытка чувств перешёл на «ты» Дмитрий Петрович, – а почему сегодня уже Бруно? Вчера ещё Джованни был. Второй внук, да?

– Ай, маладэц, Димэтр! Умный какой! Пачты чут-чут нэ угадал, – весело рассмеялся грузин. – Бруно – это правнук Вану. У Вэпхвэдзэ цэлый дынастия художныкав, как у вас Рурыки. Ат кназа Игара до баткицара Ивана Грознава. Сэмсот лэт Русью правэли, так и у нас Вэпхвэдзэ болшэ сто лэт рысуют. Дай бог им таланта эшо на пэтсот лэт и далшэ. Я тэбэ тут подпыс напысал на картынэ от всэх Вэпхвэдзэ. Тэпэр купиш?

– Какую подпись? – у Дмитрия Петровича отвисла челюсть от изумления.

– Ну ты вчэра жалэл, што подпысы художнэка нэт. Я падпысал. Тэпэр эст, сматры, – развернул Арчил перед ошарашенным покупателем полотно. – Правда, красыва?

Внизу картины, слева направо, во всю ширь, красным фломастером кривыми русскими буквами было написано: «Вэбхвэдзэ Вано – атэц, Вэбхвэдзэ Алоша – сын, Вэбхвэдзэ Джавани – внук, Вэбхвэдзэ Бруно – правнук. Картынэ сто лэт. Пэйзаш. Казбэк в лэсу».

– Мама, родная! – ахнул Дмитрий Петрович.

Наденька, отвернувшись в сторону, кусала носовой платок, глаза её наполнились слезами, а плечи вздрагивали.

– Нравытса тэпэр? – улыбался Арчил, вопросительно глядя на покупателя. – Бэрош?

– Очень нравится! С подписью просто шедевр! За такое и переплатить не жалко. Гениально! Беру! – отсчитал сто пятьдесят лари Дмитрий Петрович.

– Вай, маладэц, Димэтр! Тэбэ – удача, мнэ – удача. Ты замэчатэльный пакупатэл! Лучший у мэна.

– А ты, Арчил, замечательный продавец! Лучший у меня.

– И у меня, – подтвердила Наденька, вызвав первую улыбку на лице Нино.

Грузин протянул деньги супруге:

– Нино, царица мая, сходы к Софико, вазми у нэё чачу, хачапури, винаград. Скажи, Арчи друга встрэтил, из Лэнинграда прэлэтэл са свэй Надин. Празнык у нас. Шашлыки у Дато купы, у нэго из настаяшэй авцы.

– Моя Надя чачу не пьёт, крепкая она.

– Пачэму – крэпкая? Нэчэго нэ крэпкая, чут крэпчэ вина, савсэм как лэманад.

– Да и времени у нас нет.

– Пачэму нэт? – нахмурился грузин. – Зачэм абижаэш? Всэго час пасэдим, пагаварым, я тэбэ «Сулико» спаю. В нарды играэш?

– Нет.

– Научу.

Через два часа, выпив из пластикового стаканчика очередную порцию чачи, Арчил выпрямился, зажмурил глаза и в третий раз затянул:

Сада хар, чемо Сулико?

Второй куплет подхватили соседи Арчила, тоже поднявшись со своих мест во весь рост, а третий куплет запевал уже весь рынок. Закончилось невероятное исполнение дуэтом Арчила и Нино.

– Это тэбэ на пращаниэ от всэй Грузии, – склонил голову Арчи.

– Боже, какие голоса, какие голоса! – плакала в восторге Наденька.

– Ты должен к нам приехать, Арчи, слышишь, должен, – требовал у грузина ответа совершенно обалдевший Дмитрий Петрович. – Обязательно с Нино! Мы вместе решим, где повесить твою картину. Дай слово, что приедешь.

– Прыеду, дарагой, абэзатэлна прыеду. Давно хачу в Лэнинград. И Нино пускай пасмотрыт на втарой Тбилисо.

– В Калининград, – обнимая за плечи Арчила, поправил Дмитрий Петрович.

– Э, какой в этам разныца, Калынинград-Лэнинград. Главнаэ, што у нас с тобой, Димэтр, Грузия и Расия навсэгда!

– У нас с тобой, Арчи, точно Россия и Грузия навеки!

## Из цикла «МАТУШКА ВОЙНА»

### Рыжий Кант

Старый Кант жил на краю рабочего посёлка. Он ходил в закорженевшей от грязи ещё советской дублёнке с чужого плеча и высоких утеплённых калошах. Волосики на голове у Канта были белёдые и редкие, а борода рыжей. Кто его помнил молодым, сказывали, что он весь тогда огнём горел. А к старости уже дотлевал. Ногами по дороге шаркал, улыбался всякому, что человеку, что собаке, что курице. И глаза... Взгляд всё время куда-то вдаль направлен, будто и не при нём. Чудной старик, философствующий, одно слово – рыжий. Вместо «здрате» у него всякий раз при встрече:

– А если сегодня война?

– Ну и что? Воевать пойдём, не впервой.

– А если с братьями выйдет? Как брат против брата или отца, к примеру? Или вот сосед против соседа? Нельзя же, против совести такое. Я вот не хочу.

– Отвали, Кант, гонишь пургу всякую. Кто у нас тут в посёлке воевать затеет.

– Так не у нас, а вообще. Вот и славяне, к примеру...

– Тьфу тебя, к лешему. Каркаешь почём зря. Надоел уже, иди с курицами философию разводи, они послушают.

Вечером Кант беззубо улыбался соседям:

– Войны не вышло, пронесло. Можно будет ещё одну ночь на звёзды смотреть и совесть свою баюкать.

– Чтоб тебя самого пронесло с твоей дурацкой философией.

На завтра была война, а Кант ночью помер.

### Есенин

Они шли зелёной. Она впереди, он на три шага сзади. Шли мягко, бесшумно. Ещё позавчера получили вводную.

– Присматривай за ним, он только во второй раз. Опыта нет совсем, из контрабасов. До этого лосем бегал, но по документам не тупил, – задержал её в дверях полковник.

– Хорошо, что не оленем. Ладно, присмотрю. Не впервой, – улыбнулась она.

Ей в последнее время везло, напарники чаще попадались опытные, было спокойно. И вот надо же...

– Без моего приказа ни одного лишнего движения, ни одного звука, ни одного слова. Шаг в шаг. И жесты. При форс-мажоре – по обстановке.

– Знаю, не затупок давно.

– Ну-ну. Уходим ночью.

– Эх, до ночи-то ещё можно и погулять, соловьёв послушать, на закат полюбоваться, – он неумело попытался привлечь её к себе.

– Иди, вон, на берёзе потренируйся нежности, Есенин хренов, – ловким движением ушла она от объятий ухажера, ткнув его пальцем в гортань.

– Идиотка, я ж пошутил, – закашлявшись, прохрипел он, жадно заглатывая воздух.

Средний палец, резко вскинутый над её головой, завершил короткое свидание.

Под утро они спустились в долину. Каменистая река, протекавшая неподалёку, заглушила почти все звуки. Она первой сделала шаг на лесную поляну.

Метрах в семи стояли трое боевиков и о чём-то ожесточенно спорили. Им повезло – два бородатых горца выясняли отношения между собой, стоя вполоборота, наставив друг на друга автоматы. Третий, пытавшийся их успокоить, показывал вышедшим спину.

Он чуть не налетел на неё сзади. Не оборачиваясь, она указала ему жестом отступление, а сама бесшумно сползла в траву и плотно прижалась к земле. Готовить оружие не было смысла, не успеть. Оставалось только ждать и молиться.

Надо бы посмотреть, что с напарником. Она медленно повернула голову, и безудержный хохот чуть не вырвался наружу. Он стоял за берёзой, полностью обхватив её руками и сжав ствол коленями. Чтобы как-то сдержать вырывающийся из неё смех, она впиалась зубами в дёрн и до основания забила свой рот сухой землёй, смешанной с лесными травами.

Через несколько минут спор прекратился, и наступила тишина. Выждав, она подняла голову. Боевиков на поляне не было. Она ещё немного полежала в траве и, уже не в силах больше сдерживаться, начала тихонько похрюкивать.

Напарник, с бледным лицом, продолжал обнимать дерево. Он сросся с ним, как любовники на одной из картинок «Камасутры». Его ногти впились в кору так, что из под них сочилась кровь.

Она отодрала его пальцы от ствола, усадила на землю, достала иголку, и стала колоть ему руки, при этом, не переставая хрюкать.

– Изменил, – наконец-то с всхлипом вырвалось из неё, – с берёзой изменил, Есенин.

Полковник встретил вернувшихся раньше срока спецназовцев тревожным взглядом.

– Что произошло, что помешало?

– Берёза, – улыбнувшись, ответила она.

## Не герой

Дед Пётр всегда баньку сам протапливал и первым пар принимал. А потом, уже за столом, ждал, когда вся его большая семья переместится. И пока ждал, чекушечку приговаривал, закусывая домашними пельменями.

– Пётр Иваныч, – подсел как-то к нему правнук Пашка, – а расскажи хоть нам, как воевал-то на фронтах, как фашиста бил? Интересно же.

– А чего интересно-то? Ничего тут интересного нету. Воевал, и всё.

– Ну уж и нету? – недоверчиво покосился на прадеда внучек. – Всю войну прошёл – и нету?

– Не ерой я, Пашка, не ерой, – отмахнулся дед Пётр от пацана и замолчал.

Всю войну Пётр шоферил. Сначала из Риги вывозил какие-то документы, потом доставлял подкрепление на передовую, назад – раненых. В блокаду полторку по озеру туда-обратно гонял. В Ленинград всё больше муку с медикаментами, а оттуда – детишек полуобморочных да женщин-дистрофичек. Тонул пару раз да замерзал на ветру без счёта, но бог миловал. Потом до Варшавы доехал, всё со снарядами да патронами. А там и осколочное получил в лёгкое, ну и домой подчистую. Что тут особенного?

– Ну как же – не герой? – не отставал Пашка. – Вон у тебя и медали есть. А их же не за просто так давали.

– Давали и давали, – нахмурился ветеран. – Всем давали, на то и война. А я не ерой, всё время за баранкой.

– И чего? И не стрелял, что ли? Скажи ещё, что и ни одного нацика не замочил.

– А когда стрелять, если то за баранкой, то под капотом? Руки-то заняты, да и мысли про другое: как бы доехать до места и чтоб живые все были, и машина цела. Моё-то оружие – руль, его крепко держать назначено, а с ружьём-то да пистолетом другие бегали. Я им снаряды да патроны с гранатами возил, чтоб они в атаку не пустыми ходили. Привёз, сгрузил и назад, за следующей партией, а попутно раненых до госпиталя. Мне некогда в разведку было ходить. Каждому своё.

– Тю, – разочарованно выдохнул пацан и вышел из-за стола.

– Я ж говорил, что не ерой, – опрокинул в себя гранёный стакан дед Пётр, занюхал кусочком чёрного хлеба и отправился спать.

## Звезданутый

*Посвящается липецкому писателю Александру Пономарёву*

На Хасавюртовском рынке всегда многолюдно. Война войной, а витамины и федералам нужны. Две пары рук одновременно схватились за последний арбуз.

– Как делить будем? – напрягся поджарый капитан в камуфляже.

– Разыграем на спичках, – улыбнулся коренастый майор.

– Откуда?

– Из Липецка.

– А я из Магадана. Глаза у тебя странные, зрачки – будто звёздочки.

– Мать говорила, звездопад был, когда рожала, вот и залетели.

– Везунчик, наверное.

– А то! – вытянул короткую спичку липчанин.

Этот разбитый дом у дороги выглядел подозрительно. Майор незаметно подполз к стене, присел на корточки, осторожно потянулся к проёму окна, заглянул, и тут же ощутил холод металла на переносице. «Хана!» – пронеслось в голове.

– Привет, звезданутый, – дуло автомата резко ушло в сторону. – Повезло тебе, такие глаза не забываются.

## Марианна СОЛОМКО

Родилась в 1984 году в Ленинграде. Окончила фортепианный факультет Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского.

Автор пяти поэтических книг «Гуси летели на Север...» и «Что бы ни случилось...», детской книги «За грибами со стихами». Стихотворения публиковались в России и зарубежье. Переводит с сербского, переведена на сербский. Лауреат Международной премии им. С. Есенина (Москва, 2023) и других международных и региональных поэтических конкурсов и литературных премий. Награждена золотой медалью им. И. Бунина за верное служение русской литературе.

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

## ВАЛААМСКИЙ ХОР

### Дождь

Подновит, приукрасит, подружит  
Вензеля и фасады дворцов,  
Реверансы надвратные кружев  
И скульптуры царей-гордецов.

Разбросает жемчужины чаек  
И Неву свысока окропит,  
Окрестит Достоевской печалью,  
Поцелует петровский гранит.

Освежит малахитовый Зимний,  
Как роскошный весенний бурьян,  
Приголубит ростральные бивни  
И закату добавит румян.

Станет розов, багрян, фиолетов  
Под зонтами спешащих людей  
Этот город могучих поэтов  
И высоких до неба идей!

\* \* \*

В белом холодном жасмине,  
В самой стремнине куста,  
Я отдала мужчине  
Жадно свои уста.

И замерло скворечье,  
И возросла стена  
Нашей последней встречи –  
Первой была она.

\* \* \*

От меня уходят люди,  
Кто в тайгу, кто в монастырь.  
Остаётся только лютик  
На один большой пустырь,  
А ещё – больная память –  
Облетевшая пыльца,  
Безымянный тонкий палец  
Без кольца.

\* \* \*

Руки грубые электрика  
Обнажали провода.  
Специфическая лексика –  
Вечный двигатель труда.

И хватали водку за горло  
Так, чтоб за душу брала.  
Чтобы сердце билось наголо,  
Словно исповедь орла.

А в огнях спокойных к вечеру  
С восхищеньем шли на риск,  
Осыпая нежно женщину  
Электричествами искр.

\* \* \*

*Моим бабушкам – Рае и Вере*

Сказала Рая,  
Умирая:  
– Я знаю:  
Ада нет  
И рая,  
А только вечная весна... –  
И смолкла, досчитав до сна.

Сказала Вера:  
– Нету веры,  
Есть смерти  
Верные  
Примеры,  
А человеческий вопрос –  
Разорванный уроборос.

Такое нам сказала Рая,  
Такое нам сказала Вера.  
Рябины обломилась ветка,  
Земля осыпалась у края.

Над головою чёрный вран  
Открыл небытия карман:  
– Ты, умирая, верь не в рай,  
Ты, в рай не веря, – умирай.

### Валаамский хор

Он зазвучал – как ладожские сосны  
Встречают кроной молнию и гром.  
Как будто бы могучейшие вёсла  
С трудом перевоспитывают шторм.

Надвинулся волной на камень стёртый,  
Где властвует Борея полноглас,  
Поднялся ввысь на благородном форте, –  
Лампада маяка вдали зажглась.

И стихнул – лепетаньем голубянки  
У розовых черничных лепестков.  
Молился за Россию от Лубянки  
До костоломно-мольных Соловков.

О том, как уходила в небо тропка,  
Где палачи входили в дикий раж –  
Как маятно качалась кровохлёбка,  
Беспамятства ведя хронометраж.

Не лучше ль быть языческой корягой,  
Когда всемогущ христианский бес?  
Ведь не забудут всё кровавый ягель  
И поколений вырубленный лес.

Молился за минор – за белый, красный,  
За чёрный – минус двадцать первый век.  
О павших миллионах и о кастах,  
О всех, чей свет безрадостно померк.

И утвердил аккордом веры чистой:  
Россия – явь, всё остальное – сон.  
В ней праведников нет и атеистов.  
Есть бесконечный русский унисон.

## Дмитрий БИРМАН

Родился в 1961 году в Горьком. Окончил Горьковский инженерно-строительный институт, а также Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (экономический факультет). Работал инженером, затем занимался бизнесом. Неоднократно избирался депутатом Нижегородской городской думы, занимал пост заместителя главы Нижнего Новгорода.

Поэт, прозаик, автор шести книг, лауреат премии «Писатель XXI века», литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## ТАНЦУЙ СО МНОЙ ДО КОНЦА ЛЮБВИ...

\* \* \*

По божьей, похоже, милости,  
а может, усмешке дьявола,  
ко мне ты спустилась, милая,  
в момент совершенно адовый.

Пока в облаках сиреневых  
закат, догорая, мучился,  
я думал – пришло прозрение,  
все точно теперь получится.

Сжимались сосуды в ниточку,  
в виски било сердце молотом,  
и я за твою улыбочку  
отдал бы любое золото.

Мне пела песню охрипшую  
судьба, под шарманку нищего,  
и карты сдавала, подпившая,  
мне жизнь, на бумагу писчую.

Я видел – карты крапленые,  
но шел ва-банк опрометчиво,  
а что нам, когда мы влюбленные,  
терять-то особо нечего!

Терять-то лишь небо полынное,  
да пух одуванчика белого,  
да размышленья постылое:  
было ли что-то,  
не было...

\* \* \*

Танцуй со мной до конца любви,  
на крыше и в море.  
Ко мне по волнам не бойся, беги  
и в счастье, и в горе.

По небу рассыпали жемчуг звезд  
и в раме оконной  
Созвездие Девы  
мне ангел принес,  
увы, незаконно...

Неверьем в судьбу  
судьбу не гневи  
и Бога, конечно!  
Танцуй со мной до конца любви,  
Практически, бесконечно!

\* \* \*

Разница во времени  
не фатальна,  
разницы в возрасте  
просто нет,  
пока мы двигаемся  
горизонтально,  
вдали от проигрышей  
и побед.  
Пока разговариваем  
тихо,  
пока в ладонях  
изгибы тела,  
вся мировая  
неразбериха  
пофиг!  
Нам до нее  
нет дела!  
Все морозы  
и снегопады  
не напугают  
горячие души.  
Часто вопрос  
задавать не надо,  
ответ уже  
прошептали в уши.  
Дни затянулись,  
но ненадолго,  
время тащится,  
но, так, налегке...  
А впереди –  
просто дорога,  
и твоя рука  
в моей руке.

\* \* \*

Во всем, что казалось бессмысленным,  
есть скрытый, загадочный смысл.  
Шуршащими крыльями-листьями  
по осени парусник плыл.

Над черно-зеркальными лужами,  
под небом свинцовым  
и по  
воздушному легкому кружеву,  
и по  
разноцветным пальто.

Раздув паруса свои белые,  
под взглядами странных людей,  
летела вперед каравелла  
и  
все птицы летели за ней.

И в осени этой таинственной,  
с плывущим по ней кораблем,  
для встречи с той самой, единственной,  
наверно, на свете живем.

\* \* \*

Как быстро закончилось лето,  
как быстро проносится жизнь...  
Жаль, нет проездного билета.  
Не крикнет никто: «Пристегнись!»

В полночный гипноз полнолуныя  
вползает гадюка-беда,  
туда, где не злая колдунья  
тебе ворожила всегда.

Теперь, как завзятая лгунья,  
прикрыв ядовитый укус,  
в беспамятстве шепчет колдунья:  
«Судьбу намотай ты на ус!»

Клубок неудачи намотан,  
размотан удачи клубок.  
Обычная, в общем,  
забота –  
когда ты хотел, но не смог.

И, дамой довольно капризной,  
судьба в закоулки ведет.  
Там правят налетчики тризну  
и быстро возьмут в оборот,  
хотя ты не верил в приметы  
и долго мечтал пировать...

Так быстро закончилось лето,  
что осень бы не прозевать.

## Юрий ПРОНИН

Родился в 1956 году в городе Горьком. Учился в Горьковском радиотехническом техникуме, после службы в армии работал регулировщиком радиоаппаратуры, экспедитором, заведовал складом оптовых продаж.

Поэт, бард, сочинитель и исполнитель собственных песен, автор музыки к песням на стихи российских и нижегородских поэтов. Автор трех поэтических книг, составитель сборника духовной поэзии «Возрождение» (Н. Новгород, 2015).

Живет в Нижнем Новгороде.

## ГОСПОДЬ БЕССТРАШНЫМ ПРИГОТОВИЛ ДЕЛО...

\* \* \*

Бог может и простить, и наказать,  
И будут правы все Его деянья.  
Он ждёт от нас молитв и покаянья,  
Чтоб обрели мы мир и благодать.

О чувствах, вере, долге и страстях  
Спроси ребят, тех, что живут в окопах.  
Там атеистов нет.  
Там грохот, копоть.  
Там каждый миг  
Душа, как на сносях.

И что душа?  
Вот вырвется из тела...  
Куда, зачем?  
Но это – не конец.  
Господь бесстрашным приготовил дело:  
Им передал терновый свой венец.

\* \* \*

Взгляд твой, как с иконы, чуть печален,  
Или, может, чем-то удивлён.  
Знаешь, я порой бывал отчаян,  
Думая, что на века влюблён.

В тихой, ласковой твоей грустинке  
Видится мне мирозданья суть.

Так легко, почти по-матерински,  
Можешь ты слезу мою смахнуть,

Что невольно наполняет мысли  
Памятью невозвратимых лет.  
Но с тобой и ныне я и присно  
Верю во спасение от бед.

## Любовь

Постель ещё хранит твоё тепло.  
На улице рассветный час.  
Прохладно.  
Мне как-то несказанно повезло  
Любить и верить.  
Просто.  
Безоглядно.  
Как вязко, трудно пишутся стихи  
В минуты радости и равновесья...  
Я ухажу тропинкой вдоль реки  
В берёзовую зелень мелколесья.  
Здесь звоны комаров и сень веков  
Отодвигают страхи смертной муки.  
Я знаю: если где-то есть Любовь,  
То у неё –  
твои глаза и руки.

## Октябрь

Октябрь...  
Дождевая завеса  
Ещё у тебя впереди.  
Пойду, прогуляюсь по лесу –  
Его не избили дожди.  
Прохладная, волглая прелесть,  
Грибной источается дух.  
Какая осенняя прелесть  
Для нас – стариков и старух.  
Пожили мы, в общем, немало.  
Увидели то, что смогли.  
И ныне нас гонит усталость  
Почувствовать сырость земли,  
В которую ляжем, конечно,  
Ну кто ж избежать того смог?  
И тянет, и тянет нас вечность  
Ступить на последний порог...

\* \* \*

Мудрости дай мне, пожалуйста, Господи!  
Чтобы не злиться на близких людей.  
Мудрости дай не кусать свои локти,  
Смелости дай, чтобы старость терпеть.

Смелости дай, чтоб болезням не сдаться,  
Здоровья дай, чтоб молиться и петь,  
Чтобы к иконам Твоим прикасаться  
Мог я заслуженно право иметь.

\* \* \*

Ну что ж ты грустен, мил дружок?  
Глядишь, как падает снежок.  
Он чист и бел, как школьный мел,  
По-детски робок и несмел.  
Твою не школьную тетрадь  
Опять он хочет расписать  
По белому белым-бело,  
Чтоб чисто стало и светло.  
Чтоб только так и быть могло,  
Чтоб на сердце твоё легло  
Всем неприятностям назло  
Большое облако любви.  
Ты как его не назови,  
Не перепутаешь ни с чем.  
Оно укроет от проблем.  
Его прозрачный ясный дым  
И молодым, и нам, седым,  
Позволит мысленно прозреть,  
Слезу утраты утереть,  
Глядеть спокойно и умно  
В открывшееся в нём окно.

## Из будущих книг

### Николай БЛОХИН

Журналист, редактор, публицист, литературовед. Родился в 1952 году в селе Калюжном Ставропольского края. Окончил отделение журналистики Ростовского-на-Дону государственного университета. Работал в редакциях газет и журналов. Член редколлегии альманаха «Литературное Ставрополье».

Автор тридцати книг, среди них – «Изгнание Параджанова», «Михаил Булгаков на Кавказе». Публиковался во многих литературно-художественных журналах. Лауреат Международного литературного конкурса «Серебряный голубь России» (2019), премии журнала «Сура» в номинации «Литературное краеведение» (2022). Живет в Ставрополе.

### ПОЕЗДКА В ТУАПСЕ

Очерк из книги «Возвращение Мастера»

#### I

Однажды, проснувшись ночью от шума дождя, я сорвался и стал собираться в дорогу. Потом, уже в пути, я не раз думал, стоило ли ехать в Туапсе, где меня никто не ждёт. Человека, который меня интересовал, давно уж нет на свете. Прошло более тридцати лет, как она умерла.

У меня не было точного плана, что я хотел найти в небольшом приморском городе, где она прожила большую часть своей жизни без него. И где она ни на день не забывала о нём. С ним она прожила, пожалуй, самые трудные годы рождения и становления его как писателя. Именно она спасла его для русской литературы.

Но и он тоже помнил её до последнего часа. Она всегда была рядом с ним. В своём главном «закатном» романе он дал главной его героине отчество Николаевна, а имя – Маргарита.

Женщину, могилу которой я хотел найти в Туапсе, со дня рождения звали Татьяна Николаевна Лаппа. Фамилия досталась ей от отца, Николай Николаевич Лаппа – столбовой дворянин, действительный статский советник, управляющий казённой палатой в Рязани родился в 1868 году. Был женат на Евгении Викторовне Пахотинской (Лаппа). От этого брака родились дети Евгений, Татьяна, София, Константин, Николай, Владимир.

Их дочь Татьяна Николаевна родилась 23 ноября (5 декабря) 1892 года там же, в Рязани. Это подлинная дата её рождения. Она установлена по церковной записи её брака с Михаилом Булгаковым.

В замужестве – с апреля 1913-го по апрель 1924-го – Татьяна Николаевна была Булгаковой. С Михаилом Булгаковым, киевским гимназистом, Татьяна Лаппа познакомилась летом 1908 года. Приехала на каникулы в Киев из Саратова, куда по службе перевели её отца, к своей тётке. Сестра отца Софья Николаевна Лаппа (в замужестве Давидович) была моложе Николая Николаевича на одиннадцать лет, родилась в 1879 году. Тётка, как рассказывала Татьяна Николаевна, жила на Большой Житомирской, а семья Булгаковых на Андреевском спуске. Софья Николаевна служила вместе с Варварой Михайловной, матерью Михаила Булгакова, во Фрёбелевском институте, организованном в том же 1908 году. Институт готовил педагогов начальной школы. Варвара Михайловна Булгакова (Покровская) заведовала кассой в этом институте. Афанасия Ивановича Булгакова, статского советника, профессора Киевской духовной академии, отца Михаила Булгакова, не было в живых, его похоронили в 1907 году. Тася познакомилась с Михаилом, когда у Булгаковых ещё был траур по отцу.

Татьяна Николаевна вспоминала, как она впервые увидела Михаила Булгакова: «Когда Булгаковы были на даче в Буче, а дети задерживались в гимназии, они оставались ночевать у тёти Сони. Михаил как раз пришёл с экзамена. Очень довольный. Пятёрку, кажется, получил. И вот тётя Соня нас познакомила и говорит: “Миша, ты покажи Тане город”. Она меня “Таней” называла, а все остальные – “Тасей”».

Михаил показывал Тасе город, ходил с ней в Купеческий сад: «Там играл оркестр, а он очень любил симфонические концерты. Из “Руслана и Людмилы” часто играли, “Вторую венгерскую рапсодию” Листа. Он потом играл её на рояле, хотя никогда не учился музыке. О музыке мы много разговаривали. Михаил всё время удивлялся, как много я знаю опер». Несмотря на то что семья Булгаковых проводила лето в Буче, Михаил находил время и приезжал в Киев, чтобы погулять с Тасей, сходить в Лавру, поплавать на лодке по Днепру, пообедать в небольшом ресторанчике... Такими были их первое знакомство и первое лето.

Михаил и Тася договорились встретиться в следующем году. Но встреча не состоялась: родители отправили Тасю в Москву, к «маминой» бабушке, а Михаил провёл лето в Буче. Осенью 1909 года Тася продолжила учёбу в Саратовской гимназии, Михаил поступил на первый курс Императорского университета св. Владимира. Продолжали писать друг другу письма. Нередко родители перехватывали письма влюблённых. Родители Таси и мать Михаила были против их отношений, настаивали на том, что сначала надо получить образование. В 1911 году Тася окончила гимназию, а Михаил не сдал экзамены за второй курс медицинского факультета и остался на второй год. «...учёбу он тогда совсем забросил», – вспоминала Татьяна Николаевна.

После окончания гимназии Тася изъявила желание продолжить учёбу в Киеве, но родители, сообразив, зачем дочь рвётся в этот город, не согласились и предложили ей поехать в Париж. Женю, брата Таси, 1893 года рождения, тем летом отправили со знакомой француженкой в Париж на учёбу к художнику Пикассо. Евгений Николаевич Лаппа, брат Татьяны Николаевны, умер очень рано, в 1917 году. Ему было от роду двадцать четыре года.

## II

Тася хотела к Булгакову. Отец Таси предложил компромисс: отпустил её на лето в Киев с условием, что осенью она вернётся в Саратов и поступит на работу. Тася работала классной надзирательницей в реальном училище. Получала жалованье двадцать пять рублей в месяц. На Рождество в Саратов впервые приехал Михаил. Почувствовав, что молодые настроены решительно, родители Таси сдались и приняли Михаила хорошо.

А в следующем, 1912 году Тася подала заявление о приёме на Высшие женские курсы. Её зачислили на историко-филологическое отделение. На студенческих каникулах Михаил Булгаков служил контролёром на дачных поездках, потом поехал в Саратов к Тасе.

Из дневника Надежды Афанасьевны, сестры Михаила Булгакова: «Мишино увлечение Тасей и его решение жениться на ней. Он всё время стремится в Саратов, где она живёт, забросил занятия в университете, не перешёл на 3-й курс». В Киев Михаил и Тася приехали вместе в августе 1912 года.

Осенью Михаил и Тася сняли комнату недалеко от тётки Сони. Потом перебрались в дом № 25 по Рейтарской улице. В доме у тётки Сони, как рассказывала Татьяна Николаевна, было «слишком шумно и беспокойно». Михаил вернулся в университет. Он всерьёз взялся за учёбу. Тася ходила на лекции. Через полгода Татьяна Николаевна бросила Высшие женские курсы. Своё решение она объяснила просто: «Во-первых, мне это не нужно было, во-вторых, надо было платить деньги». Из пятидесяти рублей – суммы по тем временам вполне достойной, которые Татьяне Николаевне присылал отец Николай Николаевич, приходилось платить за учёбу, за снимаемую комнату, оставлять часть денег на обед. Свободных денег было немного, поэтому Михаил после занятий в университете подрабатывал, давал уроки.

Однажды Татьяна Николаевна получила записку от Варвары Михайловны. В записке содержалась просьба «зайти и поговорить». При встрече Варвара Михайловна спросила Татьяну Николаевну: «Тася, вы собираетесь выходить замуж за Михаила? Я вам не советую... Как вы собираетесь жить? Это совсем не просто – семейная жизнь. Ему надо учиться... Я вам не советую этого делать...»

Татьяна Николаевна к тому времени была беременна, но она промолчала об этом и ничего не сказала Варваре Михайловне. А с Михаилом у неё состоялся разговор. Выслушав Тасю, Михаил сказал: «Ну, мало ли, что она не хочет, но всё равно я должен жениться».

В апреле 1913 года Михаил Булгаков и Татьяна Лаппа зарегистрировали свой брак. Из архивного документа Киевской духовной консистории известно, что Михаил Афанасьевич Булгаков – студент Киевского Императорского университета, двадцати двух лет от роду, вступил в брак 26 апреля 1913 года (по старому стилю) с дочерью действительного статского советника Николая Николаевича Лаппа – Татьяной, девицей, двадцати одного года от роду. Таинство брака в Киево-Подольской Добро-Николаевской церкви совершил священник Александр Александрович Глаголев. Брак был заключён несмотря на то, что в те времена действовал закон Св. Синода, запрещавший священникам «венчать студентов Университета до их окончания курса обучения». Правда, не все университеты поддерживали подобное ограничение прав студентов.

Михаил Булгаков успешно сдал все экзамены за второй курс, перешёл на следующий, и тем самым вопрос разрешился сам собой: он получил благословение на брак и от своей матери, и от родителей Татьяны Николаевны, и от университета.

Поручителями выступили друзья Борис Богданов, сидевший с Михаилом Булгаковым на одной парте несколько лет, Платон Петрович Гдешинский, студент Константин Петрович Булгаков и ученик семинарии Александр Петрович Гдешинский. На бракосочетание Михаила и Таси из Саратова приехала её мать Евгения Викторовна Лаппа (Пахотинская). В доме на Андреевском спуске, 13, где Булгаковы снимали второй этаж у инженера Василия Павловича Листовниченко, прошёл свадебный обед. Потом были чай, фрукты, конфеты. «Свадьба вышла очень приличная», – писала второго мая 1913 года Варвара Михайловна дочери Наде в Москву. Так началась совместная супружеская жизнь Михаила и Татьяны Булгаковых. После свадьбы молодожёны поселились в доме на Андреевском спуске, 13. Осенью они переехали в дом на Андреевском спуске, 38, который принадлежал доктору Ивану Павловичу Воскресенскому, второму супругу Варвары Михайловны. В этом доме освободилась комната, и он предложил поселиться в ней Михаилу и Тасе.

Так Татьяна Николаевна оказалась в большой семье Булгаковых. В семье Булгаковых было семеро детей: старший Михаил (1891–1940), затем Вера (1892–1972), Надежда (1893–1971), Варвара (1895–1956), Николай (1898–1966), Иван (1900–1969) и Елена (1902–1954). В семье ещё жили двоюродные братья Михаила Константин Петрович и Николай Петрович, отец которых Пётр Афанасьевич Булгаков служил священником в Японии.

Как вспоминала Татьяна Николаевна, в семье Булгаковых жили дружно, вместе отдыхали на даче, вместе что-то делали: сажали цветы, читали, устраивали оркестр, разыгрывали пьесу... Сёстры и братья Булгакова относились к Тасе вполне благосклонно.

### III

Женитьба положительно повлияла на Михаила Булгакова.

«...Михаил стал очень серьёзно заниматься. Интересовался всеми медицинскими вопросами, много книг разных брал, всё время ходил в библиотеку. В какую? Там, в центре где-то, городская, – рассказывала Татьяна Николаевна. – А ещё он ходил в библиотеку Духовной семинарии на Подоле...»

По воспоминаниям Татьяны Николаевны, студент-медик Михаил Булгаков имел скромные материальные возможности и не мог позволить себе покупать дорогостоящую медицинскую литературу. Книги для занятий по медицине он брал в городской библиотеке, которая находилась на Царской площади (ныне Европейская площадь. – *Прим. авт.*). Правда, в библиотеке Литературно-мемориального дома-музея М.А. Булгакова в Киеве некоторые из купленных тогда книг с надписями их владельца сохранились. Так, на книге Э. Канторовича «Сборник рецептов для клиники и практики с предисловием проф. Г. Сенатора» (3-е испр. изд. Пг.; Киев: Сотрудник, 1915) стоит штамп «Докторь М. Булгаковъ». Такой же штамп я видел и на книге М. Шнирера «Терапевтический справочник. Сборник рецептов с диагностическими и терапевтическими указаниями» (5-е испр. изд. Пг.; Киев: Сотрудник, 1916).

Эта книга представлена на выставке в киевском «Музее одной улицы» на Андреевском спуске. Две книги со штампом на форзаце «Докторъ М. Булгаковъ» – «Курс акушерства для учащихся» А. Матвеева (Киев, 1856) и «Vademecum der Geburtshilfe», Справочник по акушерству М. Zange (Wurzburg, 1904) – хранятся в рукописном отделе Российской государственной библиотеки в Москве.

Библиотека Духовной семинарии на Подоле и сегодня существует. Я побывал в ней впервые в восьмидесятых годах, и она произвела на меня гнетущее впечатление. Старое здание, старые читальные залы, старая мебель... Позднее, в 2010 году, я приехал снова в Киев и не узнал его старейшую библиотеку. В Большом читальном зале в пору снимать одну из серий фильма «Гарри Поттер».

«Михаил посещал все занятия, все вот эти... в анатомическом театре. Очень аккуратно посещал. Я следила, чтобы он не пропускал. Когда он там где-то дежурил, приносила ему еду. Дома занималась хозяйством, покупала продукты, готовила, убирала. Надо было всё-таки о нём как-то заботиться», – вспоминала Татьяна Николаевна. В свободное время Михаил и Тася ходили в кино, смотрели фильмы немого кино «Бэла» по Лермонтову, «Домик в Коломне» по Пушкину, «Ночь перед Рождеством» по Гоголю, юбилейную картину «Воцарение дома Романовых», навещали в гости к Булгаковым, к его друзьям. К Михаилу и Тасе тоже приходили гости. Борис Богданов обязательно приносил коробку конфет, отдаст через Михаила для Таси, и с Михаилом уходил играть в бильярд. В доме бывали братья Александр и Платон Гдешинские, Николай и Юрий Гладыревские, Николай и Валентина Сынгаевские. По-разному сложились судьбы знакомых и друзей Михаила и Татьяны Булгаковых. Платон Гдешинский погиб на Первой мировой войне, Борис Богданов застрелился, Николай Гладыревский уехал в Москву и поступил в медицинский институт, его брат Юрий эмигрировал...

Имена почти всех друзей юности Михаил Булгаков увековечил в ранних рассказах, в романе «Белая гвардия». Вот как описывала Татьяна Николаевна Лаппа одного из героев романа: «...Мышлаевский – это Коля Сынгаевский... Он был очень красивый... Высокий, худой... голова у него была небольшая... маловата для его фигуры... Глаза, правда, разного цвета, но глаза прекрасные». А о другом литературном герое говорила: «Шервинский – это брат Николая, Юрий Гладыревский. Кажется, Юрий. Весельчак, брехал всё время, анекдоты рассказывал. Он был у Скоропадского...»

#### IV

Лето тринадцатого года – последнее мирное лето – Михаил и Тася прожили на даче в Буче, под Киевом. Осенью, как обычно, начались занятия в университете. На Рождество Михаил и Тася собирались съездить в Саратов, к её родителям. Но поехала одна Тася. На вокзале, провожая Тасю, Михаил сказал: «Поезжай одна, а я буду сидеть и заниматься. Никуда без тебя ходить не буду. Даже бриться не буду. Только долго не задерживайся. Неделя-две и достаточно».

Он и правда не брился. Возвратившись из Саратова в Киев, Тася застала Михаила со смешной рыжей бородёнкой: «Он тут же побрился, и мы пошли к Варваре Михайловне». По дороге Тася рассказала, как её приняли родители, как накупили ей всяких хороших вещей: пальто,

платье, шляпку. Мать подарила дочери золотую цепь. Она была очень длинной и с палец толщиной. Отец привёз её для Таси из-за границы. Потом эта цепь будет не раз фигурировать в воспоминаниях Татьяны Николаевны.

Тася пробыла у родных с неделю или две. В дорогу родители дали ей корзинку с едой, вином и ветчиной. По пути в Киев Тася сделала две пересадки.

Тринадцатый год запомнился ещё и другими событиями: застрелился Константин Николаевич Лаппа, родной брат Таси, оставивший записку, что «потерял веру какую-то... в чём? что? Никто ничего не мог понять». Тасиному брату было тринадцать лет.

В тринадцатом году Михаил Булгаков написал рассказ «Огненный змей», который он читал сестре Наде. Написал после того, как сам попробовал на себе кокаин, после которого Михаилу сразу захотелось спать. Позднее эти впечатления отразились в рассказах «Морфий», «Записки юного врача» и в повести «Роковые яйца».

Как началась Первая мировая война, Тася не запомнила. Она помнила лишь события, связанные с нею и Михаилом. После окончания третьего курса медицинского факультета летом четырнадцатого года Тася и Михаил подались в Саратов, куда уже стали поступать первые раненые. Евгения Викторовна Лаппа, мать Таси, занималась организацией госпиталя на общественные средства.

По воспоминаниям Татьяны Николаевны, медицинского персонала в городе не хватало, и Евгения Викторовна попросила Михаила немного помочь. Он ежедневно уходил в госпиталь, делал перевязки. Работал, как правило, по нескольку часов. Однажды в госпиталь пришёл фотограф и сделал фотосъёмку. На фотографии он запечатлел большую группу работников госпиталя, среди которых был и Михаил Булгаков. К сожалению, эта фотография в семейном архиве Булгаковых не сохранилась.

Наступало ужасное время. После возвращения в Киев Тася работала в госпитале: тащила два огромных ведра с горячей пищей на пятый этаж и кормила раненых, писала письма. «Возвращалась домой совершенно измученная. Михаил посмотрел, посмотрел и говорит: Хватит, поработала», – вспоминала Татьяна Николаевна.

В мае 1916 года Михаил Булгаков сдал экзамены в университете и получил диплом лекаря с отличием. Через Общество Красного Креста он устроился на работу и получил направление в Каменец-Подольский госпиталь. Потом работал в госпитале в Черновицах (Черновцах). Тася помогала Михаилу во время операций. Через месяц Михаила Булгакова вызвали в Москву за новым назначением.

## V

В Москве Михаил и Тася жили в Обуховом переулке, у доктора Николая Михайловича Покровского, брата матери Варвары Михайловны, того самого, который послужил прообразом профессора Филиппа Филипповича Преображенского в повести «Собачье сердце». Из Москвы Михаил и Тася поехали в Смоленск, затем в Сычёвку, в земскую управу, а оттуда, в конце сентября 1916 года, добрались до земской больницы Николаевского, где Булгаков состоял в должности и врача, и заведующего.

Место оказалось унылое, как вспоминала Татьяна Николаевна, голое, в стороне от деревни, больница с ободраным фасадом, около неё

флигель для персонала и дом врача: на первом этаже кухня, столовая, большая приёмная, туалет, а наверху библиотека, кабинет и спальня. В стороне баня, которую топили по-чёрному.

В рассказе «Полотенце с петухом» Михаил Булгаков так описывал свои первые впечатления от встречи с Никольской земской больницей: «Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небелёные стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию – двухэтажный очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул... Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Как писал Булгаков, в земской больнице было всё: и инструментарий богатейший, и лекарства разные в аптеке, на полках стояли даже патентованные заграничные средства, о которых он никогда не слышал.

«Принимал он очень много, – рассказывала Татьяна Николаевна. – Знаете, как пойдёт утром... не помню, с которого часа, не помню даже, чай ли пили, ели ли чего... И, значит, идёт принимать. Потом я что-то готовила, какой-то обед, он приходил, наскоро обедал и до самого вечера принимал, покамест примет всех».

В рассказе «Вьюга» Михаил Булгаков писал: «Ко мне на приём по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика – жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут... пять! Пятьсот минут – восемь часов двадцать минут».

Кроме приёма, на Булгакове ещё числилось стационарное отделение на тридцать человек. Он ведь и операции делал. Во время одной такой операции заразился дифтеритом. Решил сам себе сделать прививку. Татьяна Николаевна предупредила Михаила о последствиях, что у него губы и лицо распухнут, будет страшный зуд в руках и ногах. Но Булгаков всё же сделал прививку. Чтобы избавиться от боли и зуда, попросил медсестру ввести ему морфий. И пошло, и поехало. Татьяне Николаевне пришлось спасать его от морфинизма. Этот печальный опыт Булгаков описал в рассказах «Записки юного врача», «Морфий», в повести «Роковые яйца».

Некоторое время Булгаковы жили в Вязьме. В те времена это небольшой захолустный город. От дома, где у Михаила Афанасьевича и Татьяны Николаевны было две комнаты: столовая и спальня, до больницы было порядочно. Аптека на краю города. В Вязьме Булгаковых застали октябрьские революционные события. «Недавно в поездке в Москву и Саратов, – писал тридцать первого декабря 1917 года Михаил Булгаков сестре Надежде Афанасьевне Земской, – мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть... Я видел, как толпы бьют стёкла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве. Видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров...»

## VI

О революции в памяти Татьяны Николаевны ничего не осталось: ни митингов, ни бантов, ни разговоров. «Не помню я, не помню, – рассказывала Татьяна Николаевна литературоведу Леониду Паршину. – Ничего не могу сказать. Ничего абсолютно. Я только знаю морфий. Я бегала

с утра по всем аптекам в Вязьме, из одной аптеки в другую... Бегала в шубе, в валенках, искала ему морфий. Вот это я хорошо помню. А больше ни черта не помню...» Вид у Булгакова в те месяцы был «ужасный», «жалкий» и «несчастный». Михаил просил Татьяну Николаевну: «Ты только не отдавай меня в больницу». Татьяна Николаевна просила Михаила, «увещевала», «развлекала», «скандалила», «угovarивала» Михаила, «хотела всё бросить и уехать»... В конце концов он согласился, «поехал, похлопотал, и его освободили по болезни», сказали: «Хорошо, поезжайте в Киев». В феврале восемнадцатого Булгаковы возвратились в Киев. Возвратились через Москву. Другого пути не было.

«Мы ехали прекрасно, – рассказывала Татьяна Николаевна литературоведу Леониду Паршину, – в хорошем поезде, чуть ли не в международном вагоне. И питались прилично. Это Гирееву (автору книги “Михаил Булгаков на берегах Терека”. – *Прим. авт.*) так казалось: раз время такое тревожное, то и ехали плохо».

Время, действительно, было неподходящее. По условиям Брестского мира, подписанного третьего марта 1918 года, немцы заняли Киев. Булгаковы приехали в Киев, уже занятый немцами.

«Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни», – напишет Михаил Булгаков в романе «Белая гвардия».

Всё это время в Киеве Татьяна Николаевна была рядом с Михаилом Булгаковым. Она не бросила его и продолжала сражаться за него. Наотрез отказалась ходить по аптекам и доставать для него морфий, опиум. Булгаков и сам понимал, что так продолжаться дальше не может и постепенно преодолел зависимость. Редкий случай.

В Киеве Булгаковы жили там же, на Андреевском спуске, в доме 13. Михаил занимался частной практикой, Татьяна Николаевна помогала на приёме больных.

«Варвара Михайловна (мать Михаила Булгакова. – *Прим. авт.*) вскоре вышла замуж за Ивана Павловича Воскресенского и перешла с Лёлей жить к нему, на Андреевский, 38, – рассказывала Татьяна Николаевна литературоведу Леониду Паршину. – Варвара Михайловна отдала нам свою спальню, а в той комнате, где тётя Ириша с Лёлей раньше жили, над входом, там Михаил свой кабинет устроил для частной практики – он стал практиковать как венеролог. Тёти Ириши уже не было. То ли она умерла, то ли уехала куда-то. Нади тоже не было, она куда-то с мужем уехала, Андреем Земским. Вера была, Колька с Иваном были, Костя. Потом Варя приехала, Карум где-то пропал, потом тоже приехал... Карумы в той комнате, где девочки раньше жили. Мальчики в угловой. Вера в гостиной. Ещё одну комнату она какое-то время сдавала учителю одному, Младзиновскому, а потом в ней Лариосик жил».

По мнению литературоведа Леонида Паршина, квартира Турбиных – точная копия квартиры Булгаковых на Андреевском спуске, 13: «...комнаты были и распределены так же! «Столовая» – где столовая; «гостиная» – где гостиная раньше и комната Веры теперь; «кабинет Алексея» – где кабинет Михаила; «спальня Алексея» – где спальня Михаила и Таси; «комната Николки» – где комната братьев; «книжная», в которой поселили Лариосика Суржанского, – где комната,

в которой поселили Лариона Судзиловского; «комната Тальбергов» – комната Карумов».

Некоторые герои романа «Белая гвардия», как утверждала Татьяна Николаевна, списаны Михаилом Булгаковым с жильцов дома 13 по Андреевскому спуску. В романе – Алексеевский спуск, 13. И его жильцы: Алексей Васильевич Турбин, младший брат Николка Турбин, их сестра Елена Васильевна и её супруг Сергей Иванович Тальберг, Лариосик Суржанский, Виктор Викторович Мышлаевский, Леонид Юрьевич Шервинский и хозяин дома Василий (Василиса) Иванович Лисович с женой Вандой Михайловной.

Булгаковеды склонны считать, что прототипом Лисовича в романе «Белая гвардия» послужил Василий Павлович Листовнический – хозяин и владелец дома № 13 по Андреевскому спуску. Инна Васильевна Кончаковская – дочь Василия Павловича Листовнического, рассказывая об истории дома, который её отец приобрел после смерти Афанасия Ивановича Булгакова, исследователю Анатолию Петровичу Кончаковскому, автору книги «Киев Михаила Булгакова», говорила: «Я никогда не успокоюсь и не перестану утверждать, что в романе “Белая гвардия” выведен какой-то другой человек, но только не мой отец. Зачем понадобилось Мише в таком карикатурном виде показывать хозяина дома и назвать его ещё Василисой?»

## VII

Василий Павлович Листовнический родился в 1876 году. Известно, что происходил он из купеческой семьи: у его деда Василия Васильевича Листовнического была скобяная лавка и шорная торговля на Подоле. Своё положение в обществе внук Листовнического заработал своим трудом. В двадцать лет Василий Павлович окончил Киевское реальное училище, в двадцать пять – Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров. Техник строительного отделения губернского правления, архитектор Киевского учебного округа, в который входили пять губерний. Листовнический строил для них гимназии, училища. Преподавал в школе десятников и в художественном училище, руководил частной строительной конторой, в годы Первой мировой войны – полковник, хотя до этого не имел звания даже прапорщика, начальник III укрепрайона фронта, почётный гражданин Киева, дворянин – таков послужной список Листовнического. Под окнами «Дома Турбиных» стоял его служебный автомобиль марки «линкольн».

Но он ещё и автор нескольких книг, в частности, в 1906 году издал «Первоначальное, краткое пособие по печному делу», в 1907 году напечатал учебник «Курс строительной механики». По проекту Листовнического в Виннице в стиле модерн построен дом отставного капитана артиллерии Александра Четкова.

Дом по Андреевскому спуску, 13 Листовнический купил в 1909 году у купца З.П. Мировича. На верхнем этаже жила семья Булгаковых, на нижнем – семья Листовнического: сам Василий Иванович, его жена Ядвига Викторовна Крынская и их дочь Инна Васильевна.

Листовнический погиб в годы Гражданской войны: в ночь с 6 на 7 июня 1919 года его как богатого домовладельца арестовали чекисты, содержали в Лукьяновской тюрьме. По рассказам Инны Васильевны, его трижды выводили на расстрел. В августе 1919 года Листовнического отправили пароходом вверх по течению реки Припять в лагерь. Во время

побега с парохода в него стреляли. О побеге рассказал инженер Нивин, чудом оставшийся в живых. Скорее всего, считала дочь, Василий Павлович не доплыл до берега и утонул.

Михаил Булгаков не любил Листовниченко, нередко ссорился с ним, вывел его в романе «Белая гвардия» под фамилией Лисович:

Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улице квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими жёлтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна.

После выхода «Белой гвардии», как рассказывала Татьяна Николаевна, потомки Листовниченко Булгакова «ругали на чем свет стоит и проклинали». «За что?» – спросил литературовед Паршин. «А вот, он там про клад написал, так они всю стену разломали», – ответила Татьяна Николаевна, но клада не нашли.

Инна Васильевна Кончаковская жила в доме № 13 по Андреевскому спуску с 1909 по 1985 год. При ней, 8 февраля 1982 года на «Доме Турбиных» бригада мастеров установила памятную доску с барельефом и текстом: «В этом доме жил известный русский советский писатель Михаил Булгаков». По счастливому совпадению, бригадира мастеров звали Михаилом Афанасьевичем!

Знала ли историю «Дома Турбиных» Татьяна Николаевна? Кое-что знала и рассказывала приезжавшим к ней литературоведам.

### VIII

После развода с Булгаковым летом 1924 года Татьяна Николаевна опять стала Лаппа. Училась на курсах машинисток, шила на заказ, носила кирпичи на стройке, выдавала инструмент, получила профсоюзный билет, дежурила в амбулатории, работала в регистратуре... В 1933 году встретила Александра Павловича Крешкова и, выйдя за него замуж, уехала с ним в Сибирь, в Иркутскую область. Каждый из них оставался на своей фамилии. Крешков работал педиатром в больнице города Черемхово, в ста километрах от Иркутска. Крешков устроил Татьяну Николаевну в регистратуру поликлиники. Но через каждые шесть месяцев она возвращалась в Москву. Чтобы комнату не потерять, по два-три месяца жила в столице.

Крешков, по воспоминаниям Татьяны Николаевны, ревновал её к Михаилу Булгакову:

Однажды, когда я ездила к сестре, Крешков открыл стол и всё, что было связано с Булгаковым, уничтожил. Документы, фотографии... всё. А в 1940 году я должна была поехать в Москву в марте, но установилась ужасная погода, решила ехать в апреле. И вдруг мне Крешков газету показывает – Булгаков скончался. Приехала, пришла к Лёле. Она мне всё рассказала, и что он меня звал перед смертью... Конечно, я пришла бы. Страшно переживала тогда. На могилу сходила. Потом мы собрались у Лёли. Надя, Вера была, Варя приехала. Елены Сергеев-

ны не было. У неё с Надей какие-то трения происходили. Посидели, помянули. В стороне там маска его посмертная лежала, совершенно на него не похожа... Вот и всё.

В Великую Отечественную войну Татьяна Николаевна оставалась в Иркутской области. Крешкова призвали на фронт. В сорок пятом он вернулся с войны не один, с другой женщиной. Татьяна Николаевна переехала с матерью Евгенией Викторовной в Харьков, затем в Москву, работала библиотекарем.

В 1947 году Татьяна Николаевна вышла замуж за адвоката Давида Александровича Кисельгофа. В том же сорок седьмом он привёз её в Туапсе. Может быть, поэтому её так долго разыскивали булгаковеды. Но не только поэтому: после развода Булгаков попросил Татьяну Николаевну никогда никому ничего не рассказывать о нём. Она и молчала, много лет никому не рассказывала, что была его женой.

## IX

Приехав впервые в Туапсе, я повторил путь, которым прошли до меня все, кто приезжал к ней поговорить, – Мариэтта Омаровна Чудакова, Лидия Марковна Яновская, Леонид Константинович Паршин... Чудакова встречалась с Татьяной Николаевной в июне 1970 года. К её визиту Татьяна Николаевна отнеслась настороженно. Мариэтта Омаровна и не торопила её, ждала. У восьмидесятитрёхлетней Татьяны Николаевны – уже не Лаппа и не Булгаковой, а Кисельгоф – Яновская побывала в апреле 1975 года и она была первым исследователем, которому удалось её разговорить.

Прочитав документальную повесть «Михаил Булгаков на берегах Терека», в ноябре 1980 года Татьяна Николаевна дала о себе знать её автору – литературоведу из Владикавказа Девлету Гирееву. Его повесть была первой изданной в СССР книгой о Михаиле Булгакове. Девлет Азаматович извинялся за неточности в повести, писал, что в течение ряда лет он делал попытки найти её, но никто из знакомых булгаковедов не помог ему в поисках. При личных встречах говорили, что не знают адреса, или что Татьяна Николаевна не отвечает на письма, или что её уже нет в живых. Девлет Азаматович Гиреев писал ей письма на протяжении 1980–1981 годов. Очень хотел встретиться с ней, но не довелось: в 1981 году Гиреев погиб в автомобильной катастрофе.

Леонид Паршин записал разговор с Татьяной Николаевной на магнитофон в последний год её жизни – в мае 1981 года. Расшифровал записи и заверил их у нотариуса.

Я побывал возле дома № 6 по улице Ленина, в шестой квартире которого Татьяна Николаевна жила с 1947 по 1982 год. Прогулялся по набережной, по которой Татьяна Николаевна некогда совершала прогулки. Заглянул в местный историко-краеведческий музей обороны города, побывал в приёмной депутата Государственной Думы Российской Федерации: я слышал, что его жена занималась восстановлением могилы Татьяны Николаевны...

Её могила на туапсинском кладбище ничем не выделяется среди других надгробий. Она расположена справа от каменистой дороги, ведущей в горы. Я поднялся к могиле по белым ступенькам, на одной из которых прочитал: «От благодарных потомков». Чёрный мраморный крест, у подножия которого выбита надпись, что здесь покоится

Лаппа-Кисельгоф Татьяна Николаевна. Я расстроился: что и говорить, увы, но реалии нашей действительности таковы, что многим ни о чём не говорит эта фамилия. С каким же удивлением я прочитал на могильной плите: «...Таська спасает мне массу энергии и сил. Михаил Булгаков ноябрь 1921 год». Я знал эти строки: они из письма Булгакова матери, отправленном из Москвы в Киев в ноябре 1921 года. Ну, хоть что-то осталось, связывающее её с писателем, имя которого сегодня знает весь мир.

И всё-таки стоит прочитать наиболее полную часть письма:

Мы с Таськой уже кое-как едим, запаслись картошкой, она починила туфли, начинаем покупать дрова. Бедной Таське приходится изощряться изо всех сил, чтобы молоть рожь на обухе и готовить изо всякой ерунды обеда. Но она молодец! Бьёмся оба как рыба об лед. Я мечтаю только об одном: пережить зиму... Таськина помощь мне не поддаётся учету... она спасает мне массу энергии и сил. Мечтаю добыть Татьяне тёплую обувь. У неё ни черта нет, кроме туфель...

Когда стали публиковать произведения Михаила Булгакова в журналах, выходит одна за другой его книги, Татьяна Николаевна приходила в Морскую библиотеку Туапсе, брала на дом и прочитывали их от корки до корки.

## Х

В Туапсе я познакомился с журналистом газеты «Туапсинские вести» Светланой Светловой и Эльзой Шамильевной Берестовской, в прошлом работником библиотеки Дворца культуры моряков.

– В семидесятых годах в Туапсе немногие знали, что в нашем городе живёт первая жена Михаила Булгакова, – рассказывала Берестовская. – Даже я, библиотекарь, узнала об этом случайно. Татьяна Николаевна Кисельгоф была нашим постоянным читателем. Это была величественная дама, как из девятнадцатого века: пожилая, статная и недоступная. Я робела перед ней, но иногда мы разговаривали. Татьяна Николаевна интересовалась современными литературными журналами, искала в них новые публикации произведений Михаила Булгакова. Так, ею были прочитаны первые публикации «Театрального романа» под заглавием «Записки покойника» в журнале «Новый мир», романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». В шестидесятые годы стали выходить книги Михаила Булгакова. В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» увидела свет «Жизнь господина де Мольера». Сборник «Пьесы» напечатан в издательстве «Искусство». В сборнике опубликованы пьесы «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош» («Мольер»), «Последние дни» («Пушкин»), «Дон Кихот». В семидесятом году на экраны страны вышел двухсерийный фильм «Бег»...

Неожиданностью для неё стала книга Валентина Катаева «Алмазный мой венец», где писатель вспомнил и о ней: «Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина... Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей её мужа, безалаберных холостяков». И чуть выше посвятил ей и Михаилу Булгакову ещё несколько строк: «Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател... он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прынелевым верхом... вставил в глаз монокль,

развёлся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на... называл её весьма великосветски на английский лад Напси».

Однажды, записывая в формуляр свежий номер журнала «Москва», сказала: жаль, что Михаил Афанасьевич не дожил до наших дней. Его произведения издаются большими тиражами, по пьесе «Бег» поставлен фильм. Он был бы рад. «Нечему радоваться! Там ничего от Булгакова не осталось!» – её ответ буквально огорошил меня. И я довольно резко ей сказала: «Ну, знаете ли, не нам с вами судить, как он повёл бы себя». Татьяна Николаевна с достоинством ответила: «Уж вам точно не дано судить, а я имею на это право. Я была его женой». У меня мелькнула мысль, вот, мол, до чего может довести старого человека фантазия. И следующая мысль: «А вдруг это правда? Ведь бывают же случаи, когда знаменитости скрываются от людских взоров где-нибудь в глубинке».

Беру себя в руки. Успокаиваюсь. А что мне мешает проводить Татьяну Николаевну до дома, когда у меня будет ещё шанс поговорить по душам? Я отпрашиваюсь у заведующей библиотеки, беру у Татьяны Николаевны авоську с продуктами, и мы вместе выходим на улицу. Я не знала, как продолжить начатый разговор. Беру Татьяну Николаевну под руку: на улице был сильный гололёд.

«Татьяна Николаевна, вы хотите сказать, что женщина, которую я сейчас веду под руку, действительно была женой Михаила Булгакова?» – стараюсь говорить как можно мягче.

«Да, – ответила она сразу. – А почему это так вас удивило?»

«В нашем маленьком городке мы, библиотечные работники, обычно всех своих читателей довольно хорошо знаем. А уж известных людей и подавно, особенно из литературных кругов. Мы стараемся организовывать встречи с такими людьми. Хотите я вам устрою такую встречу с читателями?» – предложила я с надеждой, что Татьяна Николаевна согласится.

«Боже сохрани! Никаких встреч!» – резко ответила она.

«Хорошо, – соглашаюсь я. – Встречи делать не будем».

Помолчав, спрашиваю: «Вы хоть какие-то записи ведёте? Всё, что вспоминаете, записываете?»

«Ничего я не записываю, я всё и так помню», – разговор что-то не получался.

«Но, согласитесь, Татьяна Николаевна, вы фактически себе уже не принадлежите. Вы – достояние истории. И по большому счёту не имеете права нести в себе груз ваших знаний о Михаиле Булгакове, поделитесь им, пожалуйста, с нами, читателями и почитателями большого русского писателя. Ваши свидетельства о жизни Михаила Афанасьевича бесценны», – Татьяна Николаевна слушает меня, не возражает, но ничего и не говорит.

Помолчав, спросила, знакомо ли мне имя Мариэтты Чудаковой? Я ответила, что знаю её как литературного критика.

«Я с ней переписываюсь. Она ведёт архив Михаила Булгакова», – услышала я. Новость обрадовала меня. Возможно, что в скором времени мы прочтём что-то о Михаиле Булгакове. Книга Мариэтты Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова» увидела свет в 1988 году.

Спросила я и о личной жизни с Булгаковым. На вопрос, почему они расстались, Татьяна Николаевна, сославшись на свою молодость, неопытность и неумение прощать, сказала: «Последней каплей стало посвящение романа “Белая гвардия” не мне, а Белозёрской, ведь он обещал его мне посвятить».

После разговора с Татьяной Николаевной, как вспоминала Берестовская, она испытала восторг от прикосновения к чему-то возвышенному, чистому, необычному и одновременно ужас от страшной безысходности, беспомощности и неспособности чем-то помочь этой статной и гордой даме.

Позднее Эльза Шамильевна узнала, что после смерти Давида Кисельгофа, последовавшей 2 марта 1974 года, Татьяне Николаевне назначили мизерную пенсию. Своей пенсии у неё не было. Подрабатывала она переплётным делом. И даже смогла из небольших доходов собрать какие-то деньги на свои похороны. Татьяна Николаевна погибла, ударившись виском о батарею отопления. У неё, по всей видимости, закружилась голова, и она упала. Это случилось 10 апреля 1982 года. Татьяна Николаевна прожила 89 лет 4 месяца 18 дней.

Я уезжал из Туапсе солнечным днём. Уезжал и думал о том, что женщина, которая спасла Михаила Булгакова для русской и мировой литературы, покоится здесь под именем Лаппа-Кисельгоф. Но разве это что-то меняет в биографии Татьяны Николаевны Булгаковой и Михаила Афанасьевича Булгакова...

## Евгения КОРЕШКОВА

Родилась в 1963 году в селе Владимирском Горьковской области. По образованию ветеринарный врач.

Автор ряда книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Живет в деревне Овсянка Нижегородской области.

## СЛЕД ЛАСКИ

### Фрагменты

*Автор благодарит моих военных консультантов:*

*Александра Хмурого, который прочитал черновик и дал честный отзыв.*

*Андрея Владимировича Загорцева, который меня ругательски ругал, но на вопросы отвечал.*

*Товарища Некто, который делился личными воспоминаниями разведчика, но был категорически против хоть какого-то упоминания о нем.*

*Особая благодарность Линчевскому Дмитрию Ивановичу. Он терпеливо меня выносил, указывал на дилетантские военные ошибки, тыкал носом в нестыковки и все равно верил в меня и в эту книгу.*

*Благодаря всему этому, хоть и через большой промежуток времени (2008–2009, 2024), получилось то, что получилось.*

Федорчук проследовал за новенькой снайпершей получать соответствующее оружие, хотя до этого никогда такого не делал.

Командира роты все еще глодал неумный червячок сомнения. (Дело ли он задумал?) До тех самых пор, пока Ольга не взяла в руки снайперку. И одного только ее машинального, не контролируемого поглаживающего движения кисти по ствольной накладке винтовки оказалось достаточным, чтоб понять – не ошибся. Так общаются с живым существом, не с вещью. Глаза девушки неосознанно сузились в серьезный прищур, взгляд поплыл, невольно уходя в себя и в неведомое. Все это длилось несколько секунд, а потом новенькая, в ответ на предложение расписаться, возмутилась.

– Подождите, я хоть посмотрю, что мне дают. Проверить нужно.

– А что тут проверять?

– Да все. Хоть ту же оптику. Маховички. Подсветку. Кстати, а батарейка где? Сразу давайте, чтобы потом не искать.

– Ишь, какие кадры пошли! Что дают, то и бери!

– Ага! Мне работать с ней потом... А, кстати, ночной прицел будет?

– Будет, будет, забирай... и чего придираешься? Винтовка в работе была. Видишь зарубки на прикладе? Аж целых семь штук.

Ольга повернула СВД посмотреть. Справа на прикладе старательно, каждая буква прорисована мелкими ровными ромбиками, было вырезано «Света» именно так, две первые буквы заглавные. Приклад и вправду был сделан из светлого дерева.

– Ну, что ж, Света так Света, – вслух согласилась Ольга и опять огладила винтовку. – Нет, я никакими зарубками приклад портить не собираюсь. На что же тогда потом винтовка похожа будет?

– А как считать будешь?

– Бухгалтера пусть считают, – проворчала девушка, продолжая настырно докапываться, – и снайперских патронов у вас, конечно же, нет? Тогда давайте ящик обыкновенных.

– Куда тебе столько?

– А я выберу что мне нужно.

– Чего их выбирать, не кольцо золотое. Все они одинаковые.

– Не все. Где забоинка на гильзе, где коррозия, где пуля косо посаженная. Так она и полетит так же косо. Это автоматчикам все равно: полметра вправо, полметра влево... А мне еще целиться.

– Глянь, ты, какая фифа! Трассера нужны?

– Да ну их, ствол только портить! Бронебойные нужны, немного. Федорчук стоял, слушал и про себя улыбался.

<...>

Напряжение чувствовалось еще с самого раннего утра. Что-то было не так. Явно не так. Слишком хмурые лица у штабных, слишком шустро сновали по части начальники, начиная от взводных. Причина выяснилась чуть позднее: вчера в часть пытались самовольно проехать журналисты, но не доехали. Их «Волгу» в последний раз видели проходящей через блокпост в пятнадцати километрах севернее. Там, чуть дальше, развилка: одна дорога сюда, в часть, другая вверх, в горы, к старинному небольшому аулу Ломархой.

Выпросили и подняли вертушку. Разбитую «Волгу» корреспондентов с пулевыми пробоинами обнаружили в горной речке. Людей ни в машине, ни рядом с ней не было. А когда вертолет пролетал над аулом, к сараю стремительно метнулся мужчина. Двое стариков так и остались стоять на дороге, а этот поспешил скрыться. Два взвода подняли по тревоге прочесать аул. Конечно, это произвол. Так обычно не делается, без согласований, без разрешений, планирования и артподготовки. Но время уходило, да и аул-то этот совсем малехонький, не чета равнинным селениям, где далеко не одна улица. Из новеньких в составе группы четверо: Кристи с Ольгой и двое парней из первого взвода. Одного, крупного и белобрысого с веснушками, Ольга помнила еще по перелету, он еще разговорами доставал. Второго, черноглазого, с тонкими усиками, не помнила. А должна бы, наверное. Летели-то вместе. Но не помнила, и все. И эти безуспешные попытки вспомнить отвлекли еще от одной навязчивой мысли: нужно уже начинать бояться или еще рано? Говорят, и сама читала тоже, первый бой – страшно. Вон тот черноглазый новенький – боится, сильно боится. Автомат стиснул так, что пальцы побелели и занемели уже, наверное. И у Кристи, сидящего рядом, правая нога ходит ходуном в крупной дрожи. Остальные внешне спокойны. Интересно, какой он, страх боя? Такой же, как от паука, стремительный и стискивающий сердце? Или тягучий, тяжелый, об-

волакивающий? Завтра я буду точно знать или уже сегодня после боя. Если он будет. Если я сама после буду. После. Блин! Это уже страх или еще нет? По крайней мере, терпимо. Ладно, потом. Все потом. Что, уже посадка? Блин! Блин! Блин!!!

Первые выгрузившиеся располагаясь широким полукругом, уже готовые, по мере возможности, защитить тех, кто только еще покидал душноватое нутро «вертушки».

Разгон, потом Кристи, неудачно рухнувший на четыре точки. Потом Ольга. Кто-то сзади помог чувствительным толчком меж лопаток. Пока не коснулась ногами камней, еще думала оглянуться, посмотреть, кто же это так пихается, а потом забыла. Сразу забыла. В голове еще не все на месте. Кажется, ничего не отшибла и не потеряла.

Чужих – никого. Нигде. Дышать как-то плохо, непривычно. Высота сказывается. Впереди, в двух километрах, почти сразу за голым гребнем горы – аул.

Команда «Вперед!» дружно сдернула всех с камней. Разгон карабкается по склону слева, вровень с Ольгой. И она, мельком поглядывая на него, отмечает, как напарник уже сбивается с ровного дыхания. Даже она еще не задохнулась, а Разгон вспотел до бегущих по лицу ручейков. Недаром Ирина Александровна предупреждала Ольгу и даже сунула ей упаковку таблеток в тонком, пластиковом цилиндрике для Разгона, для таких вот случаев. Упаковка не «родная», но так надежнее.

Впереди по цепочке начали вскидывать руку: стоять!

Остановились. Разгон, наклонившись, опираясь ладонями о колени, дышит загнанно, со всхлипами. Ольга торопливо протянула на ладони две таблетки:

– А ну, ешь!

Он попытался отмахнуться, как от назойливой мухи.

– Ешь, блин! Ирина Александровна велела. Загнуться хочешь? – настойчивая ладошка прижалась к его полураскрытым губам. Кожу обожгло жарким выдохом. Уничтожающий взгляд ярких голубых глаз. Она взглянула в ответ не менее яростно и коротким толчком, так что голова у напарника резко качнулась назад, надавила ладошкой, еще плотнее прижимая ее. Наконец почувствовала, как он все-таки собирает жесткими, царапающими губами таблетки с ладони. По-куриному дернув головой, сплотнул. Быстро, двумя глотками запил из фляжки.

И вовремя. Опять отмашка:

– Вперед!

Когда добрались до гребня хребта, Ольга тоже задыхалась, и сердце колотилось в горле. Разгон с посиневшими губами рухнул на камни рядом. Кристи оказался слева и расстроено скреб левое колено. Споткнулся, упал, ушиб ногу, испачкал почти новую форму.

Внизу крутого склона тихо лежал аул

Почти до основания разрушенная старинная башня. Чуть больше десятка сооружений с плоскими крышами, которые домами назвать сложно, как уж их там правильно? А новые кирпичные особняки хороши! Их шесть. Но как-то инородно они здесь смотрятся.

Вот из-за третьего слева строения вышла полная немолодая женщина с красным тазиком развешивать постельное белье. Через оптический прицел четко виден и худенький, цыганистый мальчишка лет десяти, который, навалясь на каменную ограду маленького загона, помахивая куском лепешки, настойчиво манил пестрого ягненка с маленькими загнутыми рожками. Короткими незлыми толчками в лоб мальчишка

отпихивал нахальные ушастые морды взрослых, недавно стриженных и поэтому страшноватых в клочкастой худобе овец. И даже красные строченные буквы рита на спине спортивного костюма парнишки хорошо видны. И никаких боевиков. Совсем. Неужели вертолетчики ошиблись?

Разгон тщательно обшаривает аул в бинокль. Кристи, наконец, оставил в покое колено. И, вытягивая шею, как любопытный суслик, быстро, почти по поясу, вздернулся над камнем, за которым лежал. И почти сразу был безжалостно сошвырнут за шиворот и за ремень так кстати подоспевшим Мраком. Только автомат с каской об камни брякнули.

– Мать твою! Урод гребаный! Ты еще в рост встань, дебил! И руками над головой помаша. Эй, мол, тут мы. – И еще раз констатировал, злобно сплюнув: – Дебил. – И уже спокойно обратился к Разгону: – Ну как?

– Никого не видно. Так, что ли, сразу пойдем?

И тут Ольга шепотом позвала:

– Кирилл. – И сразу же, более раздраженно: – Разгон!

Он недовольно обернулся.

– Чего еще?

– Кирилл, вон там боевик.

– Где? – переспросили оба сразу.

– Вон, слева, на десять часов, где белье висит. От сараюшки немного левее, дрова. Ну, хворост этот, кучей сваленный.

– Да где?

– Пулемет за кучей. Ствол немножко видно, он на дорогу направлен. И башка периодически чуть-чуть выставляется. Повязка зеленая на черной шапочке. Смотрите лучше.

– Ага. Есть! Ух, ты, как хорошо, стервь, пристроился!

– Они нас отсюда не ждут. Думают, если и появлюсь, то с дороги. – Мрак прищурился, прикидывая расстояние: – Метров семьсот примерно или чуть меньше. Сможешь его отсюда достать?

Ольга удивленно расширила глаза.

– Так он же не стреляет! Просто лежит, и все.

– А тебе, мать твою, нужно, чтоб он для начала ползвода наших положил? Прислали придурков в пополнение. Можешь достать – снимай. Не можешь, давай сюда винтовку.

– Сейчас! – полупшепотом возмутилась Ольга. – Дала!

– Ну так какого хрена?

– А чего сразу ругаться-то? Чего ругаться? – совсем по-детски, обиженно отозвалась Ольга.

– Передайте по цепочке: сразу после выстрела все вниз, – обернулся влево: – Кристи, за мной! Разгон, Ласка. Вы оба вон до тех камней. Оттуда прикрывать будете. Разгон, следи за ней. – И опять Ольге с нарастающим раздражением: – Давай шустрой. Тебя все ждут.

«Блин, гад, ну, высунись побольше! – про себя умоляла она боевика. – Ну, давай, давай, давай!»

Выстрел в тишине хлестнул, как показалось, слишком громко.

– Есть!

И тут же испуганное: ой, блин, там еще один! – И после быстрого второго выстрела еще одно удовлетворенное: – Есть!

Разгон, больно вцепившись ей в левую руку выше локтя, сдернул девушку с камней, увлекая за собой вниз по крутому склону.

– Блин! Потихе! Ведь синяк останется, зараза!

И так же, по принуждению (хорошо хоть было кому уверенно командовать!), свалилась за очередной серой каменной глыбой. Она немедленно стала пристраивать ствол эсвэдэшки и разгребать неудобные камешки из-под себя и от локтей.

Аул неожиданно ожил от выскакивающих отовсюду боевиков. Все перемешалось. Кто-то из бегущих впереди разведчиков не удержался на ногах: или споткнулся, или подстрелили – полетел по склону кувыркком и остался неподвижно лежать в неестественно-скрюченной позе.

Ольга растерялась от автоматных очередей, взрывов, матерщины, криков. Она бы так и пролежала с раскрытым ртом, если бы не Разгон, жестко пихнувший кулаком в бок:

– Работай! Не пьялся!

Господи, куда стрелять-то? В своих бы не попасть! И суматошно пыталась ловить в прицел бородатые рожи и кожаные куртки, уже не понимая, когда попадает, когда нет.

Бой внизу был жестоким и коротким. Вот уже никто не стреляет.

Все?

Не все!

Ольга, наверное, одновременно с Разгоном увидела столпившихся полукругом бойцов и боевика в темном дверном проеме почти напротив. Чеченец прикрывался рыжеволосой девушкой в одной полуразорванной бежевой блузке, чуть прикрывающей трусы. Он держал длинный боевой нож под ее подбородком и что-то кричал.

Таким клинком можно и совсем голову снести, не только горло перехватить. Поэтому все стояли, пока не зная, как к нему подступиться. И девушка, как назло, полноватая, высокая, только на полголовы его ниже.

– Ласка, – хриплым шепотом попросил Разгон, – сможешь? – И напомнил: – Время!

Она, не отвечая, криво закусив нижнюю губу, смотрела сквозь прицел. Почти сросшиеся широкие черные брови боевика на уровне макушки заложницы, да еще ветер шевелит ее волосы, мешают. Триста метров не семьсот, но все же! И свои перед целью. Хорошо, хоть с горы стрелять, какой-никакой запас высоты. После выстрела она немедленно зажмурилась и боялась открыть глаза, не зная, в кого попала. Она часто дышала открытым ртом, пока Разгон не положил ей руку на плечо:

– Умничка!

Вот теперь вроде бы и все.

Из вонючей ямы, покрытой металлической сварной калиткой, откуда-то выломанной, вытащили водителя корреспондентской машины, избитого до полусмерти. И еще двоих пленных, наших же бойцов-срочников, захваченных, видимо, намного раньше. Страшных и оборванных, обросших, с затравленными глазами, в грубых старинных оковах.

Вызвали «вертушку», и Мрак докладывал:

– У нас один двухсотый, три трехсотых. У боевиков...

И в этот момент, из-за угла ближайшего строения, громко вопя, высочил тот самый парнишка, что кормил ягненка. В вытянутых перед собой тонких руках намертво зажат ПМ. Никто не успел ничего образовать, он выстрелил. И тут же отлетел в сторону от мощной оплелухи, выронив оружие. Он целился в грудь ближайшего русского, того самого черноглазого новичка. Ствол при выстреле увело вверх, и он попал в шею, сбоку. Хлестнул фонтан крови, окатив всех близкостоящих. Парню еще пытались зажать пальцами перебитую сонную артерию, до последних его конвульсий не веря, что это бесполезно.

<...>

С обеда, бодренько так, пришли плотные тучи. Низко нависшее небо, видимо, долго уже терпевшее, разродилось частым, мочливым, бесконечным дождем, К вечеру все трое промокли насквозь и окоченели. Сухими были только головы под касками у Разгона и Кристи.

Пословица, что в такую погоду хороший хозяин даже собаку на улицу не выпустит, оправдывалась полностью. За вторую половину дня ни одной живой души не встретилось.

Вечером, когда пришел БТР забирать их домой, у Ольги зуб на зуб не попадал. Она скрючилась на броне между напарниками, еле удерживая винтовку посиневшими, потерявшими чувствительность пальцами.

Разгон ее не отпустил, завел в свою палатку, стоящую ближе к воротам.

Мрак осмотрел их, с усмешкой покачал головой:

– Ну, мокрое воинство! Вас что, купали?

И сразу же повысил голос:

– Ара!

– Я!

– Беги к дяде Федору, попроси спирту для них. А вы снимайте мокрое.

Ольга, плохо соображая от холода, тянула руки к печке и не чувствовала тепла.

Разгон уверенно раздевался и еще вполголоса материл слишком медлительного, такого же продрогшего Кристи. Ольга путалась в застежках и пуговицах, но Кристи опережала.

Мрак проследил, пока они разделись по пояс до тельников и футболок у Ольги, и жестко скомандовал:

– Встать.

Кристи, недоумевая, поднял на командира обиженные, по-собачьи жалобные глаза.

– Халез!

– Я!

– А ну, выведи этих мерзликов на стадион и пробеги с ними три круга.

– Вы что! – возмутился Кристи.

– Выполнять! Марш!

Ольга, так же обиженно глядя на командира, нехотя поднялась.

Разгон понимающе кивнул Мраку и первым пошел к выходу.

Халез снял с себя ремень, сложил его вдвое и потряс перед носом у Кристи.

– Бегом!

Бежали в темноте по лужам, скользя, спотыкаясь и чуть не падая, и Халез периодически протягивал отстающего Кристи ремнем по голым мокрым плечам. Кристи взвизгивал и немного прибавлял скорость. Перед носом Ольги ремень только угрожающе покачивался. Она, соглашаясь, кивала головой и ускоряла бег. И уже к концу второго круга начала немного согреваться откуда-то изнутри, хотя ни рук, ни ног все еще не чувствовала.

Разгон, задавая темп, мерно топал впереди, и его Халез не торопил.

– Ну, согрелась немного? – поинтересовался Мрак у Ольги, когда они вернулись. Быстро присев на корточки, сам расшнуровал ей размокшие берцы, вылил из них накопившуюся воду, стянул с ее ног и выжал носки.

Встал, забрал у вернувшегося Ашота заветную фляжку, набулькал полкружки Разгону. Он, так же молча, кивнул, благодаря, и быстро залил в себя, не поморщившись.

А Мрак снова повернулся к Ашоту.

– А ну, сбегай к девчонкам, спроси у них Ольгиного нижнего белья, ей переодеться.

– Я? Женское белье? Но как?!

– Бегом, придурок!

Кристи опять подавился спиртом, еле откашлялся. И пока над ним незлобно смеялись, Мрак плеснул в кружку спирта для Ольги и приказал:

– Пей! Дыхание задержи и одним глотком. Быстро! И не мотай мне головой! Здесь немного, чуть-чуть. Пей, а то простудишься и издохнешь!

– Н-ни фига себе, чуть-чуть! – возмутилась Ольга, оценив количество резко пахнувшей жидкости, но, понимая неизбежность, поднесла кружку к губам.

Мрак внимательно проследил, как она, заглотив предложенное, быстро хлопает ресницами и хватает воздух открытым опаленным ртом.

– Ну вот! А теперь ныряй ко мне под одеяло и снимай с себя все полностью. Ашот сейчас тебе переодеться принесет.

Ольга последовала его совету, легла под колючее одеяло, разделась. Она скомкала влажное белье в кулак, не зная, куда его девать – кругом мужчины.

Прибежал смущенный, пламенеющий ушами Ашот, принес в прозрачном пакете голубые трусики, футболку и бюстгальтер. Увидел Ольгу в постели у Мрака, отчего-то покраснел еще больше, торопливо сунул ей в руки принесенное и ретировался. Ольга благодарно кивнула и начала торопливо переодеваться, а Мрак скомандовал Кристи:

– Нечего сиднем сидеть, ну-ка сполосни свой камуфляж и Ольгин заодно, и сушиться повесь, пока тебя не развезло. Завтра мокрое, что ли, надевать собираетесь? – и прикрикнул: – Бегом! Нехрен спать на ходу!

Мрак плеснул немного спирта на ладонь и, высвободив из-под одеяла Ольгину ледяную ступню, стал интенсивно растирать до порозовения морщинистой от влажности кожи, потом занялся второй ногой. Закончив это дело, быстро разделся и забрался под одеяло к отвернувшейся Ольге. Она даже возмутиться не успела.

В самый последний момент его вполголоса окликнул Разгон:

– Мрак!

Он быстро приподнялся на локте, вопросительно вскинул подбородок. В ответ Разгон выразительно покачал перед своим носом увесистым кулаком.

Мрак добродушно улыбнулся, прижал указательный палец к губам и от подбородка махнул ладонью, мол, успокойся.

– Ну, ты и ледышка! – прошептал он Ольге на ухо. – Надо было вас еще пару кругов по стадиону прогнать, не согрелась нисколько.

– Да ну тебя, Мрак! – так же шепотом возмутилась она, пытаясь отодвинуться.

– Дурочка, наоборот надо. Давай сюда, прижимайся теснее. Да не бойся ты! Не трону, согрею только. А то заболеешь еще. Слышала, небось, про грелку во все тело? Вот, я сегодня в ее роли. Ложись мне на руку. Вот так. И ноги давай сюда, между моими. Ага. Б-прр! Есть ли в тебе хоть капля теплой крови? Я вот еще тебя обниму. Да не дергайся ты! Я – грелка, и только. Грелка. Большая и теплая.

Ольга молчала, подчиняясь, и вскоре, пригревшись, провалилась в сон. А Мрак не спал. Уснешь тут, когда почти вплотную перед глазами светло-русый затылок! Мрак периодически отдувал с губ душистые, щечкочущие, мягкие прядки, и тогда потревоженные волосы еще сильнее дурманно пахли яблоками. А под его правым предплечьем мерно вздымалась женская грудь. Только чуть согнуть кисть, самую малость подобрать пальцы вверх, и она окажется в его ладони, тяжелая, упругая и атласно-гладкая. Как раз по руке. Черт! Нельзя! А эта круглая попка под тонкими, почти неощутимыми трусиками в непосредственной близости. Че-ерт! Мрак дважды передернул тазом, отодвигаясь. Догадался же, придурок! И Ольга хороша тоже! Могла бы сообразить. Или не могла? Она слишком замерзла. И пьяная, наверное, вдрызг. Черт! Черт! Ведь были же бабы. Даже здесь периодически, и ни одну из них так не хотел.

Мрак старательно терпел еще два бесконечных и мучительных часа. И когда ему начало казаться, что еще пара минут и у него в паху все лопнет от напряжения, осторожно вытянул из-под головы безмятежно спящей девушки затекшую левую руку. Единственное, что он позволил себе – осторожно коснуться губами ее шеи чуть ниже уха, где ритмично пульсировала жилка. И немедленно окончательно опьянел от манящего запаха молодого женского тела не приглушенного никакими духами и дезодорантами.

– Че-ерт! Ласка! Ну, нельзя же! Нельзя! Нельзя!

Он осторожно поднялся и стал торопливо одеваться. И почти сразу же вскинул голову Разгон. Следил, выходит, не доверял. Даже уставший и пьяный.

Мрак, успокаивая, махнул ему кистью:

– Спи.

Слазил под настил, где, прилепленная жвачкой, хранилась упаковка с нахально улыбающейся грудастой девицей и долларовая заначка внутри нее для этих же целей. На цыпочках выскользнул наружу. Дождь перестал, но под ногами хлюпало. И заметно похолодало.

У женского домика прокрался ко второму слева окну. Трижды стукнул в раму, подождал, еще стукнул, настойчивее. К стеклу прижалось заспанное лицо:

– Ну, кого там еще принесло? Посередь ночи, козлы! Приспичило! – И парой секунд позже: – Сейчас выйду.

Эти пара минут ее сборов показались Мраку бесконечными.

– Люсь! Пошли скорее! – Больно схватил за руку томно потягивающуюся даму и бесцеремонно поволок за собой в знакомый очень многим тесовый пристройчик, где, в углу слева, для таких целей и матрасик имелся.

– Мрак, ты, что ли? Ни фига себе! Чего как поздно приперся?

– Да ну тебя, давай скорее, я не могу уже больше! – сквозь стиснутые зубы бормотал он, расстегивая ширинку. Люська повисла у него на шее и все лезла целоваться. Мрак, брезгливо отворачиваясь, с рычанием завалил ее. Люська обиделась, но юбку задрала самостоятельно. Трусики под ней не оказалось. Мрак, зажмурившись, тискал и мял пухлое податливое тело, торопливо пристраиваясь между полных, призывно раскинутых ног. И, как мог, отворачивался, чтоб не задохнуться от щечкочущей в носу и горле приторно-сладкой волны дешевого парфюма. Это сколько ж надо на себя вылить, чтоб так несло?

Удивляясь яростному грубому напору, Люська вперемежку с непритворными сегодня стонами, бормотала:

– Мрак, ты чего, порнухи насмотрелся? Совсем охренел, зверина!

Наконец насытившись, он отвалился, быстро поднялся, натянул штаны. Не глядя Люське в лицо, расплатился и, молча, вышел из пристройчика.

– Ну, Мрак, ты и жеребец! – то ли восторженно, то ли обиженно заявила Люська ему в спину. Он быстро, не оборачиваясь, пошел прочь.

Долго курил в кулак перед своей палаткой и наблюдал, как начинает светать. Потом осторожно прошел внутрь. Рядом с Ольгой лечь больше не решился, сидел в ногах и внимательно смотрел, как она спит.

<...>

Противный выдался день. Туман, холод и сырость. Опять все растаяло. Уже после обеда к КПП подкатил потрепанный с разноцветными: одно белое другое зеленое, крыльями, «жигуль»-«копейка». Из него вылез мелкий дедок. Картинный такой горец с ухоженной бородкой, в папахе и черкеске... Он очень сильно волновался, торопился и поэтому пережегал одно русское слово с тремя чеченскими. Ольгу вызвали переводить.

Как оказалось, у него рожала замужняя, младшая внучка, и роды шли неправильно. Дедок просил помощи и клятвенно заверял в безопасности поездки. Фельдшерско-акушерское образование было у Валентины. Она и поехала с медицинской укладкой на переднем пассажирском сиденье. Водитель УАЗа – веселый рыжий сержант из второй роты, ее постоянный ухажер. Сзади дедок и Ольга в качестве переводчика. Так и не пожелавший заводиться дедовский «жигуль» оставили перед КПП, тщательно проверив на отсутствие в нем фугаса. В правый верхний угол лобового стекла УАЗа скотчем – лист бумаги с жирно нарисованным помадой большим красным крестом. Как опознавательный знак – пропуск. И вперед. Ехать далековато. Аул Ломархой – место первого боевого Ольгиного крещения. Сначала мимо блокпоста по относительно ровному месту, потом все вверх и вверх по узкому, местами просто обледенелому, кое-где передутому снежком, горному серпантину.

Ольга не любила ездить сзади. Дорогу плохо видно. Поэтому постаралась сесть к дедку поближе, чтобы смотреть между спинками передних сидений. Так еще и теплее, печка немного достает и сюда.

– Валь, а ты раньше роды принимала?

– Конечно. Я два года в роддоме отработала.

Миновали поворот на Лечакерт. Это влево еще километров десять. Бандитское гнездышко тейпа Межидовых.

Дорога все круче забирала вверх. Слева, совсем рядом, обрыв, заполненный плавающим туманом. И не просчитаешь, насколько глубоко. Справа – почти отвесная скала. И поворот за поворотом. Все это Ольге не нравилось категорически. Напряжение и беспокойство не отпускали, а нарастали все больше и больше. (Да чтоб я! Еще раз! По доброй воле! По такой дороге! Нервы сдают, что ли?) Но, с другой стороны, если дед проехал здесь на «жигулях», то УАЗ с включенным передком должен вполне справиться. Николай цепко держал руль, уверенно вел машину. Не первый месяц в Чечне. И, видимо, желая еще сам себя успокоить и отвлечься, рассказывал, как он, еще в школе учился, в 10-м классе, ехал в район и в автобусе одна молодуха рожать собралась. И изображал это дело в ролях, на разные голоса. Валентина сидела

к нему вполоборота, тема родная, знакомая. Даже дед улыбался. А УАЗ, натужно рыча, между тем миновал еще один крутой поворот.

– Это последний такой сложный. Сейчас дорога немного лучше будет. Еще километров пять, и мы на месте, – прокомментировал дед.

– Ой, мамочка! – тоненько возопил водитель, скалясь от смеха. – Ой, тошнехонько. Да чтоб я ему, паразиту, хоть раз еще дала!

– А ты представляешь, – уверяла его веселая Валентина, – что...

Укол знакомого ледяного ужаса был стремительным. Ольга вздрогнула, настораживаясь. На дорогу метрах в 15 перед машиной, в руках «Борз», выскочил подросток.

Целой секунды, очень тягучей, Ольге хватило, чтоб увидеть мальчишку, коротко, отчаянно крикнуть всем: «Ложись!», самой нырнуть вправо на пол, под сиденье, и еще дедка за тощую шею сгрести, увлекая его, сопротивляющегося, за собой.

Визг тормозов. Длинная автоматная очередь по лобовому стеклу. Возмущенный возглас деда и тишина. Мотор заглох.

Ольга сняла АКСУ с предохранителя. Дедок, тяжело навалившись на нее, коротко стонал. И матерился при этом отнюдь не по-чеченски. (Живой, значит.) На передних сиденьях зловещая тишина. Осторожно приоткрыла дверцу, вывалилась вправо, под колеса, занимая оборону. Осмотрелась. На дороге в пределах видимости – никого. Мальчишка, судя по всему, теперь удирал что есть сил.

– Поганец!

УАЗ стоял почти поперек дороги, упираясь бампером в приличных размеров валун на краю обрыва. Левое переднее колесо почти наполовину над пропастью.

– Блин! Приехали!

Поднялась, все еще шаря стволом по сторонам. Никого. Тишина. Гулкая, звенящая. Открыла правую переднюю дверцу, уже зная, что там увидит. Лобовое стекло все в дырках и наполовину осыпалось. Белый халат Валентины стал алым. Они даже уклониться не успели. Как сидели, так и получили оба в лица и в шею пули той автоматной очереди. Николай навалился на руль. Одна рука на нем, другая – на ключе зажигания. Ему этой секунды хватило только, чтоб нажать на тормоз и заглушить двигатель. Молодое тело не хотело верить, что умерло, и нога еще ритмично постукивала где-то возле педалей... На коврики под ногами натекло неправдоподобно много яркой крови.

Дед уже уселся, зажимая правой рукой плечо. Меж узловатыми старческими пальцами тоже обильно текло. У Ольги пулей вспорол левый рукав над локтем и капюшон. Она машинально поковыряла указательным пальцем свеженькую дыру. Мелкий серый пух наружу, но не задело.

Открыла Валентинин медицинский саквояж, достала перевязочный пакет, стала оказывать старику первую помощь.

– Он что? Охренел? Красного креста не видел? – возмущалась Ольга.

– Ай! Нэ наш это малчик! С Лечакерта!

– Да мне пофигу, откуда взялся этот дебил! И у вас такие же, видела! – Ольга, зло мотала бинт на простреленном плече старого чеченца. – Лучше скажите, что мы теперь делать будем? Все! Приехали!

Дед, видимо, соблюдая кодекс мужской чести, даже стонать перестал. Терпел перевязку молча, хотя рука повисла плетью.

Только в конце тяжело вздохнул.

– Ай-вай, внученка моя! Что же тэпер с ней будэт?

– А я знаю? Я точно не смогу здесь развернуться. Все равно придется вперед ехать.

Дед здоровой рукой помог Ольге стащить труп Николая с водительского места вправо. Теперь покойники кое-как лежали друг на друге, словно обнимаясь напоследок. Это было, конечно, неправильно, но что поделаешь. Ольга, цепляясь за дверь, чтоб не сорваться в пропасть, пробралась на водительское место, содрала пропитанный кровью чехол и хоть немного прикрыла им убитых. Уселась, подложив под себя сложенный в несколько раз чехол с заднего сиденья... Коротко выдохнула:

– Ну, дед, молись своему Аллаху! – И, внимательно изучив стрелочки на рычаге передач, повернула ключ в замке зажигания. Не успевший остыть мотор завелся сразу. УАЗ дернулся вперед, боднул валун.

– Ай, вай! Нэ туда! Назад! Назад давай! – выкрикнул дед, но Ольга к тому моменту уже сама поняла, как и что. Валун покачался-покачался и с шумом закувыркался вниз. Ольга громко икнула. УАЗ еще раз дернулся, теперь уже назад, проехал дорогу поперек и врезался задним бампером в скалу.

– А-а! Бли-и-ин-н!

– Ай-вай! Дитя порока! Савсэм вадит не умеешь, да!

– Блин! Дед! Молчи! Без тебя тошно! Я только два раза сама ездила. Садись сам да езжай, раз такой умный!

Кое-как, дергаясь и виляя от обочины к обочине, добрались до места, и дедок показал, где нужно остановиться. Рядом с таким же, как у них, УАЗом, только белым. Стоящим вместо передних колес на камнях, без правых дверей и без капота.

Вокруг УАЗа засуетились-запричитали сбежавшиеся женщины. Выскочили и куда-то опять умчались трое мальчишек детского возраста. Совсем ослабевшего от потери крови дедка под руки повлекли прочь.

Если идти на женскую половину дома, лучше хоть немного переодеться. Ольга вытряхнула заранее припасенный пакет: бело-желтый, тонкий полушалок с кистями, джинсовая юбка, длинная, почти в пол, со множеством пуговиц-клепочек впереди. И белый халат, взятый взаимы у Ирины Александровны. Сняла и свернула куртку, положив на заднее сиденье. Стала быстро облачаться. Платок завязала по-колхозному, низко, до бровей, с заломами на висках, затянув вокруг шеи. Чеченки, они немного по-другому платки повязывают. А и пофиг! В таком виде можно бы идти, только зачем? Она в родах – как свинья в апельсинах разбирается. Единственная польза – Валентинин плотно набитый сак-воляж. Так и пошла: в одной руке автомат, в другой – докторский чемоданчик. Куда идти – не промахнешься. Хриплый вой, мало похожий на человеческий, слышно далеко.

На подходе к дому на пути встал высокий чеченец лет сорока. Сильный, уверенный в себе, с обильной проседью в волосах и свежим глубоким шрамом на правой щеке, скрывающимся в ухоженной, чуть рыжеватой бородке. Ольга поздоровалась первая.

– Ты собралась идти в мой дом с оружием?

– Так не бросать же его без присмотра...

– Ты – гость в моем доме. Какое оружие? Теперь я, хозяин, буду тебя защищать.

– Помню. Нохчалла, – и, не глядя, отсоединив магазин, передернула затвор и подала АКСУ хозяину. Он аккуратно принял, понюхал ствол.

– Не стреляла сегодня?

– Не успела. (А и припомнить бы, когда последний раз этим автоматом пользовалась.)

Магазин машинально сунула в карман халата. Чеченец внимательно проследил за ее руками. И эта уверенная внимательность очень Ольге не понравилась. Потому что хозяин далеко не дурак и явно не слепой.

– Тебе что-нибудь нужно, чтоб помочь моей жене?

– Мне нужна женщина, которая бы смогла мне объяснить, какие возникли проблемы. А еще мне нужна связь. Путная рация, мощная, чтоб отсюда достала, или спутниковый... что у вас там есть? Попробовать с нашими поговорить. С врачом проконсультироваться необходимо. Акушерку по дороге убили, а я в родах ни бельмеса...

Правая бровь чеченца удивленно вздернулась.

– А зачем ехала тогда? – взгляд настороженный, но спокойный.

– Помочь. Где чего подать, поддержать... Переводчиком, если что. И акушерке для моральной поддержки. Валентина, она абсолютно всех чеченцев боится. Боялась.

– А ты?

– Ну, есть мирняк, и есть боевики. Нельзя же всех под одну гребенку.

– А мирняк – это кто? – И взгляд такой любопытный-любопытный.

– Вы нарочно медлите, когда вашей жене нужна помощь?

– Сейчас связь будет, – заверил хозяин и удалился.

За стеной без усталости тархтел генератор, под беленым потолком горела одинокая лампочка под овальным абажуром. Дом как внешне, так и по обстановке далеко не из бедных. Торопливо подошедшая полная пожилая чеченка начала объяснять Ольге, в чем причина вызова.

Хозяин принес и поставил на стол чемоданчик спутниковой связи. Открыл, настраивая.

(Нехило живут «чехи»)! А интересно, что будет, если он узнает, кто перед ним восседает? На КПП есть поселковый телефон. Номер помню. Дозвониться бы...)

Дозвонилась.

– Алло! Мрака позовите мне бегом и Ирину Александровну. Но Мрака – первым. Быстрее!

На душе как-то чуть-чуть отлегло, когда услышала в трубке совсем близкое, спокойное и уверенное:

– Слушаю.

И заторопилась в ответ, чтоб не успел перебить.

– Мрак, это я – Кристи. Узнал? Нас обстреляли в дороге. Наши двухсотые, дед трехсотый.

Услышала приглушенный матерок и обеспокоенное:

– Сама хоть целая?

– Как всегда. И не матерись, динамики сильные, абсолютно все слышно. Ирину Александровну встретить, скажи, что Кристи срочно проконсультироваться нужно.

(Поймет или нет? Должен бы.)

Пока тянулась пауза, чеченец спросил:

– Кристи – это имя или позывной?

– А есть разница? – нахально улыбнулась Ольга.

– Меня Салман зовут.

– А меня Кристи.

И заторопилась, потому что к телефону прибежала врач, видимо, наученная Мраком, потому что лишних вопросов не задавала и совсем никак не обращалась.

– Ирина Александровна, в общем, так: роды четвертые. Предыдущие были год назад мертвым ребенком. Рожает уже почти двое суток. Как мне объяснили: ребенок на выходе, но у нее сил не хватает. Схватки совсем слабые. Какие делать уколы, сколько и как? Только, пожалуйста, внятно и медленно. Я буду записывать. А то не запомню или перепутаю, кой грех. – Занесла карандаш, поданный хозяином, над обратной стороной одной из коробок с ампулами и дублировала услышанное, в голос, переспрашивая: – Промедол кубик внутривенно? И чего еще? Се-дуксен? Внутримышечно. И В<sub>1</sub> тоже кубик? И тоже внутримышечно. И сколько она будет спать? 2 часа? А мне что делать в это время? Так. Поняла. А кто... чего? Ага. Поняла. Пишу. Тоже уколом. Глюкоза 20 и хлористый кальций 10. Эти оба внутривенно? Вместе? В смысле смешать? Угу. Капельницу? которая пакетом? 400 грамм? Окси-тоцин?... туда и чего? Эн-за... чего? фрост? прост? и тоже туда? Половину ампулы? Все в саквояже есть? – не надеясь на слух, переспрашивала каждое название. – Ну ладно. До связи. – И, коротко выдохнув, откинулась на спинку стула. Будто кросс пробежала. – Б-лин! Если я найду этого пацана, я его убью! – И добавила уже полупшепотом: – Я никогда этого не делала. Я боюсь.

– Никогда не убивала или никогда родов не принимала? – попытался уточнить Салман. – А признаваться мне в своей неопытности не боишься?

Ответила вопросом на вопрос, тряхнув головой и дерзко глядя хозяину в глаза:

– А у меня и у вас есть еще какие-то варианты?

Они сидели друг перед другом, два врага. Оба выдавая себя не за тех, кем были на самом деле. И оба знали, что врут или (как это деликатнее сказать?) значительно о себе недоговаривают. Но здесь Салман был хозяином, а Ольга – гостьей, о чем он сам сказал при правоверных свидетелях. А значит, пока можно было немного расслабиться. Потому что даже если сейчас вдруг сюда явится за ней хоть весь отряд Межидова, этот Салман будет до последнего защищать ее. По крайней мере она на это надеялась. Хотя нохчалла в последнее время частенько разменивалась на доллары.

Салман на женскую половину не пошел.

Ольга рассчитывала увидеть грузную тетку в годах. На кровати, обнимая огромный живот и раскинув согнутые в коленях ноги, металась, уже ничего не понимая от боли, совсем молоденькая девчонка, едва ли не моложе ее самой.

(И это его жена? И четвертые роды? А сколько лет же ей было, когда она замуж выходила? Здесь вены искать – кошмар! Фиг чего найдешь! Не то что у Мрака!) Ольга стянула роженице руку жгутом и долго хлопала пальцами по внутренней части локтевого сгиба, прежде чем нашла тонюсенькую вену. Даже тоньше, чем у Кристи, подумалось.

Самое интересное – она попала! С испуга, что ли? И руки не дрогнули, пока вводила лекарство. Почти сразу роженица перестала выть и затихла. Ольга сначала даже напугалась. (А что если она – раз, и умерла?) Схватила за тонкое влажное запястье роженицы. Пульс, слабый, но ровный, присутствовал. Дыхание тоже. (Теперь, если верить Ирине Александровне, она будет спать 2 часа.) Доделала еще два положенных по схеме укола и вышла на улицу. Почти стемнело. Пошел мелкий, похожий на крупу снежок. Ольга постояла немного, замерзла. Ушла в дом и села у входа, глядя на часы. Два часа. Еще ждать.

Чеченец-муженек куда-то делся. Одна из бабок, сидевших возле роженицы, принесла Ольге большой синий бокал сладкого горячего чая и стопку толстых лепешек-блинов, порезанных крест-накрест. Позвала к столу. А сама сидела напротив и внимательно смотрела, как Ольга ест. Такие лепешки пекла в свое время бабушка Зухра. И название у них еще такое интересное: чепалгаш.

Потом старуха спросила:

– Ты чеченка?

– Нет, я русская.

– Ай, зачем обманываешь? Ты ведешь себя за столом как чеченка. И говоришь тоже. Пожалуй, я бы даже смогла угадать, из какого ты тейпа.

– Вы ошибаетесь, – чуть улыбнулась Ольга. И спросила: – А дед где? Которого ранили. Мне нужно ему хоть антибиотик сделать. И на потом еще оставить. Здесь кто-нибудь сможет ему потом уколов поделывать? Врача-то, судя по всему, здесь нет?

Бабка проводила ее к раненому по темному селению. А потом привела обратно. Сама бы Ольга вряд ли нашла дорогу.

Через два часа роженица смотрелась значительно лучше. Отдых пошел ей на пользу.

Ольга, помня школу Валентины, о господи, покойной Валентины, заранее припасла несколько шприцов и делала инъекции, не вынимая иглы из вены.

Одна из бабок непрерывно вполголоса твердила первую суру Корана, и Ольга с удивлением отмечала, что до сих пор тоже помнит ее наизусть.

Держать капельницу заставили еще какую-то женщину. После всего этого роды возобновились с новой силой. И хорошо так возобновились.

Старухи уже торопили роженицу

– Давай, давай! Тужься! Тужься сильнее! – Одна из них навалилась на роженицу и предплечьем правой руки с силой давила ей на живот.

Ольга сидела и отрешенно смотрела на всю суматоху. Она сделала все строго по списку. Все полностью. И теперь не знала, как себя нужно вести. И что делать. (Вот потом спросят: ты видела, как рожают? Видела. А что видела? Даже не смогла себя заставить посмотреть *туда*. Ничего не понятно.)

Ее самотерзания прервал хриплый, мяукающий крик младенца.

– Мальчик! – возрадовались бабки. – Мальчик! Наконец-то! А то все девчонок рожала!

Роженица приподняла с подушки мокрое от пота, измученное лицо:

– Покажите мне! Покажите!

В этой радостной кутерьме Ольга почувствовала себя лишней. Ехать пора. Она едва успела встать, как около дома началась интенсивная стрельба и громкие мужские крики. Рука сама схватилась за спрятанный сзади за поясом пистолет. И только потом до нее дошло. Новоявленный папаша радуется. И соседи ему помогают.

Еле дождалась, пока не перестанут стрелять.

А потом они запели. Дружно, в несколько сильных мужских голосов:

Как от удара шашки о камень сыплются искры,  
Так мы рассыпались от Турпало Нахчо.  
Мы родились ночью, когда щенилась волчица.  
Нам дали имя утром, когда барс ревом своим  
Будил окрестность.

Вот мы кто, потомки Турпала Нахчо.  
Когда перестает дождь – небо становится ясным,  
Когда сердце бьется свободно в груди – глаза не льют слез.  
Так вверимся Богу. Без него нет победы.  
Не посрадим славы нашего Турпала Нахчо!

Ольга шла к машине и тряслась от ужаса. Она как представила, что сейчас нужно будет сесть за руль и ехать. Вниз. По ночному, скользкому, горному серпантину... Страхи божьи! Жуть! Может, попросить еще раз позвонить, договориться, чтоб забрали ее отсюда? А согласятся ли? Да и фиг кто чего пришлет. Пешком идти? Далеко слишком. Блин!

УАЗ стоял уже в другом месте. Над ним, на углу дома светила повешенная на гвоздь лампа-переноска. И лобовое стекло было целым. Поменяли? Чудеса! Наверное, со своей машины сняли, не иначе.

Двое чеченцев быстро приволокли сопротивляющегося рогатого черного барана, которого немедленно связали и затолкали к задним сиденьям, и так же быстро скрылись во тьме. Подошла, поставила на заднее сиденье саквояж. Баран терпко вонял. На саквояж бросила халат. Удивительно, внутри салона все было старательно вымыто. Но сильный запах крови все равно ощущался. Надела куртку и шапочку. Пожилаясь. Почувствовала на спине взгляд, резко обернулась. Рядом стоял Салман. (Как из-под земли вырос – только что его не было.)

– Автомат свой забери.

Забрала. Не глядя, присоединила магазин, машинально-ловким движением закинула за плечо. Салман медленно, оценивающе осмотрел Ольгин выдавший виды прикид. Теперь девушка была совсем иной. Не как в его доме. «Форма № 8 – что достали, то и носим». Сверху вниз осмотрел: от темно-серой, с черными короткими полосками шапочки-самовязки с широким тройным загибом, сдерни на лицо – получится маска с прорезями для глаз и рта. Двухсторонняя куртка с капюшоном длиной до середины бедра, изначально серая, самостоятельно размалеванная зеленым, коричневым и черным под камуфляж. В левом нагрудном кармашке, застегнутом на липучку, угадывается граната. Разгрузки только не хватает. И бронезилета с каской. Штаны от «горки», черные теплые полусапожки с меховой оторочкой поверху на молнии и шнуровке, «почти берцы». Ухмыльнулся вслух:

– А ничего, у вас там, в штабе у переводчиков униформа... Главное, за столом сидеть удобно... и не холодно...

Старого воробья на мякине не проведешь!

Но сейчас Ольга была обеспокоена другим:

– А-а где... наши?

– Там, сзади, в багажнике аккуратно уложили.

– А баран зачем?

– Ай! Как зачѐм? – Салман начал изображать тупого, плохогоговорящего горца. – Шашлык-машлык жарить будѐшь! Там еще канистра вина домашнего. За здоровье сына моего пит будѐшь, – и тут же стал серьезным и сосредоточенным. – И да, скажи-ка, ты того мальчишку, что по машине стрелял, успела рассмотреть?

Ольга прищурилась, собрала губы трубочкой. Немного помолчала, вспоминая картинку и начала как бы диктовать ровным голосом, короткими рублеными фразами. И параллельно рукой показывала на себе.

– Ну... Лет одиннадцать-двенадцать примерно. Высокий, плотный. Куртка либо черная, либо совсем темно-синяя. Грязная. На плечах,

от воротника вниз, оранжевые трикотажные вставки. Штаны широкие, темные. В чем обут был – не скажу, – и головой помотала для убедительности. – Шапочка черная, трикотажная. Магазинная, с загибом. Надпись крупная сбоку. Белым. Что написано – не знаю. Волосы средней длины, темные. Челка торчит из-под шапочки, – рукой показала как. – Лицо круглое, грязное. На подбородке ... – она на несколько секунд задумалась, зажмуриваясь... – м-м-м... справа! Родинка большая. Оружие – «Борз». Черный. Без ремня. Магазин синей изолентой обмотан. И... все, наверное. Больше ничего не скажу.

Салман удивленно тряхнул головой.

– Сколько же ты его разглядывала? Я у деда Хамида спрашивал, так он двух слов не сказал.

– Ну... Пока он выскакивал. Пока автомат вскидывал. Секунда-полторы примерно. А потом мне уже некогда было. Самой вниз нырнуть и деда вашего уложить попытаться.

– Спасибо. Теперь я найду этого стрелка. – И вдруг предложил: – Садись, давай. Сам тебя отвезу до блокпоста. Снег с дождем прошел. Скользко на дороге. Старый Хамид рассказал, как ты машину водишь. Неправильно оно будет, если не доедешь.

Ольга села на переднее сиденье, автомат на колени. Она панически боялась сама сесть за руль. Салман завел двигатель, и тут, почти одновременно, распахнулись обе задние дверцы, и в салон быстро влезли еще двое: круглолицый крепыш далеко за тридцать с зеленой повязкой на голове и молоденький худой парень с тонкими усиками. Оба с АКМ. И это совсем не понравилось Ольге. По Салману, не включая логику, не поймешь. Эти же в открытую бравируют тем, что боевики. И лиц не прячут. Накинут сзади веревку на шею, и «прощайте, родные...». Она резко сдвинулась спиной к дверце, чтоб не так удобно хватать было.

Салман заметил ее позу и беспокойство, опять усмехнулся. (У него было сегодня очень хорошее настроение.)

– Не дергайся зря. Я деду Хамиду поклялся тебя живой доставить. Он уверяет, что ты ему жизнь спасла. Моя «Хонда» впереди пойдет, мы – следом. Должен же я на чем-то обратно добираться. И одному потом ночью по горам ездить... Время сейчас не то.

До поворота на Ломархой доехали молча, слишком плохой была дорога. Красные габаритники иномарки, действительно, светили немного впереди. УАЗ кое-где даже юзом шел, заставляя сердце замирать. Руки сами вцеплялись в сиденье. Хотя что бы это дало, кувыркнись машина под откос?

Вдоль дороги пошла бывшая зеленка, теперь мелькающая обнаженными кронами, когда крепыш вдруг вполголоса заговорил по-чеченски:

– Салман. Останови ненадолго. С нашей земли мы уехали, обязательство гостеприимства больше нет. Больно девка хороша! Ты обещал Хамиду живой ее привезти, так мы аккуратненько, все по разочку, по два, не до смерти же ... Он и не узнает.

Ольгу затрясло. (Влипла, похоже.)

– Прекрати трепаться, Исрапи, она ведь тебя понимает.

– А мне-то что? Понимай... – и уже громче, обращаясь непосредственно к Ольге теперь по-русски: – Ты как, джуляб, не против покувыркаться?

Ольга переглотнула, продышалась, чтоб голос прозвучал более уверенно и не дрожал:

– Слушай ты, воин ислама! Ты носишь знамя Пророка и во время газавата позволяешь себе предаваться разврату?

– Ай, закрой рот, жэнщина! Сейчас ночь. Аллах не видит. – И добавил с хохотом: – Слышь, красотка, пошалим, да?

Ольга молчала с полминуты, прежде чем с задором ответить:

– Согласна! Па-шалим! – И швырнула назад, старшему чеченцу в лицо что-то небольшое. – На, держи! Смотри, не потеряй, шалун!

– Эй, ты чего?

– Уже потерял? Ищи лучше.

Крепыш долго шарил у себя на коленях, даже маленьким фонариком посветил, и вдруг завопил, видимо нашел:

– Эй! Ты с ума сошла? Да? Салман, у нее граната! Она чеку выдернула!

– Исрапи, я же тебе говорил: хватит, не балуй! – И Ольге, причем весьма спокойным голосом в отличие от своих подчиненных: – Ты, это... Кристи... давай, забери. Вставь обратно, не игрушка ведь. Или в окно гранату выкини.

– Ага! Сейчас! – согласилась она. – Езжайте уже аккуратней, пока у меня пальцы не устали.

– Ну ты чокнутая!

– Не сомневайтесь, рулите.

Остаток пути проехали почти молча. Только Исрапи раза три интересовался:

– Ты там не спишь? Хорошо держишь, да?

И потом попросил:

– Ну, слушай, да? Нэ обижайсь. Забэри колечко.

– А надень ты его себе, знаешь куда?! – и пояснила: – На двадцать первый палец! – после чего чеченец немедленно замолчал и только обиженно пыхтел сзади.

УАЗ остановили метров за сто от блокпоста. Чеченцы с заднего сиденья бодренько покинули салон и рванули к своей машине. Чуть задержался лишь новоиспеченный отец.

– Спасибо тебе за сына! Извини, тут мои погорячились немного. – И поинтересовался: – Что, и на прощанье не скажешь, как тебя на самом деле зовут? – И улыбнулся, глядя сначала на серьезное лицо пассажирки, потом на ее побелевшие пальцы, сжимающие гранату на коленях. – От души мне врал введь, переводчица со штабными навыками. А старшим врать нехорошо.

– У амира Межидова спросите. Скажите – соседка. Он объяснит.

<...>

Мертвых боевиков свезли к воинской части и сложили рядами на землю. Ольга сначала не хотела идти смотреть, неприятно и страшно-вато. Она никогда еще не видела столько трупов сразу, в одном месте. Тридцать шесть боевиков. По слухам – полностью вся банда Межидова. Местные жители уже сбегались и стояли за плотным оцеплением. Их не подпускали. Как потом будут менять эти трупы, на каких условиях, Ольгу не интересовало. Не ее это дело, штабное.

Она медленно шла между рядами. Вот, уже у троих на переносице, почти четко в той точке, где сходятся брови, или чуть выше на лбу она видела след входного пулевого отверстия. Это лично ее боевики. Это она сама, и никто другой, убила и этого могучего бородача с тронутыми сединой висками, и вот этого, полноватого, средних лет, на вид очень

добродушного. Встреть такого где в селении, ни за что не догадаешься, что бандит.

Становилось по-настоящему жутко.

– Наверное, так нельзя? Все же нельзя, чтобы убивать... Нужно и нельзя. – Ее начинала колотить нервная дрожь. Мутило от тяжелого запаха крови. Ольга медленно продвигалась вдоль ряда и уже подумывала, что нужно, наверное, уйти поскорее отсюда. От этого зрелища стало совсем не по себе. Вот, дойду до конца ряда, и все...

И застыла на месте, забыв выдохнуть. Перед ней, нелепо раскинув ноги в высоких синих кроссовках, лежал Ибрагим. С точно такой же темной дырочкой от пули над переносицей. Немного удивленное, практически белое лицо. И на лице почти не было крови. Это на затылке все разворочено. И условного желтого шарфа на его шее тоже не было. Зато его яркий кончик выставлялся из кармана грязных по всей левой ноге джинсов.

Колени подломились сами собой.

Ольга рыдала в голос, и ей было все равно, с каким обоюдным удивлением и непониманием смотрят сейчас на нее и свои, и чеченцы. Жестокая несправедливость, и обида, и жалость... Одним днем и Кристи, и теперь еще Ибрагим. И ничего не исправить.

Ей не дали выплакаться, под руку резко вздернули с колен. Она плохо соображала, кто рядом с ней и не хотела никуда идти. Немного опомнилась только тогда, когда Мрак встряхнул ее за плечи и в пять этажей обложил по матушке. Лучше всего бы, конечно, ее привела в чувство хорошая пощечина, но он просто физически не мог ударить женщину.

– А ну, ..., марш отсюда ... дура!.. – еще раз с сердцем приказал он: – Крыша поехала, ...? Вольтанулась, ..., на всю, ..., голову!

Низко опустив голову, не переставая всхлипывать и размазывать по лицу слезы и грязь, Ольга, как зомби, медленно переставляла ноги в направлении КПП.

Ирина Александровна увела ее спать, предварительно вколов реланиума, чтоб успокоить.

<...>

Мрак вел поредевшую разведгруппу вдоль бурно текущей речки с мутноватой, ледяной водой. Стандартной, далеко растянувшейся, оштетившейся стволами автоматов змейкой. Снег интенсивно таял. Земли, покрытой прошлогодней бурой листвой, больше, чем белых островков. Весна в этих краях ранняя.

Вражеские автоматы ударили сразу и спереди, и сзади. Засада была организована грамотно.

Группа залегла, отстреливаясь. Просто так сдаваться никто не собирался. Жизнь, она дорого стоит, чтоб ее просто так взять и отдать. И не прихватить с собой за компанию врагов. Чем больше, тем лучше. А ведь Ласка наверняка бы их почувствовала!

Крот поймал свою пулю как раз над верхним краем бронезилета. Приподнялся, видимо, неудачно. Мрак подтащил его поближе, раздел по пояс и стал перевязывать его же пакетом. Свои он уже извел. Неудобно бинтовать. Входное отверстие чуть левее и ниже от ямки сходящихся ключиц. Пуля засела внутри, похоже, что в легком. Рана алым пузырится. Цепочки мешают, путаются под руками. Одна с жетоном, другая с большим темным, серебряным крестиком. Мрак

мотнет оборот сразу промокающего бинта, выдаст короткую очередь по врагам и опять бинтует. Закончил. Надел на раненого бушлат и застегнул. Чтоб не холодно ему. Фиг с ней, с остальной одеждой! Потом, если что.

Себя перевязать Мрак успел уже дважды. Оба раза по ногам. Не то чтобы совсем серьезно, но теперь не очень-то разбегаешься.

Место он выбрал удобное. С насоку не возьмешь. Патронов бы только хватило, пока помощь придет. Ара успел-таки вызвать своих, до того как его убили. Теперь только дожидаться. Быстрее бы. Справа тоже кто-то отстреливается. Надо же было так влипнуть! Один полный магазин в автомате у Крота. Один, уже последний, у него. Был. Линию трассера видно даже днем. «Чехи» в ответ шарахнули из подствольника. Оглушило. И еще раз зацепило. По левой руке обильно потекло и со лба на глаза струйками. Целиться мешает. Поменял автомат. Теперь только короткими очередями. Одна, другая, третья... Дабы особо не лезли. А справа еще держатся. Очереди тоже очень экономные. Кто же там у меня такой упрямый? Голова кружится, и камни вдалеке начинают периодически двоиться. Это плохо. И снова автомат выдал трассер. А это еще хуже. Что у нас еще есть? Есть ПМ, есть РГД. У натужно хрипящего Крота – «эфка». Боевикам понравилось, что автомат стих. Полезли. С двух сторон подбираются. Все патроны из ПМа расстрелял аккуратно и очень тщательно. Жаль, попадал только дважды. Разобрал пистолет. Раскидал детали в стороны. Как и с автоматов. Хрен вам, не оружие! Может, найдут не всё?

И откуда они, гады, берутся в таком количестве? Салман, чтоб его, ради нашей разведгруппы всех, что ли, своих на уши поставил? М-да! Жопа однако. А плен в планы не входит. Совсе-ем не входит. И Крот еще. Его же нельзя «чехам» оставлять. Замордуют парня. Значит, броник долой.

– Как поло... жено друзьям...

– прохрипел уже в голос. –

Все мы... делим... попо... лам...

(Лезет же в башку чушь всякая!)

Приклю... ченья... огор... ченья...

(Хрен вам всем!)

Попо... лам... попо... лам...

Попо... лам... лам.. лам... блин!

Мрак медленно поднялся на колени. Чеченцы не стреляют. Видимо, всерьез решили живьем брать. Эх, плохо видно! Кровь с бровей алыми, быстро капающими сосульками. И голова кружится. А справа – как далеко! – еще отстреливаются. Да что же больно-то как!

Подтянул к себе и приподнял безвольно свесившего голову и руки, но все еще живого Крота. Прижал к себе правой здоровой рукой. Крепко-крепко. Грудь в грудь. Сердце к сердцу. Их удары почти синхронны. Оба заполошно частят от потери крови.

Наверное, со стороны, для чеченцев, это выглядит офигительно – обреченно стоящий на коленях безоружный враг. То есть сразу два обнявшихся напоследок федерала. Нечасто такую радость видят. И руки у обоих совсем пустые. Неопасно. Левая, у Мрака, вовсе плетью висит и с нее кровь течет. Беспольные уже останки автоматов валяются в ногах. Стоящий на коленях то и дело пытается бессильно ткнуться вперед. И вновь удерживает равновесие. Голова опущена.

Чеченцы довольны. Галдят. Уже подходят. Шестерых Мрак видит.

Может, сзади еще кто есть? Хорошо бы! Ближе. Еще ближе.

А теперь... совсем чуть-чуть, самую малость, ослабить правую руку, держащую раненого друга. И услышать в своем нагрудном кармане заветный щелчок. И еще один, одновременно, снизу, под быстро сдвинутым в сторону левым коленом. Впадинка между двух камешков была такая удобная!

И отсчет.

Если по ударам сердца, то, наверное, не от четырех, от шести надо. Все же оно так быстро колотится! Вслух слова проговорить, даже беззвучно, – не успел бы ни за что. А мысли, они как молнии.

Шесть.

У Крота кровь крупными пузырями на губах.

Пять.

А ведь он не Крот – Михаил.

Четыре.

Глянуть бы на «чехов». Нельзя! Рано. Почуют.

Три.

Чтоб они ничегошеньки уже не успели, даже залечь.

Два.

Пора! Вскинуть азартные глаза на врагов и победно оскалиться.

Сам Салман, голуба, спешит! Да с кинжальчиком!

Один!

– Тебе нарочно не сообщали.

– Что?! – Догадка была слишком страшной.

Но Аверьянов подтверждающе кивнул.

– Все? – Она всё еще не могла поверить.

– Вся группа. Тебе просто не к кому возвращаться. Так и так к новым людям привыкать. Еле выцарапал тебя. Дядя Федор обиделся почти.

– Когда? – перебила его Ольга.

– Две недели назад. В засаду попали.

## Дмитрий КОРЧАГИН

Родился в 1975 году, город проживания – Москва. Образование высшее. После университета работал в сфере ресторанного бизнеса.

В 2020 году вместе с Сергеем Литяжинским и Севастианом Протопоповым организовал сообщество независимых авторов «Трио-Лит». Публикуется на литературных площадках. В 2023 году самиздатом выпущен сборник «Трио-Лит 1», куда вошли его повести и рассказы.

## БОЛЕЗНИ НАШИ

*Глава из повести*

### Отец Андрей

Странно, конечно, но отец Андрей, не стесняясь, вышел встретить сына и его гостя в очень простом штатском платье. Его самовязанный свитер на пуговицах и аккуратно подстриженная борода не производили впечатления, что он священнослужитель РПЦ. С первого взгляда Гена почувствовал с его стороны неподдельный интерес к себе или даже желание чем-то поделиться.

– Пап, – удивлённо заговорил Гена-местный, всходя на крыльцо, – ты чего не спишь? Ложился бы, второй час ночи.

Отец Андрей знал, что гость его сына приехал ненадолго, и обязательно хотел с ним познакомиться, узнать его настоящее имя, то, под которым его весть Бог. Был у Рыжова, или, как его называли в интернете, у Руфулуса.ры, цикл встреч с современными юридивыми, который официальная церковь не могла не заметить и не могла простить. Одно дело, когда ей незаслуженными упрёками колола глаза не очень образованная и очень обиженная на судьбу безлика интеллигенция, и совсем другое, когда эти упрёки выдают за правду набравшие последнее время в обществе вес щелкопёры, как сказали бы про блогеров во времена Гоголя. Была у Гены в те дни и пара неожиданно неприятных телефонных бесед со знакомыми духовными лицами. Ведь Гена Рыжов в тех своих передачах был современным зрителем бессмысленных, как ему казалось, духовных поисков, скептическим, ироничным и порою ехидным. Эпитет «атеист» для выбранной им роли был бы слишком мягок. Своими деликатными островами он жалил всех, с кем разговаривал на тему спасения. Но клиру доставалось несравненно больше, чем ищущим свой путь одиночкам. И в потоке его логичных, обличительных и местами красивых фраз слышалась даже некоторая симпатия к последним.

Желая познакомиться с Руфулусом.ры, которого, будучи сыном своего времени он не мог не знать, отец Андрей питал надежду, что слова этого юноши и его поведение были всего лишь ролью. И правда, у молодых людей, ещё не выстрадавших своих убеждений, такое сплошь и рядом. Даже у интеллектуалов. Их мозг, испещрённый, исцарапанный убедительными научными граффити, с лёгкостью поглощает крамолу, сатирически переоформляет её и с радостью делится ей. И публика ликует от того, что слышит то, что хочет слышать. И какой же оратор позволит себе отказаться от такого лёгкого успеха, от такой роли? Даже если сердце ею гнушается. Потерпит.

– Буду очень рад познакомиться с вами, – глядя в глаза Рыжову и не обращая внимания на слова сына, сказал отец Андрей.

– Взаимно, – весело ответил Гена и тоже протянул руку: – Геннадий.

Видя реакцию Рыжова, местный Гена с раздражением понял, что отбой откладывается на неопределённое время.

– Ну, пап! – еле слышно сказал он как будто себе самому, когда услышал вопрос отца: «Не откажетесь от чая? Самовар на веранде».

Чай пили из казахских пиал, приобретённых, наверное, ещё в советские времена. Говорили, как и предполагалось, о тех самых стримах Руфулуса.ры и вообще о религии, о человеке и о феномене юродства в православии позавчерашнем и сегодняшнем.

– Так вы тоже считаете их психически нездоровыми?

– Согласитесь, – улыбался Рыжов, – что во многих случаях это очевидно. Из шести персонажей, о которых я рассказывал, на учёте у психиатра не стоит только подмосковный виноторговец. Хотя его бывшая супруга пыталась его сдать, и, скорее всего, у неё бы это получилось, если бы он вовремя не переписал на неё большую часть своего бизнеса.

– Для юродивого слишком разумный ход, – вставил в разговор своё словечко Вящезлов-младший.

– Этот ход, – отозвался старший, – сделал не он.

Гена-местный смотрел на отца с неподдельным сочувствием. Первый раз отец Андрей ощутил на себе этот взгляд, когда Гене было пятнадцать. Ни осуждения, ни насмешки, только сочувствие.

– А все остальные что ни на есть завсегдатаи психиатрических лечебниц. У всех шизофрения разных степеней, все частично недееспособные. Самая лёгкая форма у Мишки Рыбинского. Он почти нормальный. Работает дворником в школе. Трудолюбивый до самозабвения. Нареканий ни от завхоза, ни от директора нет. Правда, каждый год у Мишки самого и ещё у половины школы замирает сердце перед медкомиссией. Но динамика его патологии стабильная, и его лечащий врач даёт медкомиссии гарантию, а та даёт Мишке медкнижку. Если бы его периодически на подвиги не тянуло, никто бы о нём ничего и не узнал.

– Это тот, которого церковные служки чуть до смерти не забили? – зевая, спросил Гена-местный.

Отец Андрей перекрестился.

– Я, наверное, эту серию не смотрел...

– Был такой случай с Мишкой. И смех, и грех. Однако сгущать краски не надо. Досталось ему, конечно, за свою инициативу, но не до смерти.

Гена-приезжий подлил себе чая и продолжил.

– Дело было зимой. После жестоких морозов оттепель до плюс двух. Всё потекло. Дня через три, под вечер, опять ударил мороз. Весь Рыбинск – сплошь каток, а завтра воскресенье. «Как православные в храм пойдут?» – задумался Мишка. А кварталах в пяти от его дома в те же

дни рвануло теплотрассу. Коммунальные службы сработали быстро, всё исправили, только перестарались, когда яму засыпали. Наверно, целый КамАЗ лишнего песка привезли. В двенадцать ночи взял Миша ключи от школьной дворницкой, где работал, и пошёл за тележкой и лопатой. И всю ночь катался с ними от храма, в который ходил каждый день, до песчаного пригорка на месте недавней аварии. И увлёкся. Он не просто посыпал песком вокруг церкви, он через всю площадь до троллейбусной остановки проложил грунтовую дорогу. Захочешь, не поскользнёшься. В себя он пришёл только в восемь утра, проснувшись на своём диване. И был уверен, что всё это ему просто приснилось. Ведь ни усталости, ни ломоты в суставах и мышцах не чувствовал.

И только подойдя к храму и увидев плоды своего ночного усердия, возликовал, понял, что не приснилось ему доброе дело, а сделалось им наяву. И правда, никто не скользит, никто не падает. Не то что у супермаркета. Только с каким-то ожесточением прихожане топают ногами перед входом, а навстречу им служки, пожилые женщины, выносят вёдрами песок. Взглянула одна из них на Мишу и враз поняла, кто виновник этой суеты. У него песок был не только на сапогах, но и на телогрейке и даже на шапке. Недолго сдерживались старухи. Взяли кто метлу, кто швабру, а кто тем же пустым ведром да и... А среди прихожан, видевших эту сцену, была редактор тамошней жёлтой газетки «Вечерний Андрыпинск», загорелось ей свечку поставить в тот день. И она своим смартфоном запечатлела несколько снимков, которые потом в сети набрали больше ста тысяч просмотров. Так Миша и стал знаменитостью.

Несмотря на то что оба Гены знали эту историю, они не отказали себе в удовольствии посмеяться ещё раз. Отец Андрей качал головой, но тоже улыбался.

– Не знаете, – спросил он у московского гостя, – попал Михаил в то воскресенье на службу?

– Знаю, – и весело, и грустно заговорил тот, – не попал. Поплёлся он в другой храм, заливаясь слезами, и, не доходя до него, поскользнулся, упал и сломал ногу. Да так сильно, что встать не мог. Метров семьдесят полз на четвереньках. Просить помощи стеснялся. Прохожие бросали на него брезгливые взгляды и спешили пройти мимо. Прихрамовые попрошайки с интересом издали наблюдали его борьбу с гололедицей. Но не подходили, думали – конкурент подползает. И только рослый молодой полицейский удосужился спросить у Михаила:

– Гражданин, что случилось?

И услышал в ответ:

– Бог меня наказал.

Отец Андрей живо представил себе эту картину, этот ветер с реки, 22 градуса мороза, этих прохожих и Михаила, которому полицейский, наверное, представлялся добрым самаритянином или даже ангелом, поднявшим его за шиворот со льда и заставившим на одной ноге допрыгать до ближайшей лавочки.

– На работу в школу Мишка вышел только в мае, – закончил Рыжов.

Гене-местному было скучно, и глаза слипались. Он хотел съехидничать, спросить, между прочим, чем живут такие люди? Но знал, что отцу это не понравится, и догадывался, что отец ответит на этот вопрос. Опять посоветует взглянуть на птиц небесных. С кем только и о чём только не доводилось Поповичу договариваться. Со всеми находил общий язык и добивался чего хотел. Если не как единомышленник,

то как ответственный и обязательный партнёр – точно. И только с родным отцом не получалось ни первое, ни второе. И, мучаясь мыслями об этом горе, Вящезлов-младший дремал.

Отец Андрей и Гена-блогер, убавив громкость беседы на тон, проговорили ещё с час. Консенсуса не искали, но осторожничали, слушали друг друга внимательно и отвечали не сразу, подбирали слова.

– Многим кажется, что для клира форма важнее содержания. Что для него вопрос «Как?» важнее, чем «Зачем?».

– Никто не застрахован от превратного представления о содержании. Может, «многим» поэтому так и кажется?

Примерно в таком ключе шла беседа.

Отец Андрей был раздосадован позицией, которую занял их гость, и пытался объяснить ему свою точку зрения. Симптомы святости часто копируют симптомы помешательства. Современник святого практически не в силах их различить. Тем более тот, для которого понятие «святость» весьма расплывчато, и в лучшем случае под ним понимается девственность. А пренебрежение инстинктом самосохранения или уход из социума – это для него однозначное безумство, какими бы мотивами оно ни было продиктовано.

– Только время может дать правильную оценку. Лет через пятьдесят станет понятно, что значили их поступки: блажь, глупость, лень, гордыню или святость.

– Или болезнь, – напомнил о предмете разговора гость, – не думаю, что того же Мишку Рыбинского кто-то вспомнит через пятьдесят лет.

– А ваш фильм о нём? Насколько я понимаю, его всегда можно будет извлечь со дна интернета. Может, он когда-нибудь и пригодится комиссии по канонизации. Вы большое дело сделали, пусть даже нехотя, пусть даже с комментариями от лукавого.

– Я правильно понимаю, вы вспыхнули симпатией к Мишке?

Отец Андрей несколько сконфузился таким почти фамильярным тоном. Надо сказать, что и москвич понял, что перегнул палку.

– Мне кажется, это естественно, – сказал священнослужитель как бы в раздумье.

Геннадий продолжал улыбаться, и в улыбке читалась его уверенность в сумасшествии этого прекрасного, трудолюбивого, богобоязненного человека из Рыбинска. И, как бы споря с его улыбкой, отец Андрей сказал:

– Грань между разумом и безумием условна. Всё зависит от того, на каком берегу вы стоите. Мой храм несколько лет посещал очень хороший, добродетельный прихожанин. Совсем взрослый, интеллигентный человек. На исповеди каялся не только в своих неприглядных словах и поступках, но даже в богопротивных помыслах. И ничто не предвещало его разрыва с церковью. Четыре года прошло, а его слова с последней исповеди так и звучат у меня в ушах. Каюсь, что поверил ужасной догадке. Я сразу насторожился. У него были некоторые сложности со здоровьем, неврологические; и как-то его лечащий врач не посоветовал, а просто потребовал проконсультироваться у психиатра. После пары консультаций мой добрый прихожанин сам захотел вникнуть в суть вопросов, которые задавал ему психиатр, поскольку человек он был с научной степенью, с рациональным и логическим складом ума. И всего через месяц, по его словам, «глаза открылись», и он пришёл к выводу, что его религиозность, его богобоязнь – это всего лишь симптомы.

Голос отца Андрея дрогнул, ему непросто давались слова:

– И он сокрушённо ещё добавил: «Знаете, как это бывает у обманутых супругов? Однажды утром все пазлы складываются в нестираемую картину. Там она что-то сказала, там опоздала, здесь почему-то не ругалась, кто-то что-то видел, кто-то намекал, кто-то загадочно шутил. Но всё это в движении, картинка смазана, не разобрать. И вот замковый пазл и железобетонная мозаика давит и вашу любовь, и вашу веру и не оставляет надежды. И всё становится понятно: когда, зачем и почему».

– Должно быть, знал, о чём говорил, – не открывая глаз, вставил Попович. Некрепко спал и всю беседу слышал.

– Моему прихожанину, – продолжал отец Андрей, – пособия по психиатрии дозированно выдавали пазл за пазлом. И он не мог им не верить. По сути, они не спорили, есть Бог или нет. Они просто убеждали его в том, что он сам сумасшедший. А сумасшедшим всегда что-то мерещится. В связи с этим его вера обесценилась и превратилась в диагноз. Обезличился и он сам. И не устоял. И, боюсь, с радостью бросился в объятия настоящего безумия.

– Что-то мне подсказывает, что вы больше не встречали его, – сказал гость.

Отец Андрей из стороны в сторону горестно покачал головой.

– Как-то раз в Сбербанке, кажется, мы встретились взглядами, но он сразу же отвернулся. А в храме больше не видел.

– «Игры разума», русская версия, – говорил Рыжов дальше, – фильм такой есть. В нём один учёный побеждает свою паранойю и свои фантомные галлюцинации исключительно силой мысли.

– В случае, про который рассказывал я, наоборот. Сила мысли отвратила человека от Истины и толкнула в хоровод галлюцинаций.

Рыжов еле сдержался, так хотел задать пилатовский вопрос, но вовремя понял, что он может стать неисчерпаемой темой для продолжения разговора, а небо между тем уже посветлело.

Усталость, накопившаяся за день, и домашний привычный уют окончательно сморили Вящезлова-младшего, и он засопел и финальную часть разговора уже не слышал. Его отец и его гость одновременно обернулись к нему и несколько секунд молча разглядывали его правильный и даже во сне красивый профиль. Рыжов хотел спросить отца Андрея, гордится ли он своим сыном? Но не успел, священнослужитель заговорил раньше:

– Наверное, и нам пора. – И повернул голову к Гене.

– Да, время неумолимо.

И никаких выводов.

После разговоров был чуть тёплой душ. Потом три часа с небольшим глубокого сна без снов. Снова душ, теперь совсем холодный. Потом вкусные оладьи на завтрак.

Отец Андрей сегодня был задумчивый и немногословный, в торжественной, глубоко чёрной рясе, не протягивая руки для поцелуя, благословил молодых людей и уехал на выдавшем виды семейном автомобиле, которым управлял его младший сын.

И, наконец, позвонила Лилия. Надо сказать, что её звонка ждали оба Гены. И москвич чувствовал, что так же, как и у него, у местного Гены кроме заинтересованности в скорейшем разговоре Рыжова с её отцом был попутный мотив.

## Стихи по кругу

**Евгений ХАРИТОНОВ**

*Белгород*

\* \* \*

Не всем дано понять в моей стране,  
Что значит жить годами на войне.  
Сдержав в себе волнение и страх,  
Бежать в подвал с ребёнком на руках.

Прикрыв его, кричащего, спиной.  
А вы детей видали с сединой?  
Которых бы от шороха трясло?  
Не видели? Ну что ж, вам повезло!

**Дмитрий ЛАРИОНОВ**

*Санкт-Петербург*

\* \* \*

Сумрак был из узоров озона  
*/и над ним пограничный колтак/,*  
где в потоке сухого сезона  
колокольчик снимает рыбак.

«Вот подумай. Судьба торопила?» –  
скажет кореш, в ладонь не дыша.  
<...> а прозрачная флейта Тропилло  
с двух альбомов поныне слышна,

в этом принцип застрочного звука.  
Для иного нам – плеер Hi-Fi.  
Кто-то выдумал термин «разлука»,  
поместив его в гербовый файл.

<...> если дождь, если белые ночи  
*/или сумрак в панельном лесу/...*  
для тебя просто так, между прочим,  
колокольчик оставлю внизу.

\* \* \*

Утро на Черной речке.  
Птица над неживой водой.

Глаз золотая свечка  
свяжет ягодой молодой

*/стает святой морошкой/.*  
И от выстрела – в январе –  
мили сверстает лошадь.  
Вечной музыки акварель

хлынет золой за ушко.  
Рядом ангел */пыльца в руке/*  
скажет: «А это Пушкин».  
Солнце на ледяном цветке.

## Прозрение

Казалось, что не торопилась  
Ко мне сойти Господня милость.  
Всю жизнь её смиренно ждал.  
А этим утром осознал...

И вспыхнул стыд огнём на коже:  
Та милость – жизнь! Простишь ли, Боже,  
Душе незрелой слепоту,  
Принявшей свет за темноту?

**Алексей САКОВ**

Москва

## Звезда за окном

В полумраке ночном  
Появилась звезда  
И взошла за окном,  
Зацепив провода.  
Загорелась свечой  
И вдоль каменных стен  
Повела за собой  
В древний град Вифлеем.

Где сидят у костра  
В тишине пастухи  
И гуляют ветра,  
Как стада по степи.  
Озаряется тьма  
Светом ангельских сил  
И прозрачный туман  
Над полями висит.

Где с дарами волхвы  
Пред Младенцем стоят

И седые главы  
Поднимать не хотят.  
Перед Тем, на Кого  
Указала звезда  
И осталась гореть  
За окном навсегда.

## **Александр ЛУШИН**

*Нижний Новгород*

### **Моим друзьям**

Мои друзья по-тихому ушли,  
Я каюсь, что кого-то не заметил,  
Теперь они в другом витают свете  
И мирную обитель там нашли.

А я живу, по улицам брожу,  
Которых нет давно – теперь иные.  
Мои воспоминанья золотые,  
Я вами бесконечно дорожу.

Такого чудодейственного средства  
Наука не нашла еще пока,  
Чтоб окунуться с головою в детство,  
Смеющиеся видеть облака.

Как иногда мне хочется, не скрою,  
В одних трусах и просто босиком  
Бежать густой травой-муравой  
С ландринкою цветной под языком.

Мои друзья, бывает память лжива,  
И только одного себе прошу,  
Чтобы в душе моей вы были живы,  
Пока я здесь живу, люблю, дышу.

## **Мария ЛЕОНТЬЕВА**

*Санкт-Петербург*

\* \* \*

Сюжетов только два – земля и небо.  
Они вдвоём – ещё один сюжет,  
Который здесь, нашаривая слепо,  
Обходит стороной один поэт.  
Ему горит сирень над гаражами,  
И солнце улыбается светло,  
Когда он на велосипедной раме –  
Давным-давно – кому-то повезло

Смотреть, как он в деревню едет к маме,  
Не чуя неземное ремесло.

\* \* \*

Из окон виден дом-стакан,  
Он притулился за хрущевкой.  
Наверное, ныкается там,  
В руке огромной и неловкой.  
Налитый небом – до краёв,  
Людьми налитый, снами, днями.  
Такой стакан, что будь здоров –  
Он возвышается над нами.  
Как будто небо от жары  
Так выгорело, что поблёлкло.  
Февраль сморозил про миры  
И тут же вылепил на стёклах  
Дворцы и башни, пар живой  
Заколыхался над стаканом.  
И в ночь унёсся по кривой,  
Прикидываясь великаном.

## Ксения КРУТИНА

*Нижний Новгород*

### Поэма о вокзале

#### 1

Весь мир сошел с ума, и мы сошли  
На остановке около вокзала.  
Привыкший измерять пути словами,  
Прислушивайся к отзвукам души,  
Смотри на жизнь в вокзальной тишине,  
Где встречи притупляют расставанья.  
Мы помним о любви; но на вокзале  
Все мысли замыкаются на ней.  
Весь мир сошел с ума, и наш черед  
Сойти с ума. Дверь закрывая ловко,  
Маршрутка уезжает по осколкам,  
Как самолёт, движением на взлет.  
У каждого «вперёд» своя цена.  
Сопротивленье ветра, расстоянье  
И эхо в переполненном вокзале –  
Как почести, обещанные нам.  
Так принимай их с честью. Незачем  
Опровергать присутствие печали.  
Рука переплетается с молчаньем,  
Как жизнь сплетается с небытием.  
Весь мир сошёл с ума, и мы сойдем  
С ума; это недолго и не больно.

Исчезнем со всех карт первопрестольной  
 Каким-нибудь холодным майским днем.  
 Уехать прочь, уехать никуда,  
 Уехать – это странная свобода.  
 Стяжая волю, мы уйдём под воду;  
 Со временем привыкнем к поездкам...

## 2

Мир посерел, как будто вороньё.  
 А я в каком-то красном сарафане  
 Молюсь за тех, кто входит в тьму вокзала;  
 За тех, кто выплывает из неё.  
 И непристойный, странный, стольный град  
 Расплылся весь, растаскан на запчасти.  
 Рука переплетается с несчастьем,  
 Не находя для этого преград.  
 Куда умчит нас бешеный «Сапсан»,  
 И сможем ли запомнить мы дорогу?  
 В ушах звенит заветная тревога,  
 Все лица узнаются по глазам.  
 Любовь, что неизбежнее войны,  
 Там, впереди, не скрыта и не явна;  
 Дорога все равно ведёт обратно –  
 Так важно ли, что будем там не мы?  
 И все вернётся. В гавань, ото сна  
 Восставшую, нахлынут пешеходы;  
 Шум, чемоданы, свадьбы и разводы,  
 Такая же холодная весна.  
 Всё сходит с рельс, но обретает цель.  
 Мы – перебрав все «здравствуй» и «до встречи» –  
 Не помня больше слов из русской речи,  
 Молчим в воспламененной пустоте.  
 И что с нас взять? Весь мир сошёл с ума,  
 И мы сошли с ума в своём итоге.  
 На площади вокзальной я у бога  
 Просила развезти нас по домам.

. . . . .

Весь мир сошел с ума, и мы сойдем  
 Минут за 20 где-то до отправки.  
 И, наведя об этом месте справки,  
 Его ни разу больше не найдем.

**Иван УДАЛЬЦОВ**

*Москва*

\* \* \*

Эта мысль неизменна,  
 Неотступен этот бред:

Чем себя среди вселенной  
Оправдать сумел поэт,

Чем купил себе бессмертье,  
Чем соскрёб испанский стыд?  
Только тем, что Толстой Берте  
Предпочёл он алфавит.

## Мария ВУЛЬФ

*Выкса, Нижегородская область*

### Север

Мне снова снится родной, далекий,  
Среди туманов, снегов и льдин,  
Бескрайний север мой многоокий,  
Сугробов пыльных аквамарин.  
Мой полуостров, ночей полярных  
Ты повелитель, и брат, и друг,  
И по-хозяйски, в мехах нарядных  
Украсил лентой полярный круг.  
Владыка тундры, снегов хозяин,  
Пушного зверя ты господин,  
Просторны земли твоих окраин,  
Богаты дали твоих равнин.  
В морозном звоне стоят как вазы  
Сугробы снега, что до небес,  
И смотрят звезды зеленоглазо  
И щемит душу от всех чудес.

## Елена ГАЛИАСКАРОВА

*Красноярск*

### Возвращение

Ты возвращаешься – ветрена и бледна,  
Взгляд хищно-цепкий и голос лукаво-звонкий,  
Гордая, дерзкая, пьяная без вина,  
И восклицаешь: «Пойдёмте гулять, девчонки!»  
Девушка-голем, с тесьмою на рукавах,  
Наспех пришитой, широкой, зелёно-красной,  
Зла и жестока, всегда и во всём права,  
Солнечный день превращаешь легко в ненастный.  
Создана тёмною силою побеждать,  
Ходишь тропинкою узкою, лесом, полем;  
Вьётся поклонников преданных рядом рать,  
Не понимая, что с ними бездушный голем –  
Глиняный, бронзовый, может быть, золотой,  
Бродит по свету, себе не находит места

И, подойдя, за невидимою чертой  
Шепчет протяжно: «Привет, а у нас фиеста».  
Я улыбаюсь ей, смело гляжу в глаза,  
Но на душе одиноко и мрачно-пусто.  
Неба пленяет бескрайняя бирюза,  
Ветка сирени ломается с тихим хрустом...  
Девушка-голем в ладони берёт цветы,  
Ищет пятилепестковые для удачи,  
Но не находит. Крадётся из темноты  
Девы поклонник, печален и озадачен.  
Он виноват, что красавицу полюбил,  
Правду забыл, лжи служил много зим и весён.  
Лето ушло, растеряв жаркой страсти пыл,  
Рыжей лисицей гуляет по свету осень...

### Снегом укутанный сад

Вышит на шелке  
Снегом укутанный сад...  
Старая скатерть.

**Вадим БОРЗИХИН**

*Пенза*

### Сельское

Выдёргивая лук из одряхлевшей тверди,  
Ты понимаешь вдруг, что далеко до смерти,  
Что осень впереди не остановит хода,  
И будет жизнь идти быстрее год от года.

И с рук смывая грязь и ранки промывая,  
Ты будешь каждый раз припоминать до края,  
Что завтра новый день и новые заботы,  
И сад, и огород, и баня по субботам.

А вечером присев тихонько на скамейку,  
Прижав к груди топор, поставив рядом лейку,  
Ты ощутишь покой в себе и в мирозданье,  
Ведь жизни суть в одном – в процессе созиданья.

## Литературный архив

**Рюрик ИВНЕВ**  
(1891–1981)

### БУЛЬВАР

Каждый день на бульваре было одно и то же – будто время остановилось и через это остановившееся время, как через площадь, двигалась кем-то раз и навсегда заведённая машина и будто лента этой машины – пёстрая, живая, была намотана на катушку бульвара. Здесь было всё: улыбки, разговоры, смешки, бумажки от конфет, семечки, косточки от вишен и абрикосов, степенные собачки на цепочках, собаки без цепочек, кошки с исцарапанными носами, облизывающиеся розовым язычком, всегда немного таинственные и загадочные, полосатые мячи, игрушечные лошади, дети, шляпки, галстучки, трости и многое другое. Всё это было соединено в одну движущуюся массу, крепкую, липкую, неумолимую, – от неё не отвяжешься, её не обойдёшь! Она засосёт тебя, заключит в свои цепкие объятия, понесёт вниз по течению, ты и шапкой махнуть не успеешь.

Двигается эта масса, шумит, шуршит, каждый день как будто другая, и в то же время та же; как будто та же, и в то же время другая; и разговор как будто тот же, раз навсегда заведённый. Точно один рот, одни зубы, одни языки, одни уши у ленты этой пёстрой, движущейся, омывающей берега бульвара толпы: в одном месте услышишь:

– Ах, – оглянуться не успеешь, как в другом, далеко от первого:

– Ах, – уплыло, протекло.

– Какой же вы? – не успеешь запомнить лица того, кто произнёс эти слова, как в третьем месте:

– Любезник! – и невольно соединяешь в одно эти три восклицания, вылетевшие из трёх разных ртов, в разных концах бульвара, и получается одно – (один рот, один язык, одни уши!).

– Ах, какой вы любезник, – точно один кусок бульвара, нагнувшись к другому, шепчет, шурша пыльными, как бы залежавшимися деревьями:

– Ах, какой вы любезник.

Или пронесётся над самым ухом:

– А-гы-гы-гы, – и орава ртов, вооружённых зубами, белыми, как снег на заре, промчится вдаль, пронесётся вниз по течению и не успеют заглухнуть раскаты этого «гы-гы-гы», – как на смену несутся новые крики и смех, и сейчас же, как бы продолжение этих звуков, но более тихое, заглушённое, перешедшее в шепоток:

– Ну, как ваши?

– Ничего, а ваши?

– Спасибо, наши ничего.

Машина заведена, смазана человеческим потом, слюной отапливается человеческим дыханием, спёртым и душным, и не может остановиться. И движется она пёстрой, лентой, вниз по течению, через площадь остановившегося времени. И вместе с этой машиной, в этой машине, одним из её винтиков (если можно применить это сравнение к рыхлой движущейся массе), был Иван Васильевич Шесток – мелкий служащий Моссукуна.

Каждый день совершал он прогулки по бульвару, каждый день проносился одной из точек на узоре пёстрой человеческой ленты и не замечал ничего – ни лиц, ни конфет, ни бумажек от конфет, ни кошек, ни собак, ни деревьев. Он шёл медленно и степенно, с палкой и портфелем (с которым никогда не расставался «для солидности»), и как-то особенно дышал – по системе Миллера, усвоенной им лишь недавно по слепой случайности: книга Миллера попала к нему в числе «5 книг за 3 копейки» у Ильинских ворот.

Надо сказать, что Иван Васильевич почти никогда ничего не замечал, так занят был собой и своими мыслями. Думал он о многом: как хорошо бы получить прибавку, и как удивились все на службе, если бы в один прекрасный день он подъехал в казённом экипаже и сказал: «Теперь я у вас главный», а ещё хорошо, если бы он вдруг получил титул графа Монте-Кристо и уехал в Италию в своё поместье. Эта смешная мысль с самым серьёзным видом посещала его голову, приходила в гости, как приходят люди попить чай, побеседовать, однако, надо сознаться, что, подобно приличным гостям, долго не застревала в голове. Каждая мысль находила своё противоядие: прибавки он всё равно не получит, на казённом экипаже к месту службы не подъедет: надо было раньше об этом думать, не саботировать рабоче-крестьянскую власть, когда он был чиновником контрольной палаты, а сразу прийти и сказать: «Я с вами». Но кто мог подумать, что «это» продержится, а насчёт графа Монте-Кристо совсем нелепо – нет у него за границей родных, которые могли бы умереть и оставить состояние и этот фантастический титул, но это пустяки. Главное в том, что вот уже неделя, как Иван Васильевич потерял покой и, гуляя по бульвару, ничего не замечал, кроме одного, вернее, одной. Это была девушка или женщина лет двадцати пяти, стройная, худенькая, нежная; она, как и Иван Васильевич, приходила на бульвар в те же часы и всегда одна.

В последнее время с Иваном Васильевичем творилось что-то необычное: снились какие-то птицы, рыбы, похожие на женщин, голые тела... Ему было сорок девять лет, всю жизнь он прожил один, никогда не мечтал о женитьбе, женщин боялся как огня, и вдруг сразу точно вихрь налетел, закрутил и... бросил к ногам какой-то незнакомой, худенькой, бедно одетой женщины.

Бывают явления, которые человек может быстро объяснить, а бывают такие, над которыми как ни бейся, всё равно не узнаешь истины. История с неизвестной была для Ивана Васильевича явлением загадочным: он ничего не мог понять, кроме того, что его неудержимо влекло к ней. Он едва досиживал на службе положенное время, бежал в вегетарианскую столовую, наспех съедал суп-пюре и рисовый пудинг и мчался на бульвар. Там, в определённом месте, недалеко от кафе «Моссельпром», прогуливалась его незнакомка, грустная, тихая, всегда одна. Иван Васильевич не знал, что будет дальше, но чувствовал, что долго так продолжаться не может. Надо решиться на какой-то шаг, но на ка-

кой – он не знал. И лишь в конце недели, случайно, за рисовым пудингом, пришла мысль – простая и тихая, как незнакомка.

В этот же вечер он подошёл к ней. Против его ожидания, она не оттолкнула его, не возмутилась, даже помогла ему в ужаснейшем положении (Иван Васильевич был неопытен и беспомощен). Она заговорила первая. Завязался разговор. Сердце его колотилось. Она рассказала о себе. Это была простая и грустная повесть: дочь врача, погибшего во время Гражданской войны, сирота, не умеющая работать, жизнь, полная нужды, почти нищета. В прошлом году сошлась с человеком (кто он, она не хотела сказать), он её бросил, теперь она одна, жизнь трудная, тяжёлая, единственный выход – продавать себя, но она не может на это решиться, не может...

Они сидели на боковой аллее, в укромном уголке, на скамейке. Он смотрел на неё искоса – она казалась такой близкой. Он взял её руку. Она не сопротивлялась. И вдруг он почувствовал жуткую пустоту своей одинокой холостяцкой жизни. Перед ним проносились его годы – сухие, шершавые, серые, как пыльные крокетные шары в душном летнем сарае, его комната, узкая железная кровать, пыльные занавески, посуда, всегда недомытая, – он не умел мыть, как следует. Всё это вставало перед глазами, напоминая о том, что впереди – годы, такие же пыльные, безрадостные, одинокие.

Он ещё раз окинул взглядом прошлую жизнь: точно луч солнца ударил в затхлый подвал и осветил паутину, пыль, грязь, которые раньше были незаметны. Он увидел, чего не замечал прежде: грязную неряшливую жизнь, нужду, одиночество, скуку холостой комнаты. «Точно всю жизнь на одной ноге прыгать, – подумал он, – такова доля холостяка». Он подумал также о том, как портится характер у одинокого – рождается сухость, злоба, зависть, развивается эгоизм. Одна мысль вызывала другую.

Он не удивился, что в одно мгновение в нём произошла такая перемена – старая жизнь показалась ненужной, нудной, нелепой, мучительно захотелось иного – тихой семейной пристани. «Сама судьба посылает её ко мне», – подумал он, чувствуя, что не обманывается, от неё веяло такой скорбью и порядочностью, что он, растерянный, взволнованный, задыхаясь от нового, не испытанного чувства, скороговоркой проговорил (путаясь, сбиваясь и краснея):

– А скажите, если порядочный человек... служащий... сочувствующий Советской власти... правда, немолодой, но... не потрёпанный жизнью... сделал бы вам предложение, какой был бы ваш ответ... – он запнулся. «Какой был бы ваш ответ» – ему не понравилось, точно канцелярский выкрутас, но поправляться поздно, тем более что она, не замечая стилистических погрешностей собеседника, ответила прямо и просто:

– Я так люблю жизнь... так хочу жить, честно и порядочно, что ни минуты не задумалась бы, – и, сделав маленькую паузу, добавила, – даже лучше, что пожилой.

Иван Васильевич подумал, что жалование его, хотя и маленькое, но тяжёлые пайковые времена прошли, он аккуратен, скромн, и жена почти ничего не будет стоить, даже может экономия выйти. Что было дальше – он помнит как сквозь сон – всё было так странно в этот душный июльский вечер, они шли по бульвару под руку, как старые знакомые (он наблюдал искоса за самим собой и своей спутницей и решил, что имеет степенный и благородный вид). Когда прогулка их утомила,

пригласил её к себе. Она согласилась сразу, без кривляний. Это ему понравилось. Мы живём не в восемнадцатом веке, и революция принесла пользу в смысле упрощения жизни и искоренения нелепых предрассудков, которые отравляли прежде и без того несладкую жизнь.

Он открыл дверь своим ключом. Она держала себя просто и хорошо. Иван Васильевич любовался ею – она не была красива, но в ней было какое-то очарование, недаром она сразу покорила его сердце, которое не билось сильнее при приближении других женщин – а скольких он встречал на своём веку. Она начала распоряжаться, он не успел оглянуться, как на столе было всё – хлеб, масло, шипел примус. В ожидании, когда закипит вода в чайнике, она села в кресло.

Он подошёл к ней:

– Вот мы и дома. – И вдруг засмеялся: – А я не знаю, как вас зовут!

– Мария Ивановна, – ответила она.

– Мария Ивановна, Иван Васильевич, Мария Ивановна, Иван Васильевич, – повторил он несколько раз, – очень хорошо получается. Вы хотите кушать? Я приготовлю вам яичницу. Скажите, не стесняйтесь. – Потом, не дожидаясь ответа, обнял её. Она не сопротивлялась. Это возбуждало ещё больше. У него закружилась голова.

....

Через полчаса они сидели за чайным столом, молчаливые и тихие. Ивану Васильевичу она уже не казалась привлекательной, таинственной незнакомкой. Мария Ивановна была смущена. Она не ожидала, что всё так случится. Иван Васильевич смотрел на её худые плечи и думал: «А вдруг привяжется и не уйдёт или начнёт ходить каждый день, свяжет по рукам и ногам». От этой мысли у него начало сосать под ложечкой (так ему казалось). Его раздражал запах одеколона. «Эти женщины, – подумал он, – есть нечего, а тратятся на духи, впрочем, может быть, ей дарят такие же дураки, как и я. Вероятно, их много. Я тоже хорош, чуть не вляпался, жениться захотел...»

– Что же вы не пьёте?

Иван Васильевич незаметно убрал масло, оставив на столе один хлеб.

Мария Ивановна почувствовала перемену в Иване Васильевиче и сидела грустная и тихая. Иван Васильевич вспомнил, что обещал угостить гостью яичницей.

– Может быть, вы хотите... кушать? – нерешительно спросил он.

Мария Ивановна опустила голову и тихо ответила:

– Если можно... Я не ела с утра.

Иван Васильевич с шумом поднялся:

– Сейчас, сейчас. – «Чёрт знает что такое, – продумал он, – теперь возись с ней! Как всё это глупо вышло. Только купил десяток яиц, думал, на пять дней, по два каждое утро, а теперь... из скольких яиц сделать яичницу? Из трёх? Меньше нельзя», – он подошёл к подоконнику. За окном был ящик для продуктов. Вынув из мешочка три яйца, он вдруг положил одно обратно, – довольно и двух, незаметно ведь сколько, сделаю смешанную. Ах, чёрт, связался... жениться захотел... вот глупо...» – Он, пыхтя, начал нехотя готовить яичницу.

Мария Ивановна сидела затихшая и тоже не могла понять, как всё это произошло. На неё тоже нашло наваждение, там, на бульваре она поверила, что идёт к человеку, а не к мужчине. Она знала горечь жизни, но знала также, что бывают разные исключения.

Когда яичница была готова, Иван Васильевич поставил её на стол, а сам отошёл в сторону: ему неприятно было смотреть, как Мария Ивановна, торопясь и обжигаясь, начала есть. На мгновение показалось, что вернулся 20-й год: пайки, вобла, сухари... Ему приходилось тогда особенно туго и поэтому стало так неприятно, точно кто-то насильно заставлял его смотреть на отвратительные, вызывающие тошноту, снимки болезней и язв.

Мария Ивановна сделала вид, что насытилась.

– Мне так совестно, — сказала она.

– Ничего, ничего. — Ивану Васильевичу было не по себе: хоть бы скорее она уходила. Неужели не догадается...

Как бы отгадывая его мысли, женщина сказала:

– Мне пора.

Иван Васильевич её не задерживал, а подумал: «Может быть, ей надо что-нибудь дать? — Но сейчас же себя выругал: — Разве можно, ведь она не проститутка». Он проводил её до дверей, растерянную, тихую, сконфуженную.

– Ну, вот... до свидания, — сказала она.

– До свидания, — ответил он, — и почему-то начал гладить её по плечу. Плечо было худенькое и вздрагивало, как птичка, упавшая из гнезда.

– Как-нибудь встретимся, — сказал он на прощание, — а сам подумал: «Господи, как хорошо, что не спросила ни фамилии, ни адреса, а вдруг... запомнит, так и зайдёт», — Знаете, вы ко мне... без меня — сказал он, запинаясь, — не приходите. Здесь квартира уплотнённая, чужие, неудобно...

– Нет, что вы, что вы, — залепетала та. И ушла. Её шляпка качнулась в воздухе и исчезла. Так исчезают птицы в воздухе.

«Завтра пойду на другой бульвар, а то встретишь, неудобно как-то...».

На другой день Иван Васильевич был на другом бульваре, и там было, как и на прежнем. Каждый день одно и то же, будто время остановилось, и через это остановившееся время, как через площадь, двигалась кем-то раз навсегда заведённая машина, и будто лента этой машины — пёстрая, живая, была намотана на катушку бульвара. Здесь было всё: улыбки, разговоры, смешки, бумажки от конфет, семечки, косточки от вишен и абрикосов, степенные собачки на цепочках, собаки без цепочек, кошки с исцарапанными носами, облизывающиеся розовым язычком, всегда немного таинственные и загадочные, полосатые мячи, игрушечные лошадки, дети, шляпки, галстучки, трости и многое другое. Всё это было соединено в одну движущуюся массу, крепкую, липкую, неумолимую, — от неё не отвяжешься, её не обойдёшь! Она засосёт тебя, заключит в свои цепкие объятия, понесёт вниз по течению, ты и шапкой махнуть не успеешь.

Двигается эта масса, шумит, шуршит, каждый день как будто другая, и в то же время та же, как будто та же, и в то же время другая; и разговор как будто тот же, раз навсегда заведённый. Точно один рот, одни зубы, один язык, одни уши.

**Николай БЕНЕДИКТОВ**

Российский политический деятель, философ, писатель. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор пятнадцати книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа, «Записки о русском» (Н. Новгород, 2020). Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

**«ДВА ЧУВСТВА ДИВНО БЛИЗКИ НАМ...»**

О русском языке, древности и исторической памяти

Сегодня Россия живет в явном нестроении – в головах и не только. Кто-то воюет, а кто-то пляшет и отдыхает в стране НАТО, в Совете Федерации сидят заседают люди с двойным гражданством, кто-то организует помощь бойцам СВО, а кто-то – голые вечеринки... Нет единства в идеологии и мировоззрении. Это очень опасно, ибо народ разделившийся погибает. Поэтому и хочу поделиться своими соображениями по поводу некоторых спорных или неясных проблем. Понимаю, мало кто будет читать сухой научный текст, отсюда разговорный стиль написанного, а также вкрапления личных наблюдений и примеров из собственной жизни.

Итак, я, Бенедиктов Николай Анатольевич, родился в Горьком, но осознал себя в два года, в столице Таджикистана Сталинабаде (теперь Душанбе). Отец, Бенедиктов Анатолий Андреевич, после защиты кандидатской диссертации в Ленинградском университете поехал работать в Среднюю Азию. Позже он защитил докторскую диссертацию, стал профессором, и мы вернулись в Горький на родину. Дед мой по отцу был священником из духовного сословия, известного с XVI века (глубже в веках проследить трудно, так как архивы до Смутного времени находятся в Москве и надо много денег и времени, чтобы добраться до ранних источников). Дед – Бенедиктов Андрей Николаевич – был последним из священников церкви Покрова, по имени которой названа центральная улица Нижнего Новгорода. Он был в 1937 году расстрелян, в 1954-м реабилитирован, а в 2000 году причислен к лику святых. Отсюда и мой интерес к православию и истории родного края. Его сыновья – мои дядья – в Великую Отечественную войну воевали, после войны стали научными работниками. Отец был востоковедом,

специалистом по Индии, Таджикистану и Индокитаю. Знал и читал на большинстве индоиранских языков, на таджикском читал лекции. Отсюда и мой интерес к истории индоевропейского племени, тяга к языкам и истории. И конечно же, патриотической настрой безусловно сказывался всю жизнь. Дома всегда была хорошая библиотека художественной и научной литературы. И, разумеется, множество словарей языковых – английских, французских, немецких, латыни, таджикских, фарси, дари, хинди, урду, санскрит, а также Большая советская энциклопедия, дореволюционная Брокгауза и Эфрона, историческая, географическая и т. д. Были и книги с дружескими надписями однокашников по Ленинградскому университету, фронтовиков и больших ученых – китаиста В. Илюшечкина, тюрколога Л. Гумилева, санскритолога и переводчика «Махабхараты» В. Кальянова. Видимо, все это сказалось на мне, и я стал книжником, читал задолго до школы и читал всегда.

Немного о Таджикистане. Сталинабад (теперь Душанбе) расположен в Гиссарской долине на реке Душанбинке, образовавшейся после слияния рек Варзоб и Лучоб. «Об» – по-таджикски «вода», а Варзоб – «ворчащая, рычащая и очень громко ревущая река». В начале 1950-х годов это был город едва ли со стотысячным населением. Ночью слышался не только рев горной реки, но и тьякканье шакалов. После переезда в новую квартиру на улице Лахути стали жить у Красной площади, которая представляла собой громадную площадь-пустырь. Через нее проходила асфальтовая дорога, на которой происходил в праздничные дни военный парад перед небольшой трибуной. В будни ребята играли в футбол или школьники, занимающиеся на Детской технической станции, запускали самолеты с моторчиком. Это было задолго до СВО, но дроны, как видите, уже летали. На площади останавливались верблюжьи караваны, тем более что до Зеленого базара было рукой подать. Жизнь была очень многонациональная. В нашей русской школе (уровень преподавания в ней был выше, чем в таджикской, впрочем, как и сейчас) учились русские, украинцы, белорусы, татары, армяне, немцы, мордва, евреи, корейцы, таджики, узбеки, осетин, чеченец (я перечислил состав своих одноклассников). Национальных столкновений не помню, однако надо было разбираться и различать национальности ребят. Например, памирцы официально писались таджиками, но сами они подчеркивали, что они не таджики, а памирцы, что они потомки Александра Македонского и т. п. Речевое общение было весьма смешанным, в разговоре употреблялись местные слова из разных языковых групп. Так, «тохта» и «бале» были понятны всем, означали «хватит, достаточно, довольно», но по происхождению были одно из тюркских (узбекского), а другое из иранского (таджикского) языков. Через много лет в Иране в Тегеране я смог объяснить с местными на своем таджикском (схожие языки – как русский с украинским). Дикая жара расслабляла жителей. Летом помню температуру 48 градусов. Летом с 12-ти до 4-х на улице нельзя было увидеть не только людей, но и собак. В это время завешивали плотным одеялом окошки от солнца, холодной водой мочили полы и лежали в трусах под вентилятором, пережидая жару.

Отец нередко ругал студентов и аспирантов таджиков, а я у него спросил о способностях местных. Он ответил, что способности неплохие, однако уедут на лето домой, например в Исфару, там не работают, а сидят в чайхане, пьют чай, едят плов, виноград, ведут неспешную

беседу, а в сентябре никак не могут переключиться на рабочий режим. Еще помню: идут мимо нашего дома на Зеленый базар или с него люди, и очень часто видишь одну картину: впереди идет мужчина-ака с пустыми руками, шествует, а сзади плетется нагруженная мешками, сумками с покупками жена, а за ее одежды цепляются маленькие дети. В поле и школьников вывозили на сбор хлопка, и там видна была та же картина – в поле работают женщины, а мужчины сидят в чайхане. . На Памире женщина много свободнее: всегда открытые лица, никакой паранджи, совершенно европейские лица с нередко светлыми зелеными или голубыми глазами и каштановыми, едва ли не русыми волосами. Памирские женщины-таджички настолько уверенно чувствуют себя в обществе, что некоторые путешественники писали о матриархате на Памире. Если сравнить киргизов и таджиков Памира, то бросается в глаза различный уровень культуры. Памирцы-таджики земледельцы жили основательнее и много чище киргизов, которые жили кочевым или отгонным скотоводством. У таджиков, а уж тем более у памирцев женщины в мою бытность не прятали лиц, как Гюльчатая в «Белом солнце пустыни». Фильм же снимался в Туркмении в Мервском оазисе. И там слова Абдуллы, сказанные жене: «Почему ты не умерла?» – не кажутся преувеличением. Друг работал в Туркмении и говорил, что советская власть всегда боролась с обычаем самосожжения вдов, однако не смогла уничтожить этот жестокий обычай.

Отец писал книгу «История таджикского народа», и мне удалось прочитать редкий документ. В 70-х годах XIX века афганцы решили исправить памирцев-исмаилитов и привести их к «правильному» исламу. Афганцы убивали мужчин, а тех редких, кого оставляли в живых, увечили – отрубали руки по локоть. Когда русский военный отряд появился на Памире, то люди кидались к ним с плачем как к спасителям. Численность памирского населения восстановилась только к 30-м годам XX века. На фоне таких фактов выглядят нелепыми сегодняшние попытки обвинить русских в «завоевании» Средней Азии. На самом деле это было освобождение. Основателя современной таджикской литературы Садрриддина Айни Красная армия вызволила из зиндана – подземной тюрьмы бухарского эмира. А казахи, узбеки, киргизы стремились защититься русским войском от джунгарского зверского господства и становились вассалами русского царя. Когда в 1991 году рухнул Советский Союз, то в Таджикистане это почувствовали сразу. Самая большая рождаемость была в СССР у таджиков – 10–11 детей на семью, с после 1991 года сразу рождаемость упала в два раза и стала 5 детей на семью. Конечно, это сюжет отдельный, однако стоит помнить, что Россия, а потом СССР были защитниками и освободителями среднеазиатских (и не только) народов.

Вернемся к моей истории. Я окончил исторический факультет Горьковского госуниверситета, защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации. Стал профессором, работал в университете, на излете советской эры был мобилизован в партийные органы, стал секретарем обкома КПСС, а после 1991 года работал в университете на кафедре философии, был секретарем обкома КПРФ, два срока – депутатом Государственной Думы. Написал ряд книг научных и публицистических.

Итак, анкету заполнив, переходим к главному содержанию, то есть к тому, что мне хотелось бы сказать и облегчить свою душу. Недавно отмечали праздник святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, основателей русской письменности. Так праздник называется официально.

Название столь же сомнительно, как и все, что придумали либералы-западники. Подумайте сами: разве апостолы были распространителями грамоты и просвещения? Вовсе нет! Иные были даже сами малограмотными, а если по аналогии мы заберемся в ислам, так и сам пророк Мухаммед был неграмотным человеком. Да и вообще: так ли важны монотеистические религии для становления и развития цивилизации? Вспомним древние цивилизации Египет, Персию, Грецию, Рим. Они прекрасно обходились своими языческими богами, однако существовали тысячелетиями. И сегодня Япония, Корея, Вьетнам, Таиланд, Индия, Китай и другие не являются приверженцами каких-либо монотеизмов. Но ведь это великие цивилизации! Второе. Апостолы не проповедовали грамоту, они распространяли свою религию, христианство. Разве апостол Петр замечен в просвещении грамотой? Или апостол Андрей? Нет. А можно ли тогда назвать Кирилла и Мефодия равноапостольными? На Руси они не были, христианство здесь не пропагандировали. Вот святой Николай Японский – равноапостольный, ибо он создал Японскую православную церковь. На Русь же христианство по легенде принес апостол Андрей, по имени которого назван Андреевский спуск в Киеве с красивой Андреевской церковью, а в самом низу этого спуска стоит Булгаковский дом, знакомый всем по великолепному фильму В. Басова «Дни Турбиных» (1976).

Вопросы же все множатся и множатся. Кто создал кириллицу? Кирилл? Нет. И это почему-то чаще идет в примечаниях – так сказать, «мелким шрифтом». Кириллицу создал Климент Охридский, ученик Кирилла. В самом жизнеописании философа Константина (он стал Кириллом перед смертью) говорится, что в Корсуни (нынешнем Херсонесе – Севастополе) философ видел «у русского купца» Евангелие и Псалтырь, написанные русскими буквами и русской грамотой. Значит, уже в официальном документе признается существование русской письменности до Кирилла и Мефодия. Может быть, Евангелие и Псалтырь купца были написаны греческими буквами (варианты: латинскими, грузинскими и т. п.)? Нет, это русские буквы и русская азбука. Так, может быть, идет греческий текст, только записанный своеобразной «тайнописью» – русскими буквами? Нет, это русский текст. Тогда о чем спор, почему умолчание? Ведь понятно, что и азбука, и русская письменная речь, и терминология достаточно развиты для передачи столь серьезного духовного содержания. И ведь не для себя это сделал «гений»-купец, а это явно свидетельство достаточно широкого распространения русской грамоты и письменности.

И все открытия XX и XXI века говорят именно об этом. Найдена надпись «гороухца» (горчица или горох) на горшке из Гнездовских курганов в Воронежской области начала X века. Невозможно поверить, что всего за несколько десятилетий новосозданная якобы кириллица стала столь распространенной и обыденной, что ею помечают в быту горшки. Это притом что создавалась она – опять же якобы! – для церковных текстов, а до крещения Руси еще почти столетие. Следовательно, существовала она задолго до Кирилла с Мефодием.

Далее. В 1951 году находят берестяные грамоты в Новгороде. Сначала европейские лизоблюды пытаются сказать, что это европейское влияние – ведь Новгород на Западе был подвержен влиянию европейской культуры. Однако сегодня найдены более 1000 грамот в 11 городах Руси (в том числе и в Нижнем Новгороде), в них тексты и совершенно бытового содержания, и любовного, и детские развлекалки. Иными

словами, становится ясно, что Русь была страной массовой грамотности. Потом было татарское нашествие, и грамотность резко упала. Следующий раз в России массовая грамотность появилась при советской власти.

Стоит отметить, что массовая грамотность не была прямо связана с христианством. Ведь Анна Ярославна – королева Франции, дочь Ярослава Мудрого, была грамотна, знала языки, а вот муж ее был грязен и неграмотен, но был уже правителем христианской страны. Ведь на Евангелии Анны Русской короновались в Реймсе последующие французские короли. В те времена об английском языке и речь не шла. Первая книга на английском языке появляется в конце XIV века: это книга Д. Чосера «Кентерберийские рассказы». Германии в это время еще нет вообще. Европе пока делиться культурой с Русью не довелось – попросту нечем.

Как же быть с русской грамотой? Официальная наука умалчивает как что-то неприличное и еще один факт. В Иордании в 50 километрах от столицы Аммана существует туристический центр – «город 1000 колонн» Джераш, когда-то Герасса. В VII веке большое землетрясение засыпало Герассу, ее пришлось через века открывать заново. И открылась мозаичная картина, относящаяся к 522 году. На картине изображен русский мужик в косоворотке, а рядом с ним надпись русскими буквами. Русская письменность в VI веке?! Откуда? Кирилл и Климент появятся сотни лет спустя, они не еще открывали русскую письменность и кириллицу, и это не греческие буквы, у греков нет букв С, Ш...

Где можно найти что-либо схожее? Сразу всплывает тема: этрусски и этрусский язык. Тема болезненная, так как официальная наука нервно относится ко многим теориям об этрусках. Известно, что Троянская война закончилась поражением троянцев. Потомки Энея (эне́ты) ушли с полуострова Малой Азии (тогда можно было уйти посуху), пришли на Апеннинский полуостров, основали там двенадцать городов и объединение (Двенадцатиградие) этрусски (они называли себя расенами). Этрусски Ромул и Рем основали Рим (первые 5 царей Рима были этрусками) и в целом мощно повлияли на римскую культуру: из этрусской грамоты получилась латынь, ввели многие архитектурные правила, канализацию (в том числе и большую клоаку), бани-термы и т. д. и т. п. В конце концов латинцы захватили Рим, задушили этрусскую культуру. И только некоторые яркие личности (Пифагор, Меценат, Брут и др.) остались в памяти историков как потомки этрусков. Интересно, что римские бани-термы перешли в Византию, а затем турецкую цивилизацию, стали турецкими банями. В Европу же – во Францию, в Англию – бани не пошли. Пресловутые европейцы-мушкетеры остались грязнулями. При этом руководствовались якобы научным доводом, что мыться надо пореже – опасно. Вместо этого они придумали духи, чтобы отбивать страшную вонь Европы. В России, в русском укладе, как известно, парная баня была всегда. Более того, мне думается, что парная баня является верным признаком русского влияния и свидетельством силы русского влияния. Да заодно вспомним, что и канализация в Париже и Лондоне не было, а в Мохенджо-Даро и Хараппе, городах древнеиндийской цивилизации, была.

Возвращаемся к языку. Есть поговорка: в доме повешенного не говорят о веревке. Так и римляне старались затушевать роль этрусского наследия в преодолении собственного варварства и забыть об этрусках. У них была поговорка: этрусское не читается. Некоторые европейские

лизоблюды и сегодня повторяют ее, да еще и добавляют, что вряд ли когда прочитают этрусский язык! Это весьма показательно: прочитали египетские иероглифы, письменность майя, но не прочитали и никогда(!) не читаем этрусков. Все дело в том, что в этрусках и сегодня многие видят прарусских. И уже это вызывает нервную реакцию. Насколько же враждебна европейская культура и чужеродна всему русскому!

Лингвисты сегодня якобы вежливо объясняют сложность расшифровки этрусской письменности тем, что остались только могильные надписи. И это тоже ложь. Достаточно вспомнить книгу Суда, или Судную книгу.

Что же до надписей, то, обратившись к ним, я практически сразу наткнулся, например, на такую: «бедный атти». Ведь буквы этрусков очень четкие, они легко читаются, только, видишь ли, не понимаются. Как понять надпись «бедный атти»? На таджикском «ата-атя» значит отец. Уже поэтому стоило искать аналоги в индоиранских языках. На русском (б)атя или (т)ятя тоже означает «отец». «Бедный» же на русский и переводить не надо. Стал искать книги тех, кто занимался этрусским языком. Обнаружил, что исследователи давно обратили внимание на схожесть и подобие не только самоназвания русские – расены, но и украшений (чего стоят одни кокошники), бани и т. п. Более того, А. Чертков, Т. Волански давно прочитали этрусский язык, объяснили его как славянский. Конечно, Европа тут же ответила: католическое духовенство включила книгу Т. Воланского в список запрещенных книг, а самого автора призывало к сжечь на костре из них. Известный ученый Е. Классен обратился к императору Николаю I с просьбой защитить русскоподданного Воланского от суда римской церкви. Воланский остался жив, но в Европе и в официальной науке имя его стало неприличным. Удивительная нетерпимость официальной науки. Ведь даже фаллос (греч.) – пенис (лат.) по-этрусски пишется, как и по-русски, словом из трех букв! Перевода не требует! Отчего же такая злобная реакция?

А дело в том, что мир переворачивается для европейцев. Они учат, что этрусский произошел от древнегреческого, т. е. все истоки из Европы. А здесь все получается наоборот. Как и писали древние авторы: этруски и пеласги – одно и то же племя и народ, от их азбуки произошли финикийский, греческий и латынь. Русские как исток цивилизации! Ужас! Ведь на Русь в 1147 году Рим и Запад объявляли крестовый поход как на исчадие рода человеческого, как на варваров. Их не признает официальная наука, а тут... крах всех основ! Нельзя!

Немного об официальной науке и два примера. Известно, что наука как культурный институт родилась на Западе. В XVIII веке обратились в Парижскую академию наук с вопросом: могут ли камни падать с неба? Был получен ответ официальной науки: в небе камней нет, они падают оттуда не могут. Так лихо официальная наука расправилась с метеоритами и астероидами и т. п.

Другой пример. В. Беринг, чьим именем назван пролив между Азией и Америкой, как теперь известно, даже не руководил своей последней экспедицией. Ей фактически руководил А. Чириков, почему сегодня нередко эту экспедицию зазывают именами Беринга–Чирикова. За 80 лет да Беринга Семен Дежнев прошел проливом между континентами, дошел до устья реки Анадырь в Северном Ледовитом океане, перезимовал там, вернулся, собрал дань-ясак в Якутии и вернулся

в Москву. В конце же XVIII века мореплаватель Кук пытался проплыть проливом Беринга, не смог. Прочитал у фальсификатора русской истории Мюллера о плавании Беринга, восхитился и назвал море и пролив его именем. В честь же Дежнева назван лишь мыс, и его имя на Западе неизвестно.

Западная официальная наука считает, что русский народ фиксируется в истории с VI века нашей эры. Современная российская официальная наука в основном считает так же. И преподавание истории начинается с «Повести временных лет», «Откуда русская земля пошла еси, кто в Киеве нача первее княжити...». Получается, что до Рюрика вроде как русской земли и не было и русского народа не было. При этом М. Ломоносов признается гордостью российской науки, основателем Московского университета и пр. и пр., но ведь именно Ломоносов издал книгу монаха из Дубровника Мавро Орбини «История славян», а в этой книге автор, опираясь на свидетельства бесчисленного множества древних авторов, выводит историю русского народа от сотворения мира, то есть за 7 тысяч лет до нас. Получается жуткий разрыв. Западная наука даёт русскому народу возраст в 1300 лет, а Ломоносов – 7000 лет. Кто прав?

В начале XX века индийский исследователь, один из основателей индийского национально-освободительного движения Бал Гангадхар Тилак опубликовал книгу об арктической прародине индийского народа. В ней он писал, что индийцы начинали жить далеко на севере, где их жизнь освещала гигантская гора Меру, которая светилась жемчужным цветом. Вряд ли кто серьёзно воспринял эту теорию, пусть и основанную на преданиях из Вед: где Арктика и где Индия. Однако на рубеже XX–XXI веков появилось неожиданное подтверждение этой теории. Советский и российский географ М. Гросвальд смог объяснить механизм мировых потопов, их происхождение и показал, что мировые потопы не миф, а реальность. Дело в том, что тёплые и холодные климатические периоды Земли постоянно чередуются, и в начале холодного периода вода из Ледовитого океана не успевает выливаться. Берингов пролив недавнего происхождения, и сегодня сравнительно неглубокий. Именно поэтому люди могли из Азии переходить в Америку посуху. Сток воды через Берингов пролив из Ледовитого океана 10–15%. Основной слив воды из Северного Ледовитого океана, 85%, идёт через пролив Фрама в Атлантику. В начале ледникового периода льды закрывают пролив Фрама. Вода из Ледовитого океана не успевает выходить, начинает всё быстрее замерзать, и весь Ледовитый океан начинает зарастать ледяной горой, опирающейся на подводный хребет Ломоносова, вытянувшийся через весь Ледовитый океан. Эта гора превращается в гигантский многокилометровый (5 км и выше) хребет. Как известно, полярный день занимает полгода. Всё это время гора Меру в лучах солнца светит на много километров. Затем наступает тёплый период. Лёд начинает таять. Пролив Фрама не успевает пропустить в Атлантический океан такую громадную массу воды и льда. В результате эта гигантская гора подтаивает и в конце концов обрушивается, образуя гигантскую волну до 200 метров высотой. Эта волна, наполненная массой льдин, песка, камней, несётся с громадной скоростью до 200 км/ч, стирая как тёркой всё на своем пути. Неслучайно мы находим в Сибири замёрзшие трупы мамонтов, внутренности которых наполнены только что съеденной, зелёной пищей. Понятно, что подобный потоп доходит до Кавказа, Памира, Гиндукуша, Тибета.

Американцы посылали специальную экспедицию для проверки расчётов М. Гросвальда. Подтвердилось всё. Тем самым подтвердилась и теория Тилака о горе Меру. Неслучайно наш индолог С. Жарникова пишет о совпадениях географических названий гор и лесов в Карелии и Кольском полуострове, в Архангельской и Вологодской областях с названиями, данными в «Махабхарате». Вместе с указаниями на схожие обряды, обычаи, украшения Жарникова показывает правильность теории Тилака.

О родстве русского языка и санскрита сегодня говорят достаточно много. Так, индолог Н. Гусева рассказывает весьма показательную историю. В Индии много языков, только официально признанных правительством – более двух десятков. Однако санскрит даже среди них на особом положении. Он является мертвым языком, на нем не говорят. Его специально изучают примерно так, как мы бы изучали латынь. Однако когда в Россию приезжают знающие санскрит ученые, то испытывают немалый шок. Часто они удивляются, что в России говорят на санскрите. Я неоднократно встречался с такими индусами и могу подтвердить, что рассказ Н. Гусевой отражает реальность. Более того. Русские нередко быстрее могут понять или расшифровать санскрит, нежели индусы. Вот ближайшие примеры. Город Бенарес на Ганге есть священное место для индусов. Именно там сжигают трупы уважаемых покойников, там окунаются в воду Ганга в расчете на божественную помощь. Дочь известного поэта Рождественского никак не могла забеременеть, но, искупавшись в Ганге, вскоре стала счастливой матерью. Так вот, Бенарес – это английская транскрипция. На индийских языках он звучит как Варанаси. Индусы не сразу понимают смысл этого названия. А для русских это оказывается проще. В Чехии есть курорт Карловы Вары. И всем понятно, что «вар» – это вода. Отсюда «варяг» (моряк, речник, водник), «варить»... Значит, Варанаси означает «наши воды». Или другой пример. Много выше Варанаси по течению Ганга есть другой священный город индусов – Харедвар. Там Ганг бурный и быстрый. Чтобы окунуться и не быть унесенным водою, надо привязываться. Так название переводится как «дверь к богу». Нужно ли русским это переводить? Двар – дверь. Харе недавно часто звучало у нас на площадях из уст пляшущих кришнаитов: «Харе Кришна! Харе Рама!» Харе означает вроде бы «бог», но точнее – «лик божий». Лицо – харя, однако есть ли что тут удивительное? Плюс поменялся на минус, положительное значение слова на отрицательное. Вспомните: по-чешски «духи» переводятся как «вонявки». «Урода» по-польски означает «красавица», а по-русски совсем наоборот...

Схожесть русского и санскрита так велика, что сегодня существует словарь санскрито-русских совпадений. Есть ученые, считающие, что санскрит произошел от русского. Утверждать однозначно трудно, но то, что тут есть проблема, – не вызывает споров.

По данной теме приведу еще один пример, который выявил мой отец и описал его в своей монографии об индийском крестьянстве 70-х годов XIX века. Книга издана в 1951 году в Сталинабаде, а потому известна очень узкому кругу специалистов. Как известно, в XIX веке шла большая игра двух империй – Русской и Британской. Экспансии шли навстречу друг другу. Британцы не пускали русские корабли в свои порты в Индии. Это понятно. Индусы боролись против английского ига, а русские сочувствовали этой борьбе. Вспомните картину В. Верещагина «Расстрел сипаев англичанами». В 1879 году впервые

британцы допустили русскую эскадру в гавань Бомбея. Визит носил всего лишь вежливый характер. Однако британцы неожиданно для них получили большие проблемы. В Бомбей сбежались 2 миллиона индусов. Британские политические агенты в своих докладах объясняли это тем, что индусы руководствовались одной идеей: «Пришли наши старшие братья, и они помогут нам освободиться от британских колонизаторов». На этом фоне начинается восстание Васудева Балванта Пхадке, к сожалению, кончившееся для индусов печально. Конечно, прошло лишь 20 лет от восстания сипаев, волнующееся народное море еще не успокоилось, и вдруг такое событие. Обратим внимание на некоторые неожиданные стороны происшедшего. Ведь нет еще интернета, телевидения, радио, индийских газет, основное население совершенно неграмотно, и вдруг – «старшие братья»! Если «братство» еще как-то можно с натяжкой объяснить пропагандой образованных патриотов-брахманов, дескать, русские являются противниками англичан, а потому... Однако сомневаюсь, чтобы был хоть десяток брахманов, знающих русский язык, чтобы судить о родстве. А второе: почему это – «старшие» братья? Сегодня в свете сравнительного изучения русского и санскрита можно говорить о родстве языков, даже повторять вслед за удивленными индийскими профессорами, что русские говорят на санскрите, и все же...

Санскрит – это письменный язык в отличие от пракрита – разговорного языка. За многие тысячи лет индийский язык изменился до неузнаваемости, санскрит приходится учить как письменный и, по сути дела, мертвый язык. На нем в Индии никто не говорит. А в России, по мнению индийцев, говорят! Изумительная ситуация! Мне кажется, что объяснить это противоречие можно только тем, что русский язык получил правила письменной речи раньше, чем санскрит, и это позволило ему сохранить основное русло и основные правила. И это индусы чувствуют. Именно это чувство роднит их с нами помимо их туманных воспоминаний об арктической прародине, те – в очень ослабленном виде. Потому и сохранилась больше память в Индии о дружеской жизни вместе в далекой древности и помогает сохранить отношение братское и расстановку старших–младших. Почему же в России этого нет? Мне кажется, что единственное подходящее объяснение состоит в потопах, стиравшем жизнь на русских и сибирских равнинах, потопах, который если и перебрался через Гималаи, то в очень ослабленном виде. Слабость удара, контузии позволила сохранить память в Индии лучше, чем в России.

Сегодня появилась дополнительная возможность расшифровки исторических загадок: генетика. Так, известный профессор-биохимик А. Клесов подсчитал, что русский народ как определенное генетическое единство средствами генетики фиксируется 5 тысяч лет назад. Для сравнения: евреи фиксируются 4 тысячи лет назад, а санскриту, привычно считается, – 4,5 тысячи лет. Южные китайцы дали потрясающую глубину своего существования как генеалогической целостности: 9 тысяч лет. Данные о санскрите существенны, поскольку, по исследованиям, С. Жарниковой реки, озера, горы в Архангельской, Вологодской областях, в Карелии нередко носят явно санскритские названия. Но ведь индусы в историческое время тут не жили. Конечно, названия давались и сохранялись без связи с появлением письменности. Конечно, первая столица скандинавов в Швеции Сигтуна с населением в 700 человек появляется тысячу лет назад, в то время, когда

те же шведы называли Русь Гардарикой – страной городов. В то время у финнов городов не было, и о том времени свидетельствует их эпос «Калевала». Согласно этому эпосу самый умный и знающий человек был Вяйнемейнен. Он обучил финно-угорские народы очень и очень многому. Вяйне – называли русских по-фински, и сегодня никто не спорит с тем, что Вяйнемейнен происходит из русских учителей. Иными словами, русские явно были самым культурным народом этой зоны. Но у русских почему-то не сохранилось в памяти воспоминание об индусах в этой зоне. Налицо явное противоречие: названия рек и озер говорят о «Махабхарате», а русские этого не помнят. Видимо, индусы за горами оказались задолго до потопа, а само наводнение было во много раз слабее его мощи на севере. Русским же досталась полная мощь удара этого природного явления. До Ноя в Закавказье потоп дошел в облегченном варианте, и то его описание оставляет большое впечатление. И все же названия остались, в отличие от русской и сибирской равнин. Почему? Можно предположить, что Гольфстрим, основной слив воды в Атлантику через пролив Фрама, все же уменьшил удар стихии по сравнению с основным потоком по русской и сибирской равнине.

Для прояснения глубины исторической памяти придется учесть и разницу между устной и письменной памятью народов. В свое время мне попала этнографическая заметка о киргизах. Взрослый киргиз мог остановить мальчика 10–12 лет и спросить: «Чей ты?» И малыш должен был ему сразу назвать 10–12 поколений предков. Взрослый киргиз же должен был знать своих предков в 20 поколениях! Такова мощь устной памяти! Если считать в среднем три поколения в 100 лет, то устная память может давать линию предков и событий их жизни за 600–700 лет.

В древности люди знали этот промежуток времени как существенный, а высшие учителя человечества учитывали его в своих учениях. За 700 лет люди могли исказить учение о жизни, поэтому нужно обновлять и утверждать уже выявленные правила и. Вспомните, как самые дремучие народы представляли потусторонний мир. Скандинавы рисовали-описывали загробный мир как битву, пьянку и удовлетворение похоти после пира. Древние греки считали, что загробный мир весьма скучен, там только вонь, плач и скрежет зубовой. Персо-таджики, пожалуй, первые стали описывать загробный мир как возможность разных путей и способов существования души. У них впервые появляется учение о рае и аде, о спасителе, рожденным девой, о мосте Чинват, через который должна пройти душа в будущее существование. Если человек вел себя правильно, то мост был широкий, а если он был грешник, то мост становился очень узким, и душа плохого человека не могла попасть в рай, а летела в ад. Это учение перешло в христианство, а затем и в ислам. Высший бог у зороастрийцев звался Ахура Мазда. Знание таджикского прямо навевает расшифровку этого имени: «ахура» или «зурный» – т. е. «крутой», «высший», «лучший». Мазда же выступает мастаком, учителем, мастером, а в целом – высшим творцом мира и человечества, давшим человечеству правила, как нужно жить. Главным пророком зороастризма стал Заратустра (т. е. «зурный», «умный», «высший»), вторая часть имени обозначает мастера, устода, руководителя, учителя, который родился в Балхе в Бактрии (нынешний Афганистан). Евреи попали в вавилонский плен, прожили там около двух поколений и у зороастрийцев почерпнули основные идеи богословия.

По учению зороастризма каждые 700 лет должен появляться пророк-учитель, который будет выправлять запутавшееся потомство людей. Именно поэтому волхвы-маги пришли приветствовать рождение Спасителя Иисуса Христа. И действительно, после Заратустры пришел через 700 лет Христос, потом с аналогичным промежутком времени – Мухаммед, затем, возможно, – Палама или Сергей Радонежский, потом – Ленин. Каждый учил так, как это говорилось в «Авесте» – священной книге зороастризма: человек должен руководствоваться благой мыслью, словом, делом. Он должен трудиться, воспитывать последующие поколения, становиться все более человеком. Отсюда и пошла поговорка: бог стал человеком для того, чтобы человек стал богом. Если рожденный ребенок руководствуется лишь своими инстинктами (хватательным, питательным и т. п.), то его желания все усложняются, и все труднее выбрать между животными-зверскими желаниями и человеческими поступками. Понятно, что все Веды, Авеста есть лишь ступени обучения – инструкции к становлению человека-бога.

Повторенье – мать ученья. Чем больше человеческого пути прошел человек, тем больше у него возможностей стать человеком с большой буквы, выявив в себе божественное начало. И тогда русские как один из самых древних народов имели больше возможностей стать такими людьми. И дело не только в древности и длине пути, но и в умении освоить уроки. Тяжелее жизнь – поневоле необходимее усвоение уроков. Нужно дальше видеть и лучше понимать дальние последствия своих поступков. Отдельный человек может ошибаться, не выдерживать трудные правила жизни, но народ в целом редко отказывается от найденных и усвоенных ценностей. Как-то попало в публицистике следующее. Троцкий выступает, а ему из толпы слушателей говорят, что-де голод ведь. Троцкий тут же с напором продолжил: «Вы еще не знаете настоящего голода. Вспомните, в Библии рассказывается о голоде, когда матери ели детей своих». Он, видимо, хотел подчеркнуть предельную степень голода, однако согласитесь, что в России трудно найти мать-людоедку. Это возможно как исключение, но это не станет никогда нормой жизни народа. Животные, звери, преступники могут руководствоваться логикой: сдохни ты сегодня, чтобы я жил завтра. Однако человек живет другой ценностью-святыней: сам погибай, а товарища выручай, отдай ребенку, слабейшему последнее – еду, жизнь. Именно так сказал когда-то Святослав: «Мертвые сраму не имут». Жить и погибать ради других, ради детей, товарищей... Согласитесь, об этом говорит вся русская литература и вся русская история. Да, были предатели, были и людоеды, однако нормой, высоко ценимой народом, оставался подвиг Матросова. Интересно, что, читая о войне, мне не удалось найти примеров – аналогов подвигам Матросова, Гастелло у других народов. Удивительно было встретить в интернете в Википедии следующее суждение. Якобы берсерки зародились у немцев и скандинавов, но сохранились у русских. Сохранились-то да, правильно, но с чего решили, что зарождение этой готовности идти на смерть ради друзей и товарищей, сраму не видеть, произошло не у русских?!

Нынешний мир дает возможность понять различие двух моральных подходов. Например, чехи. В Первую мировую войну в России оказалось много чехов. Их вооружили, однако воевать с австро-германцами им не довелось, был заключен Брестский мир. 40 тысяч чехов посадили в эшелоны вывозить через Владивосток. Однако по приказу ан-

гло-французов они подняли восстание, и началась Гражданская война в России. Чехи и распоясались. Они награбили столько, что и до Второй мировой войны в Чехословакии торговали награбленным. И они не стесняются и не извиняются. А когда началась Вторая мировая и чехи первыми попали под маховик немецкой армии, то сопротивления в Чехословакии не было. Зато Чехословакия произвела вооружения больше, чем Великобритания! И это при безусловной ненависти к немцам! Удивительно! Но – с русской точки зрения.

Французов, воевавших на стороне Германии, в разы больше, чем в движении Сопротивления (даже слово Сопротивление придумали русские эмигранты Разумовский и Оболенский), и только волею Сталина Франция оказалась в числе стран победительниц. Стеснения нет.

Четвертый крестовый поход закончился захватом и грабежом Константинополя. В Венеции на площади святого Марка и сегодня можно увидеть квадригу коней, вывезенных из Константинополя. И никому не стыдно!

В короне английских королей и сегодня горят драгоценные камни, выломанные из драгоценностей русских императорских украшений. Никто не стесняется!

Аляска, якобы проданная, не оплачена американскими деньгами, а русские владения в Калифорнии заняты явочным порядком без всяких переговоров и оплаты. И никто не стесняется!

Митрополит Вениамин (Федченков) спросил у упитанного болгарского офицера, почему они воевали против спасшей их России. В ответ услышал: мы, болгары, за реальную политику. А президент Чехии на вопрос, почему они не сражались с Гитлером, показал в окно: «А город-то целый». В западной культуре важно лишь немного заменить слова, чтобы прикрыть безобразие: не проститутка, а эскортница, не убийство, а приведение и принуждение к цивилизации. Если я украл – это хорошо, у меня украли – плохо. Благодарность неприятно ощущается западным человеком, ведь это груз, и отдавать нужно свое, хотя забирал-занимал чужое.

В России наоборот. Она сохранила все народы, входившие в империю. Советский Союз продолжил то же самое: помогал Корею, Вьетнаму, Кубе, Болгарии и т. д. Из 15 республик Союза ССР рентабельными были только Россия и Белоруссия. Прибалтийские республики зарабатывали 6,9 миллиарда долларов, а тратили 9,6 миллиарда. Поэтому после 1991 года «освобождение» резко снизило уровень жизни всех республик. Россия же всегда поступала так. Мою тещу девочкой угнали на работы в Германию во время войны. Она вспоминала, что никто не давал милостыню или хотя бы поест просто так, но военнопленным фашистам на строительстве в Горьком на Автозаводе русские бабы давали хлеб, еду – жалели убогих...

И пришли новые времена, Господь повеселился и посмеялся над богоизбранным русским народом. Американский президент Никсон встретился с министром иностранных дел России при Ельцине, ныне живущим в Америке. После встречи Никсон сказал-выплюнул: «Слизняк!» Вот эти слизняки и сформировали соблазн для русского народа. Не нравятся старцы в Политбюро? Получите молодого Горбачева. Хорош собой, болтает, помечен какой-то силой (божеской ли?). Не пьет и не грозен? Получите Ельцина. Да хватайте суверенитета сколько хотите, и каждому за ваучер по «Волге». Сначала Россия соблазнилась и исподличалась (очень точно писали средневековые летописцы времен

Смуты), а в целом же надорвалась, а «благодарные» сожители по СССР начали кидать в нее камни...

Что ж, это не первое испытание, сколько их было на русском пути! Хочется повторить знаменитое выражение канцлера Горчакова как пожелание: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». А сосредоточиться она может, лишь памятуя завет Пушкина:

Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,  
По воле Бога Самого,  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.

А значит, и России!

## Андрей ЗЮЗИН

Андрей Зюзин. Родился в 1957 году в поселке Правдинске Горьковской области (ныне – одноименный микрорайон в Балахне Нижегородской области). Окончил Горьковский государственный университет (по специальности «прикладная математика»).

Живет и работает в Балахне.

## УТОПИЯ: ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ?

(Фрагменты из дневника читателя с дополнениями и отступлениями)

Любопытно, поучительно (да и что греха таить – просто приятно, как бальзам на иссохшую душу) читать всяческие описания некоего светлого будущего России, СССР, Руси. Далекого, а может быть, и не такого уж и далекого. Сколько их уже, наверное, было – столь притягательных лубочных картинок – за минувшие десятилетия тьмы, накрывшей родную землю! При желании можно взять и шире, то есть заглянуть и в более ранние времена – ведь во всякую эпоху мечталось о лучшем. Конечно, это утопии. Но в любом таком описании есть рациональное зерно – как отблеск того самого идеала, хотя бы отдельным элементам которого суждено когда-нибудь реализоваться в этом бренном мире.

Как относиться к утопии? Ведь, с одной стороны, это чистейшая маниловщина, отвлекающая от серьезного отношения к жизненным трудностям, сладкая патока, в которой при неумеренном потреблении можно и утонуть. С другой стороны – и это тоже вполне очевидно, – утопия нужна, поскольку несет в себе необыкновенный заряд идеального, возвышенного, но потенциально возможного, то есть выполняет столь необходимую роль путеводной звезды.

Здесь я не претендую даже на хоть какой-то (простейший) анализ: не хватит ни умения, ни терпения на полный обзор литературных произведений, которые можно отнести к этому жанру. В нескольких последующих абзацах – всего лишь упоминание о том весьма немногочисленном, но поучительном и немного странном, что когда-то (в основном в девяностые годы прошлого столетия и в начале нынешнего века) почти случайно попадалось мне на глаза.

Вот, например, есть такой своеобразный автор – Ю.И. Мухин. Однажды я прочел его книгу «Тайна бессмертия». В третьей главе – многогранное описание России будущего – с точки зрения автора. Безусловно, оригинальный (по крайней мере в некоторых деталях – именно так!) проект того, что Ю.И. Мухин называет Гуманизмом.

Вероятно, изложенное в этой книге – переработанный материал; в первоначальном виде он входил в более раннюю – 90-х годов прошлого века – книгу автора.

Названия подглавок говорят сами за себя: «Мировоззрение будущих граждан России», «Жизнеобеспечение», «Делократическое государство», «Общины» (тут многое – почти по «Агни-Йоге», потому и любопытно: ведь автор не упоминает о Рерихах), «Император», «Госплан и капиталисты», «Связь и информация», «Образование и воспитание», «Дальнейшее образование», «Увлечение», «Зеленая лягушка», «О науке», «Совершенствование земли», «Развлечение», «Семья и любовь», «Армия», «Экономика», «Дом», «Община. Внешний вид», «Еда», «Шопинг», «Отдых и отпуск», «С утра до вечера».

Судя по всему, товарищ Мухин, как мы говорили в юности, – «большой оригинал»... Тем не менее, листая страницы с описанием России будущего в его версии, как ни странно, вспоминается светлое «Возвращение» Стругацких...

Нынешнее поколение, как мне кажется, просто не способно понять, о чем же говорилось в том самом «Полдне...» братьев Стругацких. Однажды достал эту старую (издания конца 60-х!), уже изрядно потрепанную книгу из глубины полок и несколько минут полистал. Теперь-то уже отчетливо понимаю, что легко и непринужденно могу не обращать внимания на так называемые идеологические штампы (коммунистический строй, гигантский памятник Ленину и пр.). Подлинный дух «Возвращения» – это динамичный, наполненный необыкновенной романтикой человеческого поиска мир «настоящего» будущего – светлого, привлекательного своей нескучностью, гуманного. В нем нет ни капли той грязи, среди которой мы кое-как существуем в нашем нынешнем уродливом времени.

Было и знакомство с книгой Михаила Антонова «Цель номер один. План оккупации России» – там есть своеобразное приложение к основному тексту. В конце книги в разделе «После заключения» М. Антонов пишет:

Если исключить чистых фантастов и заведомых очернителей, то были, пожалуй, лишь две попытки изобразить основные черты будущей России. Это – малоизвестный рассказ Юрия Мухина о путешествии в Государство Солнца и нашумевшая книга Михаила Юрьева «Третья империя»... Но ни Мухин, ни Юрьев не связывают будущее России с Советской властью.

Ради интереса я тогда не поленился и разыскал упомянутую «Третью империю» (в электронном виде). Комментарии, как говорится, излишни. Ни в коем случае не буду рекомендовать ее потенциальному читателю: о вкусах не спорят, да и набраться терпения, чтобы попробовать осилить сей труд от корки до корки (хотя бы как познавательный материал), не так-то просто.

Замечу, что при всей фантазмагоричности этой эпопеи какой-то метафизический («метаисторический»?) посыл в обширном авторском тексте все же, как мне кажется, присутствует. И это (не сразу заметное) присутствие само по себе является оригинальным элементом в представленной современной утопии (псевдоутопии?). Хотя нетрудно предположить, что многим указанный роман покажется просто бессмысленным бредом. Наверное, такие опусы сейчас уже принято считать устаревшими.

Итак, М. Антонов включил в конце своей книги приложение: Михаил Саяпин. «Путешествие в Страну Свободного Будущего, или Россия в 2017 году. Путевые заметки».

Этот самый Михаил Саяпин излагает материал в несколько ироническом стиле – узнаваемы отголоски нынешнего времени, а описываемая эпоха является как бы переходной.

Автор считает, что наступит время своеобразного возрождения Советов (как представительной власти). Ну а так называемая высшая исполнительная власть будет состоять из двух органов: СФУ – Совета Федеральных Управлений и ВСНХ – Высшего Совета народного хозяйства.

Любопытно, что, по мнению автора, реальной властью в стране (ССБ) будет обладать ОГПУ (Объединенное государственно-политическое управление) – нечто напоминающее правящий орден, партию профессионалов.

Во всех областях общественно-политической жизни и в управлении государством будут люди в мундирах – в униформе, соответствующей данной специфике. Предусмотрена, разумеется, такая штука, как табель о рангах. И комиссары будут не только в армии (!!).

Хозяйственное устройство ССБ таково, что в нем нет частной собственности, но есть частная инициатива. Действует формула: «Сэкономленное – твое!». (До конца так и не понял, о чем речь, хотя автор вроде бы подробно разжевывает детали.)

Цитата: «Богатые люди в стране есть; есть, следовательно, и имущественное неравенство. Но это рассматривается, во-первых, как неизбежное (но отчасти контролируемое) зло, во-вторых – как плата за труд (не вписывающаяся в давно отвергнутую концепцию трудовой теории стоимости)».

В сельском хозяйстве – вахтовый метод! (Весьма любопытно, конечно, но мне кажется, что это полная чушь – в своей нереализуемости. Почти убежден, что как раз такого никогда в обозримом будущем не будет. Как по мне, работа на земле – это что-то особенное.)

Судебная система: суд не является состязательным. Хотя институт адвокатуры (как государственный орган) существует. Есть и уникальный судебный орган: Высший Совестью суд.

И т. п.

Могут и ошибаться, но почему-то мне кажется, что все эти измышления отнести к жанру утопии можно лишь с заметной натяжкой. Это не тот самый светлый мир, в который просится душа, это просто рассуждения на тему возможного хода истории – хотя и оригинальные.

Отдельные черточки желанного будущего каждый может видеть по своему. Вот, например, у Вадима Шефнера в его небольшой автобиографической повести «Бархатный путь» есть такой кусок, цитирую:

Будущее, при том очень близкое, почти зримое, чудилось нам совсем иным, – без всякой уголовщины, поножовщины и матерщины. Скоро все будут жить в просторных, светлых коммунальных квартирах. Это будут не коммуналки, а коммуны в прямом смысле этого слова. Там все люди – друзья друг другу. Двери комнат выходят в широкий коридор. В конце его – большая кухня. Примусы, керосинки – всё общее, никаких склок и ссор из-за них нет. Рядом с кухней – общая столовая; в ней коллективно завтракают, ужинают, – это по будням. А в выходные дни все питаются на ближайшей фабрике-кухне, чтобы не загружать себя излишним кухонным трудом. В квартирах, в магазинах, на складах – никаких

замков, никаких запоров, ибо воров нет. Задвижки – только в сортирах и ваннах, на внутренней стороне дверей. Одеваются все хорошо, но унифицированно; на каждый год, с общего согласия, устанавливается для каждого пола единый покррой одежды. Поэтому – ни у кого ни к кому нет зависти. Что касается всяких там брошек, колец, браслетов, то никто их больше не считает нужным таскать на себе, – миновала пора дикарства. А зарплата для всех одинаковая, – будь ты директор или дворник. И никаких кассиров. Раз в две недели, после окончания трудового дня, вы идёте в комнату-кассу, и там из несгораемого шкафа сами отсчитываете себе пятьсот рублей.

Для пояснения необходимо напомнить, что тут автор вспоминает мысли и ощущения поры своей далекой молодости (тридцатые годы двадцатого века) – это, как нетрудно догадаться, было совсем иное время. (Но кое-что представляется весьма интересным – например, по поводу поры дикарства...)

Приведенный фрагмент с наглядностью демонстрирует тот факт, что, мечтая о будущем, мы с неизбежностью экстраполируем (то есть переносим во времени) знакомую нам реальность: светлое будущее – это как бы сильно подправленное настоящее, то есть словно вычищенное от зла, от всего плохого, неприемлемого, негативного. Пожалуй, это типичное свойство воображения обычного человека: ведь как нелегко понять, усвоить диалектику развития, которая с неизбежностью проявляет себя непредсказуемым образом, готовя столь необычное грядущее, в которое просто немыслимо нынче, здесь и сейчас поверить.

И все же, размышляя на эту прелюбопытную тему, вполне допустимо утверждать, что некоторые черточки будущего можно попросту угадать, если воспользоваться нехитрым способом «прямого отрицания» – назовем этот прием так.

Берем то, что, мягко говоря, не очень по душе в нынешнем мироустройстве, и предполагаем, что грядущее, словно компенсируя уродливость текущей эпохи, уготовит нечто противоположное, порой до крайности (так бывает довольно часто).

Итак, все нынешнее рано или поздно будет признано безнадежно устаревшим, диким – и, следовательно, естественным образом будет перемещено на свалку истории. Заявим нечто нынче попросту невероятное! (Вспоминаю школьные и студенческие годы: нас учили, что «реставрация капитализма у нас невозможна...»). Насмешка истории: именно это и случилось.)

Придет время полного и радикального переустройства экономики (не могу детально расписывать подробности – не хватит ни знаний, ни умения тщательно все разложить по полочкам) – нечто такое невероятное по формулировке, чего еще не бывало, и в то же время уже, конечно, бывшее некоторым образом в мировой истории.

Никакого либерального «это невыгодно, это нерентабельно!». Ведь жизнь – вообще крайне расточительная штука. Как можно измерять в каких-нибудь экономических категориях само человеческое существование?!

Суждено развитие не как унылое возрастание примитивных (придуманных) количественных показателей, а как постоянное (хотя, может быть, и неприметное на первый взгляд) качественное улучшение имеющегося, то есть изменение не ради изменения, не бег ради бега, а подлинно диалектическое возрастание сложности на основе упрощений,

исключений архаических условностей и медленных, но устойчивых изменений самой механики общественной жизни.

Земля не продается никому и никогда. Как можно продавать солнечный свет и свет полной луны?! Никак. Пользуйся, но не заслоняй своей тенью этот свет другим. Вот так и земля. Глубоко укорененное в психике многих представителей рода людского чувство хозяина, собственника (в позитивном смысле этого термина) должно и будет реализовано в первую очередь именно в сельскохозяйственной деятельности – по крайней мере, это станет актуальным именно на бескрайних просторах нашей Родины. Цивилизованный крестьянин, настоящий хозяин, крепко стоящий на ногах, своим трудом поддерживающий само основание существующей общественной системы, – что может быть гармоничнее, ценнее для всего общества!?

Никаких капиталов, то есть никакого автоматически прирастающего богатства, накапливаемого из воздуха, никакой банковской системы в современном понимании, никакого ростовщичества. Это гнусное и дьявольское изобретение, уже более двух тысяч лет правящее миром, должно исчезнуть! Не утверждаю, что это случится одновременно – как раз наоборот: кем-то мудрым исчисленный переходный процесс может растянуться на годы и десятилетия.

Все это станет следствием принципиального, подлинно революционного переустройства основ жизни и, как следствие, изменения роли и функций денег. Деньги останутся только как продуманная, выверенная практикой мера труда каждого члена общества и, следовательно, как временный (исторически преходящий) инструмент регулирования личного потребления. Не более. По сути – устранение денег в прежнем понимании. Однозначно и категорически – никакого монетаризма и прочих либеральных штучек.

Пожалуй, тут к месту будет вспомнить о давних предсказаниях, которые и повествуют о приходе эры бартера в международных отношениях: некие электронные («клиринговые») деньги будут всего лишь удобной и практичной формой взаимозачетов в глобальной системе мирового товарообмена.

Никаких прогнивших «независимых» СМИ в нынешнем их понимании. Появится (должен появиться!) действенный, жесткий общественный контроль за тем, что показывают по ТВ, что появляется в Сети. Обсуждение, если надо – осуждение. Но не запрет (за исключением, конечно, патологий).

Реклама – как (большей частью) лживое и неприкрытое расхваливание какого-либо товара или услуги – повсюду запрещена. Удобная и исчерпывающая информация о конкретном товаре должна быть доступна только по запросу.

Мегаполисы постепенно (и в плановом порядке – продуманно, а отнюдь не по воле случая) деградируют, мельчают, растворяются. Главное – более равномерное расселение народа по необъятной территории страны. Опора – мелкие города и, конечно, деревни и села. Кому приятнее термин «футурополис» или «город-сад» – пожалуйста!

Вдумайтесь, всмотритесь в саму механику городской жизни: что ныне может быть противоестественнее, античеловечнее прозябания в этих каменных джунглях? Здесь речь не только и не столько о так называемой экологии в узком ее понимании. Тут об экологии в самом широком значении этого термина. Нынешнее (все более автоматизированное) производство, современные средства связи и все прочие реалии

текущей эпохи *вроде бы должны* способствовать движению в направлении гуманизации нынешней цивилизации, к качественному совершенствованию жизни каждого человека, причем не в уродливом смысле бесконечно возрастающего сверхпроизводства и сверхпотребления, а в приближении к гармоничному, подлинно гуманному взаимодействию в связке Человек – Природа, когда цивилизация утрачивает свои антагонистические по отношению к планете свойства и трансформируется в единую саморегулирующуюся природную среду. *Вроде бы должны*, но этого не происходит, поскольку в основании системы – эгоистический и гедонистический принцип «мое, мне, для меня!».

Личного транспорта почти нет: это исчадие ада, накрывшее смогом поверхность планеты, опутавшее уродливой, липкой паутиной все человеческое мироустройство, безмерно поглощающее ресурсы недр (металл, нефть и т. д.), безжалостно уничтожающее жизни и калечащее судьбы, может и должно быть отменено, искоренено. Общественный и (в случае крайней необходимости) заказной (такси, мелкие грузоперевозки и т. п.) транспорт настолько удобен и экологичен, что владение и содержание личного авто станет верхом глупости, дикарским, атавистическим проявлением дурного вкуса, грубой невоспитанностью.

Желанное будущее представляется умно организованным так, что отходов жизнедеятельности человека должно быть как можно меньше и что эти самые отходы будут перерабатываться просто и эффективно. Даже самые простые размышления на эту тему почему-то всегда напоминают о тех небывалых возможностях, что потенциально заложены в светлой стороне человеческой цивилизации. Ведь (пусть и трудным) путем мудрого воспитания каждого ребенка (в отношении чистоты, уважения и любви к природе – естественной и искусственной, то есть рукотворной), путем приложения достижений науки и техники в области создания «квазиприродных», напоминающих естественные материалов (хотя бы для упаковки товаров), изобретения новых, подлинно революционных технологий переработки неизбежного пока мусора, можно и нужно прийти к эпохе Чистоты и Порядка в окружающем нас мире.

Ну, а главное, конечно, сам человек – как подлинный субъект, а не объект. Было: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек!» Станет: «Вот человек – самим фактом своего бытия». Пожалуй, на первом этапе достаточно традиционного паспорта (не важно, бумажного или электронного), идентифицирующего данного субъекта: Ф. И. О., дата рождения. Кто хочет – тому можно вписать, откуда он родом и кем себя считает по национальности. Все остальные бумажки/карточки – только в исключительных случаях на переходный период.

Каждому полагается пожизненная бесплатная медицинская помощь, пожизненная возможность бесплатного обучения (в силу своих отпущенных природой способностей), пожизненное право на некий минимум удобств и возможностей. (Разумеется, этот минимум с течением времени будет меняться.)

И в то же время – опять в силу того, что вот – человек, а не животное, – все остальные (то есть общество – в самом широком понимании – от семьи до всей нации) вправе ожидать от этого каждого результатов его личного труда, принесенных в общую копилку...

Смакуя расписные лубочные картинки, понимая, что ничего принципиально нового тут не изобретено, спускаясь с горных высот на грешную землю, с сожалением вспоминаю о тех самых неизбежных закономерностях, что сопровождают любой рост, развитие. Крайности,

эксцессы будут. Причем – и это весьма любопытно – что некоторые проявления таких уклонений будут по-разному приниматься и оцениваться разными слоями (категориями) обывателей. Например, мне не по душе засилье – иначе не скажешь – «личной автомобилизации». И тут чуть ли не со злорадством я воспринял бы самые крутые перемены. А ведь для большинства нынешнего электората личное авто – это непрременный атрибут так называемого счастья! Житель крупного города и (тем более пригорода) уже не представляет себе свое существование без этой «консервной банки на колесах»!

И все же – что нового в многочисленных расписных утопических картинках? Только отдельные мелочи, отличающие одну такую домощенную мечту от другой, придуманной и лелеемой другим автором. Все это известно давным-давно. Реализуемо ли нынче или вскоре что-то этакое за короткий исторический срок (десять, двадцать, пятьдесят лет)? Скорее нет, чем да. Хотя бы по внешним причинам: разве возможно создать в рамках существующей мировой политической системы отдельное государство (фактически анклав), в котором будет реализована хотя бы часть нового, небывалого уклада? Нет, конечно: как только что-то такое где-то и как-то станет пробиваться на поверхность исторического бытия, немедленно (с силой и с неизбежностью запрограммированного автоматизма) такой росток будет уничтожен. Вывод, конечно, банален: сама существующая система непременно однажды достигнет такого уровня проявления факторов, ставящих под угрозу само ее традиционное функционирование, что неизбежным в своей фатальности выходом станет радикальное переустройство самих основополагающих, глубинных принципов, лежащих в основании механики человеческой цивилизации. Как тут ни вспомнить о «мировой революции»?! А ведь она неизбежна, кто бы что ни говорил! Просто формы проявления ее сейчас непредставимы.

Так что же делать? (Исконно русский вопрос, который однажды обретет всемирное звучание.) Сидеть в ожидании, когда согласно диалектике (чуть ли не автоматически) загнивающий посткапитализм обретет свойство подлинной всемирности и породит устойчивое ядро будущего «народного» капитализма, которое, стремительно развиваясь внутри старой системы, угробит ее (систему) и выйдет на арену глобальной истории?! Хм... Нет, конечно. Делать надо, трудиться. Вот где и как – вопрос!

Не забудем при этом, что утопия пишется отнюдь не в стиле практического руководства к действию – иначе это не утопия, не так ли? С другой стороны, во многом утопия – это не просто литературный опус. И об этом тоже не следует забывать.

Получается, что на нынешнем (относительно коротком по историческим масштабам) временном отрезке наша главная задача – продержаться на краю, не дать столкнуть себя в пропасть, предельно экономно использовать оставшийся запас потенциальной энергии, чтобы в некоторый час X совершить то, что... совершить невозможно.

Чем мы сможем и должны удивить мир? Что мы можем продемонстрировать этакое, что вынудит остальной мир призадуматься? Ответ прост в своей неказистой словесной формулировке, но сложен в понимании всех нюансов. Нам суждено возродить идею гармоничного развития и с большей убедительностью указать на некий срединный путь, отрицающий все перевернутые, античеловеческие принципы устройства нынешнего глобального «человеиника».

Не подавляющей мощью экономики и военной силы можно и нужно добиться конечной победы над дьявольским мироустройством, а удивительным практическим примером необыкновенной механики нового общества, сами основы функционирования которого предполагают не бешеную гонку за призраками материального, сиюминутного, а торжество разума, приоритет незамутненных, очищенных от наслоений грязного либерализма представлений о правде и справедливости.

Несмотря на высокую патетику подобных слов, казалось бы, неизбежно предполагающую гигантские по меркам индивидуального человеческого бытия периоды истории, отведенные на переход к новому мироустройству, сама практика предстоящих трех-четырёх десятилетий – жесткая, но многообещающая – укажет путь из тупика.

В заключение – два небольших замечания.

Во-первых, появление художественного произведения (текста, кинофильма), которое однозначно классифицируется как утопия, возможно отнюдь не во всякую эпоху. Вот, к примеру, когда вышло «Возвращение» братьев Стругацких? В 60-е годы XX века. Мог ли светлый мир «Полдня» родиться в конце 80-х или в 90-х годах? Риторический вопрос! Конечно, нет! Ведь именно 60-е были эпохой с мощным вектором, направленным в желанное будущее.

Может ли что-то подобное появиться сейчас, в нынешнее пошленькое время всеобщего потребительства? Может быть, я просто не в курсе и кто-нибудь укажет мне на что-то достойное в области отечественной литературы или кино, чего я не заметил на минувшем тридцатилетнем отрезке? (Разумеется, не какое-нибудь дешевое фэнтези или примитивную сказочку!)

Во-вторых, проведу несложную, но любопытную аналогию с квантовой механикой. Все, что нам потребуется – это вспомнить из школьной физики понятие туннельного эффекта. Упрощая, можно сказать так. Система способна преодолеть высокий барьер, за который невозможно проникнуть «обычным» (классическим) способом: странные законы микромира утверждают, что с некоторой ненулевой вероятностью реализуется самопроизвольное проникновение сквозь неодолимую преграду без ее разрушения, без перепрыгивания через нее.

Кажется совершенно невозможным, невероятным проникновение за потенциальный барьер, но это может произойти. Не так ли и в ходе исторического процесса: волею судеб оказавшись в тупике, мир однажды столкнется с вероятностным чудом, и произойдет скачок из пустыни мерзкой реальности за горизонт новых возможностей – в то удивительное состояние, что сейчас представляется нам чистой утопией?

## *Вехи памяти*

### **Галина МУХИНА**

Родилась в 1939 году. Окончила исторический факультет Уральского госуниверситета, аспирантуру по кафедре новой и новейшей истории Московского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Омского госуниверситета им. Ф.М. Достоевского до 2017 года.

Автор трёх книг и полусотни статей по истории и культуре. Живет в Омске.

### **«РОССИЯ ВСЕМ НАМ СЕЙЧАС И ДОМ, И ДАЛЬ...»**

140 лет со дня рождения Ф.А. Степуна

Федор Августович Степун (1884–1965) – философ, социолог, историк, общественно-политический деятель, писатель. Его отец – выходец из Восточной Пруссии, главный директор писчебумажных фабрик, мать – из шведо-финского рода Аргеландеров, попечительница народной школы. Он получил домашнее образование, окончил частное реальное училище в Москве. Мучительные колебания между университетом, Училищем живописи и ваяния и сценой неожиданно привели его к решению отбыть воинскую повинность. Военную службу проходил на лагерных сборах в 1901, 1904 и 1911 годах. Получил чин артиллерийского прапорщика. Служба помогла сделать выбор: идти в университет, чтобы понять «мир и его законы, жизнь и ее смысл».

В 1902–1907 годах в Гейдельбергском университете (куда был принят в порядке исключения на философский факультет с аттестатом реального училища) изучал философию, политэкономия, право, теорию и историю искусств. В 1910-м защитил докторскую диссертацию: «Философия Владимира Соловьева». Участвовал в издании философского журнала «Логос».

О тогдашних своих намерениях писал: «Выученики немецких университетов, мы вернулись в Россию с горячей мечтою послужить делу русской философии. Понимая философию как верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее эпохальных и национальных разновидностях», мы естественно должны были с самого начала попасть в оппозицию к тому доминировавшему в Москве течению мысли, которое... рассматривало философию, как некое сверхнаучное, главным образом религиозное исповедничество». Ощущая убыль религиозной мысли на Западе, но преувеличивая религиозность русской народной души, представители его «не могли не рассматривать наших

замыслов как попытки отравить религиозную целостность русской мысли критическим ядом западного рационализма»».

Накануне «злосчастной войны» 1914 года Степун, не имея возможности сделать тогда университетскую карьеру, становится членом «Бюро провинциальных лекторов» и включается в столь быстро и бурно растущую в России общественную жизнь.

Читающая и думающая провинция показалась ему «не только не более отсталой, чем передовая столичная интеллигенция, но в известном смысле и здоровее ее». Она тянулась к хорошей, солидной книге и научно-популярной лекции. По его опыту, небольшие, хорошо построенные курсы: «Введение в философию», «История греческой философии», «Россия и Европа как проблема русской философии истории», «Основные проблемы эстетики Возрождения» имели в Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах скорее больший успех, чем отдельные мирозерцательные, остро-публицистические лекции.

Многочисленные поездки с лекциями по России стали для Степуна источником познания народа и страны и существенно изменили его восприятие России. В воспоминаниях он отдаёт дань вагонной жизни в русских поездах, где сразу же заводилась по-домашнему уютная жизнь. Семейные ездили со своими чайниками, одиночкам приносил чай истопник, у которого самовар у вагонной топки кипел круглые сутки. Вагонное чаепитие с обильными закусками и бесконечными разговорами могло длиться часами. Проникся к этому душевно и записал: было что-то в русских поездах, что, «изымая души из обыденной жизни, бросало их “в пустынные просторы, в тоску и даль неизжитой мечты”». Эта вековая дума отличала русских от западных европейцев «среднего калибра», которые «легко и безболезненно» отказывались «от омутов и поднебесий жизни ради внешнего преуспеяния в ней». Они – «со своими короткими межстанционными перегонами, с непрерывностью человеческого жилья и труда за окнами – не могли пребывать в таком «отлётно-романтическом настроении».

Одно из его объяснений этого ментального различия заключалось в эстетике пейзажа: душа всякого народа похожа на душу своего пейзажа и своей земли. У Европы – «бесконечное обилие разнообразных природных форм, стесненных скупой отмеренными... пространствами». У России – подлинны просторы, «залитые разливами лесов, полей, болот и рек». Среднерусский пейзаж «не ослепляет» взора. «Красота русской природы – невидимая красота: она вся в чувстве легко и неустанно размыкающихся и расступающихся горизонтов. Она не столько красота на горизонте, сколько красота за горизонтом».

Уже в эмиграции, в Германии в 1937 году, отстраненный нацистами от преподавания в Дрезденском университете, Степун начал свои мемуары с автобиографических сведений и стал вспоминать родные калужские места (он родился в Кондрове). И обнаружил, что в отличие от современных европейцев, живёт у русских благодаря «глубокой связанности с землей» особое чувство природы, «то утонченное осознание ее одухотворенной плоти, ее космической души», которое отличает и русское искусство. Потому что русская дореволюционная деревня была «всецело природной: жилье – бревно да солома, заборы – слеги да хворост, одежда – лен да овчина, дороги, за исключением редких шоссе, не проложены, а наезжены». «А за этим, цивилизацией еще не разбуженным миром... тот русский народ, на котором держалась наша единственная по вольности своего дыхания, во многом, конечно, греш-

ная, но все же прекрасная жизнь», – с тоской отозвался он о Родине, из которой был выслан в 1922 году.

Часто читая лекции в Нижнем Новгороде, он перезнакомился со всеми интересными людьми из своих слушателей. Как всюду, так и в Нижнем русская интеллигенция жила тесными идеологическими кланами. Отношение между кланами носило своеобразно-мистический характер нераздельности, но и неслиянности. Основною формою этого общения был нескончаемый идейный спор. Стронница марксизма врач Бродская, по словам Степуна, старалась «скомпрометировать мое “левизною приправленное, реакционно-славянофильское мирозерцание” в глазах передового нижегородского общества». Совсем иначе отнеслись к лектору в народнических кругах, где еще жили воспоминаниями об эпохе Короленко и недолюбливали Горького.

Здесь его ждал к себе председатель нижегородской Секции гигиены, воспитания и образования доктор Грацианов, который развил секцию чуть ли не в народный университет для утоления «духовного голода рвущейся к свету провинции».

В Нижнем он пришелся ко двору: быстро создалась большая и верная аудитория, которую отличала социологическая и психологическая пестрота. На все его лекции до конца ходили народники, марксисты, представители свободных профессий, сормовские рабочие, весьма пожилые люди и учащая молодежь. Всё это сопровождалось разгулом хлебосоля. В противоположность Германии, которая нарядно живет, но скромно питается, в России и в убогой обстановке ели талантливо. Волга с ее рыбными богатствами особенно способствовала этому. Так, молодой учитель Мишенькин пригласил лектора на дачу к обеду. Приняли просто и радушно, накормили янтарною ухой и крупной душистою клубникой. После обеда пили чай с вкуснейшим сладким пирогом, душевно разговаривали. Потом гуляли над Волгою, дышали необъятными земными и небесными далями, под вечер на крыльчке любовались закатом, жгли костры от комаров и уже по-настоящему беседовали о христианстве и просвещенстве, о России и революции, о Москве и провинции, об учительском призвании и о трудностях провинциального учительствования. Уехал тогда очень поздно, с последним пароходом, в радостном ощущении от знакомства с «настоящими людьми, интеллигентами новой формации, которые и Бога не отрицают, и культуру любят, и социальной справедливости жаждут».

В Астрахани читал две лекции: о славянофилах и о божественном Платоне. Публика оправдала его надежды. В ней не было социально-политической напряженности, интеллигентского нерва, характерных для борьбы короленковцев и горьковцев, что определяли психологию нижегородской аудитории, хотя все же в ней чувствовалась живая тяга полуазиатской провинции к далекой Москве с ее концертами, театрами. В Казани читал в университетской аудитории: в первом ряду сидели профессора, было много студентов и курсисток – уровень аудитории был выше, чем в Нижнем. А он не учел того, что Казань университетский город и надо было читать глубже и строже, чем в других городах Поволжья. После Казани в нём снова усилилась мечта об университетской карьере.

Считал, что был, видимо, единственным московским лектором, который читал в Туркестане, где тогда в Коканде работал его отец. В Коканде читал «О драмах Леонида Андреева» и «О смысле жизни». Там почувствовал, до чего необъятна Россия, разнообразна и живописна

и до чего её мало знаем. За это время его зачарованность «какой-то своей, почвенной экзотикой России еще усилилась». Потом три месяца на Кавказе, который произвёл на него гораздо большее впечатление своей первозданностью, чем Швейцария. В результате появилось новое ощущение России: её имперское великодержавие.

И вот началась война. Ф. А. Степун – этот «русский европеец» (по словам его друга Л. Зандера), философ, теперь в качестве прапорщика оказался в Сибири в конце лета – начале осени 1914 года в связи с формированием 12-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, в пятую батарею которой он был зачислен. Он вспоминал об этом: «То, что я по каким-то неизвестным мне мобилизационно-политическим соображениям попал в иркутскую бригаду, представляется мне одной из больших удач моей жизни. И товарищей, за двумя, тремя исключениями, и солдат я до сих пор вспоминаю с любовью и благодарностью». Более того, в цепи его биографических событий поездку в Сибирь он относил к наиболее важным: «Я знаю, перед смертью от всей суеты жизни останутся только несколько “вечных” минут. Среди них и тот, печально-прозрачный утренний час, которым мы в тихой глубокой беседе в последний раз перед сломом старого мира мирно ехали в Москву... в Иркутск... на войну... в эмиграцию» Десять дней он с женой Натальей, которая провожала его на войну, добирались из Москвы в Иркутск. В канун войны, с публичными лекциями изъездив города Поволжья и добравшись до Коканда, Степун понял и политический, и метафизический смысл протяжённости страны: «Лишь набравшись воздуха наших экзотических окраин, я реально восчувствовал имперскую великодержавность России, которая до тех пор была для меня пустым звуком в громком титуле государя императора. Как это важно воочию увидеть: все не виданное своими глазами неизбежно остается и недопознанным для нашего ума... Какое счастье дышать такими далями. – “Мы русские – какой восторг” (Суворов) – но и какой соблазн!»\* Движение на Восток раздвинуло его горизонты восприятия родины: «Кто не дышал воздухом Сибири, тот никогда глубоко не дышал Россией. За шесть недель нашего пребывания в Иркутске я так крепко привязался к невзрачной прибайкальской столице русской Азии, что и, не разделяя идеологии евразийцев, чувствую себя чем-то связанным с ними: само слово Евразия будит во мне какие-то надежды и страсти. В Иркутске я понял, до чего эфемерна уральская граница между Европой и Азией. Ведь только бескрайние сибирские дали могут сдержать те обещания, что нам дает восточная Европа, точнее европейская Россия». Именно тогда, в Иркутске, философ признался, что «задолго до евразийства» понял и почувствовал неправоту Канта и германскую тщету: «Живи он не в Кенигсберге, а в Сибири, он, наверное, понял бы, что пространство вовсе не феноменально, а насквозь онтологично. На Байкале он, вероятно, написал бы не трансцендентальную эстетику, а метафизику пространства. Эта метафизика могла бы стать для немцев ключом к пониманию России. Безумно мечтать о победе над страной, в которой есть Сибирь и Байкал...»\*\*

Тогда с женой в пустом товарном вагоне добрались они до «священного» Байкала. В письме к матери от 14 сентября он написал:

\* Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся / Послесл. Ю.И. Архипова. – СПб.: Изд-во «Алетейя», Изд. группа «Прогресс» – «Литера», 1994. Т. I.

\*\* Степун Ф. А. (Н. Лугин). Из писем прапорщика-артиллериста. – Томск: «Водолей», 2000.

«А мир был так прекрасен в понедельник девятого сентября». И живописно рисовал дорогу вдоль Ангары со светло-зелёными лиственницами, тёмно-зелёными соснами, желтеющими «грациозными» берёзами и красно-малиновым кустарником; вода в реке, то тёмно-синяя, то бледно-зелёная, прозрачная до дна. С приближением к Байкалу потянуло морскою бодрящею свежестью. Когда поднялись на гору, увидели: море и снежные горы, речную долину в лесистых холмах, над головой бесконечное синее небо, на земле – игрушечный вокзал.

Там он убедился, как сильно Сибирь «захватывает и покоряет людей», приводя в пример иркутскую квартирную хозяйку. Полька, вдова политического ссыльного поляка, поклялась умирающему мужу вернуться на родину, чтобы там воспитать детей. С трудом добившись разрешения, уехала в Варшаву, «полная радости и надежды». Но вскоре «затосковала по царственным сибирским просторам и их беспредельной свободе» и через год вернулась в Иркутск, испросив у ксендза разрешение нарушить данную мужу клятву.

Он сам потом не раз открывал девятый том немецкого энциклопедического словаря Брокгауза 1928 года, где к статье «Иркутск» была приложена картинка: типичная провинциальная улица русского Севера, непросыхающая лужа, вдали церковь. Среди бревенчатых двухэтажных домов, соединенных высокими воротами, нашёл одноэтажный домик, в котором он с женою и товарищем по бригаде жили в Иркутске перед выступлением на фронт. С лупой в руках он подолгу рассматривал «столь знакомую глазу и милую сердцу улицу», по которой дважды в день ездил верхом на занятия в пятую батарею 12-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Бригада была второочередная и только еще формировалась. Ежедневно поступали новобранцы и пригонялись лошади. Ему было поручено проводить с ними занятия по верховой езде. В том же письме жаловался на ужасную дорогу: «бесконечные дожди и глинистая почва». Но был горд собой: «офицер я приличный, все больше вхожу в службу, отношусь ко всему, не в пример лагерному сбору, серьезно и внимательно и стараюсь вполне приготовить себя к той тяжелой и ответственной роли, которая может в наши дни выпасть каждому из нас на долю». Готовил к этому и своих сибиряков-батарейцев, узнавая их представления о войне. Его поражали их «совершенно детские», но «серьёзно и глубоко поставленные вопросы»: «что это немец нам войну объявил», «а далеко ли до немца ехать», «крещеный ли немец народ или как турки, нехристи», «может быть, ...жить им тесно», «нельзя ли от них откупиться?» Хорошо помнил своего вестового, сорокалетнего рыжего бородача Злобина, скучавшего по своему дому, семье и силившегося понять: «с чего это вдруг стряслась война, и за какие грехи он из своей честной жизни попал на каторгу». Злобину особенно нравилась вероятность – откупиться: «если бы немцу, примерно, треть того отдать, во что война обойдется, то, быть может, он бы и угомонился и государю-императору не надо было бы зря народ калечить».

Испытывая глубокий стыд за «трафаретные ответы», которые давал «по долгу службы» своим сибирякам, он сумел составить мнение об их взглядах на войну – войну «правильную» – что-то «вроде крестового похода», предполагая, что такой взгляд мог сложиться под влиянием церковной молитвы о «благоверном императоре» и «христоролюбивом воинстве», и также солдатских песен о турецких походах. С солдатским представлением о «враге-нехристе» он связывал еще и представление о нем как об «обидчике, то есть нападчике». Узнав из беседы с ним,

что немцы – христиане, а больше трети из них католики, совершенно сбились с толку, ибо это не вязалось с их взглядами о враге – турке и японце. А у него сложилось мнение, что у батарейцев-сибиряков не было никакого представления о России «как об империи и о геополитических законах ее исторического бытия». Приходилось выступать против их «узко-туземной точки зрения»: «зачем три недели на поезде немцу навстречу ехать?» – «Пусть к нам пожалует... тогда дома-то мы его во-как разделаем». Это не мешало ему признать сибирских крестьян патриотами. «Свою Россию они любили и, главное, крепко верили в ее мощь, но их своеобразный крестьянский патриотизм носил скорее хозяйственный, чем государственный характер». Вот и в Карпатах потом, на полях сражений, выявилось то же – общесолдатское мнение: «Да зачем нам, ваше благородие, эту Галицию завоевывать, когда ее пахать неудобно». Отмечая «гражданскую неподготовленность к войне», он осознавал, что бригада «воевала на славу». Эти наблюдения потом навели на размышления о будущем мироощущении советского бойца, чтобы заключить: «не думаю, что оно будет очень отличным от того, под знаком которого воевали наши сибирские части. Солдатская вера как была, так и будет все той же: царь приказал, Бог попустил, податься некуда, а впрочем, на миру и смерть красна». Ф.А. Степун допускал: «Миросозерцательное содержание старой формулы от этого, конечно, изменится, но ее эмоциональным корнем останется всё то же чувство: чувство зависимости человеческой жизни от высших сил, чувство невозможности сопротивляться и добровольная готовность соборного подчинения им до самой смерти. Там, где это чувство в народе исчезает, в конце концов, исчезает и солдатская доблесть. Мне кажется, что окончательная утрата французским народом, отчасти в связи с гарантиями Версальского договора, трагического ощущения жизни и ее неизничтожимых опасностей, является главной причиной непостижимого разгрома французской армии в 1940 году».

Война изменила его отношение к мужику. Если простой народ в родительском доме ощущался «скорее частью деревенского пейзажа, чем расширением человеческой семьи», то близкое общение с солдатами определило «не только деградирующий, но странным образом и возвышающий смысл этого “барского” отношения к “мужику”». Он пояснял это так: «Переходя из офицерской землянки в солдатские, я всегда чувствовал, что не только спускаюсь в мир необразованности, но одновременно и поднимаюсь на какую-то высоту. Очень далекий по своему воспитанию как от право-славянофильского, так и от лево-интеллигентского народничества, я на войне все же пришел к убеждению, что “варварство” русского мужика много ближе к подлинным высотам культуры, чем средне интеллигентская образованность».

Созвучны этому суждению были его наблюдения о первой встрече с врагом, когда по пути на фронт на какой-то большой доуральской станции, сибиряки столкнулись с военнопленными австрийцами. Буфет первого и второго классов, где они собирались повкуснее пообедать, оказался забит «голубыми австрийскими офицерами» так, что прибывшим – не пробиться. И на платформе пленные с жадностью скупали провиант у баб и подростков, особенно жареных кур и огромные бисквитные торты, которые специально пеклись для пленных, не любивших черный хлеб. Австрийцы платили за недоступную русскому солдату курицу 30–40 копеек. Но никому из русских военных и в голову не пришло «попросить австрийцев очистить нам место и потребовать

от буфетчика, чтобы в первую очередь кормили своих». Допуская какие угодно жестокости, Степун настаивал на одном: «русский человек жесток только тогда, когда выходит из себя», а «в здравом разуме, он в общем совестлив и мягок». Выявлял отличия: «В России жестокость – страсть и распушенность, но не принцип и не порядок. Иначе у немцев: быть может, немецкие офицеры... и жестоки не более нас, все же они по разумной принципиальности никогда не потерпели бы, чтобы им у себя, в Германии, не хватило бы места и еды, потому что все места заняты врагами».

Время галицийского похода 1914–1915 годов Степун вспоминал как самое светлое, несмотря на все неполадки в снабжении и руководстве, потому что дух армии был «так крепок и светел», каким он никогда не был. При этом он различал настроения солдат и офицеров. Недостаточно объяснить этот дух «победоносностью нашего наступления», так как для солдат продвижение вперед не играло большой роли. «Говоря о войне, наши сибиряки всегда говорили о бое, об его удали и его озлоблении, или о бабе (справится ли она с хозяйством, не забалует ли), или о Боге, т. е. о грехе войны. Вопрос же о том, добудем ли мы Галицию, которую неудобно пахать, их мало интересовал. Потому их настроение оставалось все тем же, как при наступлении, так и при отступлении». Другое дело – «приподнятое настроение» у офицеров, которое он объяснял «не столько легкими победами над австрийцами», сколько «вдохновением первого боевого крещения» в Рождество 1914 года в Ростках. Степун пишет об этом с упоением: «Охватывая душой и глазом всех этих вверенных мне людей, я испытывал новую, выросшую за ночь связь с ними, новую любовь к ним, своим батареям, и ответственность за них. Слыша в своей совести их немой вопрос мне: не выдам ли я их, не растеряюсь ли, я твердо, без слов, но всем своим существом отвечал им: “не выдам, справимся”». «Сообщилась ли моя веселость солдатам, или, поднявшись в их душах, она перелилась в мою, я сказать не могу. Знаю только, что первый бой остался у меня в памяти одною из самых звонких, веселых и возвышенных минут моей жизни». Скача после начала боя по обстреливаемому неприятелем шоссе к себе на батарею и обратно к своему взводу, он «кипел тем же неопишуемым восторгом, в котором сто лет тому назад несся в свою первую атаку юный Петя Ростов». Это был, по его мнению, «древний восторг боя, в котором кровь ревет, как река в половодье, душа слышит нездешнюю песнь, а сердце блаженно замирает в кольце предсмертного холода, наполняет нас не ненавистью к врагу, не жаждою победы и даже не любовью к родине, а чем-то возносящим нас над жизнью и смертью». Он получил прозвище «геройского барина», хотя, как сам признавался: «“Геройство” мое всегда выражалось лишь в пассивной храбрости, в умении веселостью ободрить солдат в опасную минуту и помочь скоротать им тревожные часы ожидания боя». При этом считал себя офицером «весьма посредственным». Когда был начальником разведки, то руководствовался «больше глазомером, сметкой и доверием к охотничьим инстинктам» солдат-сибиряков. Сам вынес заключение: «Строго и очень серьезно я относился только к духовно-нравственным и педагогическим задачам офицера; в сфере же своих профессионально-технических обязанностей я дилетантствовал и сибаритствовал так, как это было возможно, вероятно, только в царской армии».

Но как ни поднимал он офицерскую роль, сам «в качестве философа, то есть человека лишь раненного вечностью, но не спасенного

в ней», все больше тяготел к «батареинному “старцу”» Шестакову, который «просто и твердо верит в своего православного Бога». Шестаков был «глубоко набожным сорокалетним “стариком”», который Великим постом «питался исключительно хлебом и водою, не теряя от этого ни бодрости, ни сил, ни светлого настроения». Замечал: «что-то шестаковское было почти во всех солдатах», объясняя тем, что, «проходя трудную полосу своей жизни, они все невольно уходили в глубину древней веры своих отцов и дедов», что «этою верою искони держится и своеобразно-пассивный народный патриотизм: Бог не выдаст – свинья не съест. Вера же в то, что Бог Россию не выдаст, была в крестьянской, а потому и в солдатской России всегда тверда». Этой верою объяснялась для него и «непостижимая небрежность» сибиряков к своим обязанностям. Все они неохотно окапывались на позиции и поясняли: «Нам, ваше благородие, не к чему. Австрияк оттого и бежит, что хорошие окопы любит, из хороших окопов кому охота в атаку подыматься, а мы из наших завсегда готовы». «Толстовски народное чувство, что война идет своим собственным “верхним ходом” и не очень зависит от отдельных решений и распоряжений», по признанию мыслителя, было и в нём самом «подчас очень сильно». «Наивным» окопным беседам, был «очень многим обязан», отсюда – убеждение: «досадная бессодержательность большинства современных философских книг» идёт от игнорирования растущих «на жизненном корню» важных истин.

Попав в лазарет, он писал на свою батарею: «сколь бесконечно ценными кажутся мне отсюда месяцы, проведенные на фронте. Как первая любовь, вспоминаются первые осенние бои. Любовь и войну роднят ошеломляющая необычайность как той, так и другой и непосредственное отношение обеих к последней тайне жизни, к смерти. Как бы страшна ни казалась нам смерть, диалоги, что от ее имени ведут с нами немецкие снаряды, все же диалоги с вечностью. Высшего же наслаждения души смертных, очевидно, не знают, как прислушиваться “к песням небес”».

Как не согласуется это пафосное философское рассуждение с состоянием ужаса, в которое повергло его самое начало войны, о чём он писал матери в сентябре 1914 года. Наряду с ужасом «материального плана», более всего страшила невероятная ложь беспамятства, когда предают «проклятию и отрицанию все великое, что некогда было создано духом и гением» каждой враждующей стороны. В России – «неблагодарное забвение того, что сделала германская мысль в построении русской культуры. Бездарное и безвкусное переименование Петербурга Петра и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград». В Германии, «стране философии и музыки, еще того хуже, еще того преступнее и позорнее»: выступают против переводов на немецкий язык величайших произведений враждующих сторон. Но более чем вся эта ложь, его смущала и мучила «та *тьень правды*, которая ныне, очевидно, лежит на всей этой лжи». Правда состояла в том, что «вражда к врагу рождает громадную любовь к своему народу, к своей родине», состояла в преодолении «косности, своекорыстия и эгоизма, о котором в мирное время даже и подумать было невозможно», в героизме, с которым «переносят раны, смерть и безвестную пропажу своих дорогих и близких», «во всем настроении России, трезвой, сознательной и бескорыстной», в вечерней молитве солдат: «Спаси, Господи, люди Твоя», в цветах, которые несут отправляющимся на фронт, в белых лентах, которыми завязаны эти цветы, в надписях на них: «Спаси вас Господь».

Война, военное братство влияли на мироощущение. Степун чувствовал себя среди не выдавших фронта писателей, философов, интеллигентов-политиков «глубоко одиноким и неприкаянным», их речи ощущались им «сплошной инфляцией, мозговой игрою, конструктивной фантазией, кипением небытия», что делало его «особенно недоверчивым ко всякому мироустроительному умствованию над творящимся в мире безумием». Он (как и солдаты) мечтал начать «новую, углублённую жизнь». Революция, пережитая им, заставила всмотреться в себя и если «не оправдала войны», то всё же как-то очистила её в его памяти. Поражали свойства памяти, которая «помимо нашего сознания и нашей воли, неустанно передумывает нашу жизнь». Этим он объяснял, что нынешний образ войны далеко не во всем совпадал с ее зарисовками в письмах с фронта. Ныне «громкие слова не звучат в душе», даже «как-то стыдно» перечитывать их. «Теоретически я не переменял своих взглядов, но душою я за истекшие годы настолько отвернулся от них, что меня с каждой новой весной всё сильнее и сильнее тянет в галицийские окопы». И ещё одно признание: «Не полюбив на войне войны, я неожиданно для себя самого крепко привязался к армии, проникся ее воинским духом. Конечно, не все офицеры и нижние чины были по духу солдатами, но те из них, что ими подлинно были, были, быть может, лучшими людьми из всех, с которыми меня свела жизнь». Тем самым война укрепила его духовно. Потому, как бы не ужасна она была, он признавал её всё-таки человеческой – поскольку она обнаруживала совершенно новое качество в её участниках – боевое братство.

Наконец, война была одним из факторов, что кардинально изменили его ментальность. Хотя причин для этого превращения было немало, и об этом он высказался очень определённо: как из «близкокровного России полупруссака» превратился в «подлинно русского человека» – благодаря православию, русскому детству, службе в русской армии после технического училища, лекционным разъездам по стране, породившим «зачарованность образом России», братской близости с русским солдатом на войне, подростковой поэтической влюблённости в Лизу Калитину и Наташу Ростову, женитьбе на коренных русских женщинах, пятилетнему хозяйствованию на земле во время революции и Гражданской войны. Да и отца своего он не считал «пруссакком», так как по целому ряду черт его натуры – он был «скорее славянином, чем германцем» (как и прусаки – наполовину славяне), к тому же любившего природу России «какой-то особою, языческой любовью».

Ф. Степун, однако, сознавал собственную биполярность: «Две любви бессмертны в душе человека»: «любовь к своей земле, к своему дому, к своему порогу – к своей родине» и «любовь к чужому небу, к вольной дали, к пути-дороге – к чужбине». «Сложная диалектика этих чувств бесконечно усложнена сейчас в душах русских людей! Обе любви слиты в нас в одну неделимую. Россия всем нам сейчас и дом, и даль, и порог, и дорога; мы чувствуем её и как родину на чужбине и как чужбину на родине, любим её потому новою, страстною, тоскующей любовью». И особо подчёркивал, что «Россия переполняет наши души той бесконечной тоской по себе, в свете которой идеи родины и патриотизма приобретают новый, религиозный смысл».

Ещё в 1916 году, находясь в лазарете, он писал: «из всех народов Европы наиболее близки друг другу Россия и Германия». Их сродство определено в «духовном облике» и в «жизненных судьбах» – «ценностями абсолютного религиозного порядка». А сходство между немецким

романтизмом и славянофильством есть «выражение глубокого духовного сродства». Родство – вопреки противоположности: метафизики Германии и мистики России, различию фаз – Германия прошла «зенит своего духовного развития», а Россия – только к нему восходит. «Спасение Германии в России. Спасение России в Германии» – его заветное желание (в случае победы русского оружия). Тем более что «лучшие люди подлинной Германии» никогда не смогут ощутить ни Англию, ни Францию родными и близкими, ибо «полёт германского гения всегда был чужд духу этих “передовых демократий”». Его тревожило, что «энергичная промышленная Европа глубоко враждебна России» и не исключал, что к концу войны «все народы Европы – и наши союзники, и наши враги – чем-то своим “европейским” перекликнутся между собой» и встанут против несчастной России.

А находясь на чужбине, он считал главной задачей эмиграции (и своею) – сбережение для будущего «вечного облика России», для «духовной встречи старой русской культуры» с творческой жизнью на территории СССР.

## Руслан СЕМЯШКИН

Родился в 1983 году в Симферополе. Окончил Таврический национальный университет по специальности «история» и Одесский региональный институт государственного управления.

С публицистическими статьями и очерками печатался в журналах «Наш современник», «Простор», «Литературный Азербайджан», «Памир», «Политическое просвещение», «Известия СКП-КПСС», в газетах «Правда», «Советская Россия», «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы», «Красная звезда» и других.

Живет в Симферополе.

## «ИДЕЯ СОЦИАЛИЗМА ВСЕГДА ЖИВЕТ ВО МНЕ»

110 лет со дня рождения Хулио Кортасара

XX век и особенно его вторая половина подарили человечеству блестящую плеяду крупных латиноамериканских художников слова. Особое место в их ряду занимает знаменитый аргентинский писатель Хулио Кортасар, крупнейший мастер интеллектуальной прозы прошлого столетия. Прозы неустаревающей, глубокой, держащей читателя в состоянии напряженной мыслительной деятельности.

Советский и российский литературовед, литературный критик Лев Осповат характеризовал Кортасара как писателя «подчеркнуто интеллектуального склада, исходный материал которого – индивидуальное сознание, основная тема – духовный кризис буржуазного общества, а заветная мечта – освобождение человека». Он умел очаровывать читателей сразу и не разочаровывать их в дальнейшем и относился к литературному процессу как к увлекательной игре.

«Литература всегда была для меня сферой игровой деятельности... Мне она (литература) кажется самой серьезной игрой, – признавался Кортасар в беседе с уругвайским журналистом Энрике Гонсалесом Бермехой. – Если бы мы расположили различные виды игры, от самых невинных до самых хитро продуманных, по шкале оценок, то я думаю, что литературу, музыку и вообще искусство пришлось бы поставить на самую отчаянную, головокружительную (в хорошем смысле слова) высоту».

В признании этом заключена формула метода и писательского успеха аргентинского художника, создававшего удивительные книги играючи, играючи с удовольствием, вдохновенно и легко. И такая игра воспринималась им как «игра взаправду». Поэтому и играл он со временем, пространством, образами, ситуациями, ассоциациями и словами,

в совокупности повлиявшими на выбор серьезнейшей темы: культура и современная жизнь, взаимоотношения художника и общества, художник и создаваемый им мир.

Тему эту Кортасар в своих книгах исследовал постоянно и с самых разных, полярных точек зрения. У него немало произведений, посвященных литературе, музыке, живописи, кино. Известны, к примеру, те же его рассказы «Преследователь», «Слюни дьявола», «Танго возвращения», «Дневниковые записи для рассказа», «Менады», «Мы так любим Гленду», «Шаги по следам», «Письмо в Париж одной сеньорите», «Непрерывность парков». В них он, как заправский фокусник, словно бы приоткрывает читателю тайны своего искусства, но в том-то и фокус, что тайна у Кортасара так и остается тайной.

Проза Кортасара – образна и поэтична, ассоциативна и парадоксальна, тем более что в ней писатель стремился рассказать «с поражающей верностью о состоянии души человека», при том, что герои у него ставились в «исключительное внешнее или психологическое положение».

Кортасар в своем творчестве – и посредством этого творчества – стремился уйти от скучной, размеренной, логически выверенной повседневности в мир вымысла, где все существует только единожды. Таким образом он рассчитывал постичь и глубинную суть самой жизни, увидеть «другое небо». И может, как ему представлялось, чем скучнее реальность, тем ярче солнце этого другого неба, тем необычнее игра писательского воображения. Потому-то зачастую его вымыслы были близки к сновидениям. А сны, что и говорить, бывают разные, в том числе и пророческие. У Кортасара же они были, в отличие от более старшего аргентинского писателя и философа Борхеса, по-настоящему литературными, построенными на хитроумном сюжете, придуманными, но, и, пожалуй, вполне реалистичными, будившими читательское воображение.

Писатель в своих книгах, читающихся легко, запоем, но и трудно, с большими остановками, не чурался балансирования и на грани фантастики. В этой связи обратимся к его определению всего фантастического, озвученному упомянутому выше уругвайскому журналисту Бермехе:

...Это нечто совсем простое. Оно вторгается в нашу повседневную жизнь... Это нечто совершенно исключительное, но в своих проявлениях оно не обязательно должно отличаться от окружающего нас мира. Фантастическое может случиться таким образом, что вокруг вас ничего не изменится с виду. Для меня фантастическое – это всего лишь указание на то, что где-то вне аристотелевских единств и трезвости нашего рационального мышления существует слаженно действующий механизм, который не поддается логическому осмыслению, но иногда, врываясь в нашу жизнь, дает себя почувствовать... Это в обычной ситуации причина вызывает следствие, и если создать аналогичные условия, то, исходя из этой же причины, можно добиться того же самого следствия... Но фантастическое происшествие бывает лишь раз, ибо оно соответствует лишь одному циклу «причина – следствие», который ускользает от логики и сознания. Тем не менее его можно ошутить, но не рационально, а интуитивно.

Тут к месту сказать и о том, что Кортасар увлеченно писал о животных, а также и о таких мифических существах, как Минотавр, встречавшийся в его ранней драматической поэме «Короли», опубликованной в 1949 году в журнале «Аналес де Буэнос-Айрес». В основу этой поэ-

мы был положен миф о Тесее и Минотавре – полубыке, получеловеке. При этом Кортасар совершенно по-новому разрабатывал старый миф, отыскивая свое представление и восприятие этой известной истории, о которой впоследствии скажет:

...Минотавр берется мною под защиту. Тесей становится стандартным персонажем, личностью без воображения, почитающей все условности. Он поднимает шпагу, чтобы убить чудовище, которое есть не что иное, как исключение из ряда условностей. Минотавр – поэт, он не похож на других, он совершенно свободен. Его изолировали ото всех, потому что он угрожает установленному порядку.

Достаточно определенно Кортасар выскажется и о животных, присутствовавших в его творениях:

Если произвести своеобразный статистический подсчет животных среди образов, созданных мной, то число это окажется огромным. Начать хоть с того, что первый мой сборник рассказов называется «Бестиарий». Нередко у меня люди представлены в виде животных или показаны «с точки зрения» животных... Моя территория фантастического действительно кишмя кишит животными. Я думаю, что это имеет какое-то отношение к области бессознательного, потому что у меня встречаются юнгианские архетипы. Тема быка, тема льва... Меня в животном мире завораживает – особенно на низшей его ступени, скажем в царстве насекомых, – то, что там я сталкиваюсь с чем-то, что живет своей жизнью, но со мной не имеет никакой связи... И до сих пор не разгадана загадка улья, тайна муравейника, которые сами по себе тоже представляют социальную структуру, но такую, которой не знакомо понятие истории... Это значит, что животные развиваются вне времени – ведь история-то помещена во временной контекст – и до бесконечности повторяют одни и те же движения. А зачем, почему?

Вопросы эти звучат несколько странно. Но для Кортасара они вполне естественны. И животные в его прозе живут в своем мире, соприкасающемся, однако, с мирами человека, искусства и времени. Так, в книге «Только сумерки», увидевшей свет после смерти писателя, есть любопытное сравнение: «Игра продолжается – приходило и отчаяние, и желание выбросить все в корзину, где скопилось уже великое множество невоплощенных замыслов, но иногда вдруг врывается и радость – когда, перечитав стихотворение, я хотел погладить его, словно кошку, чья шерсть – наэлектризована». В сравнении этом, думается, весь Кортасар – свободный творец, отвергавший схематичность, условность творчества и писавший так, чтобы читатель обязательно поверил в реальность вымысла. Чтобы вымысел в результате стал реальностью, а само литературное произведение в чем-то дополняло даже и автора, его создавшего.

Свобода индивидуально творить для Кортасара имела принципиальное значение. О ней емко высказался русский советский переводчик и писатель Виктор Андреев: «В рассказах Кортасара была творческая свобода. В одной фразе он мог соединить голоса разных персонажей. Он по-своему обращался со временем и пространством. Творил по своим законам. Чувствовалось: никто не стоит у него над душой, не тычет перстом указующим. Более того: ему самому доставляет удовольствие писать. Читатель легко мог себе представить, как Кортасар сидит за рабочим столом и улыбается в – реальные или вымышленные – усы...»

О прозе малой формы Кортасара высказалась и известный советский критик, литературовед-испанист, доктор филологических наук Инна Тертерян: «...Для Кортасара рассказ ближе к стихотворению, чем к прозаическому произведению большой формы. Рассказ всегда метафоричен, воздействует на читателя прежде всего атмосферой, нарастанием и спадом внутреннего напряжения, словесным ритмом. Рассказы Кортасара – сгустки смысла, образы идей, какими бывают стихи больших поэтов».

Большое значение в своих произведениях Кортасар придавал вопросу о времени. Время как таковое можно и вовсе считать основной доминантой творчества писателя. При этом он не прочь был бы ход времени изменить. Неслучайно же Кортасар взял к своему рассказу «Застольная беседа» эпиграф из Гераклита: «Время – ребенок, что, играя, двигает пешки». А уж сам-то запросто экспериментировал на теме о провалах времени между прошлым и настоящим. Так, главного героя известного рассказа «Преследователь» саксофониста Джонни Картера будут постоянно мучать «временные переключки» – сходящиеся для него в одной точке, аккумулирующей прошлое, настоящее, будущее.

Выделялась проза Кортасара и своей ироничностью. Потому-то даже о своем главном произведении – философском романе «Игра в классики» – писатель говорит: «Без юмора моя книга, скорее всего, была бы просто невыносимой». При этом Кортасар однажды признается, что если бы он не написал этот роман, то, вероятно, бросился бы в Сену. Каково? Тут уже, что называется, не до смеха.

Смех между тем будет присутствовать и в аллегорических сказках Кортасара «Жизнь хронопов и фамов». И смеяться в них писатель станет даже над своими любимыми героями – хронопами: «эти зеленые и влажные фитиольки». А ведь хронопы у него – мечтатели, фантазеры, не желавшие, как и сам Кортасар, признавать реальность бытия как единственную реальность бытия. Они – «исключение из ряда условностей» и не могут, а может, не способны принимать «установленный порядок» жизнедеятельности.

Слово же, придуманное писателем, окажется жизнеспособным и пойдет бродить по всему миру. Хронопом с удовольствием будет себя называть и сам Кортасар, личность удивительная, прожившая увлекательную жизнь, где нашлось место и противоречиям, и фантастическому, и тому, что заключалось в литературном даровании, выделявшем его среди других сверстников, хорошо ему знакомых и незнакомых вовсе.

Центральным произведением Кортасара является роман «Игра в классики», написанный им в 1963 году, ставший своеобразным итогом его ранних поисков, размышлений и в то же время отправной точкой зрелости. Роман этот, созданный шесть десятилетий назад, будил воображение и мысль читателя ранее, продолжает он выполнять данную функцию и сейчас.

В центре романа предстает сорокалетний аргентинец без определенных занятий Орасио Оливейра, живущий в Париже и перебивающийся подачками богатых аргентинских родственников. Со своими друзьями, называвшими себя Клубом Змеи, он проводит вечера, слушая джазовые записи и ведя споры на философские и эстетические темы. И главный их аргумент – в полной несостоятельности буржуазного общества и вообще западной цивилизации, не позволявшей вырваться из духовной тюрьмы, в которой очутилось их поколение. Но однажды Клубу

становится доступен архив старого, умирающего писателя Морелли, заметки и рассуждения которого дают обильную пищу для дискуссий.

У Орасио имелись две подруги: француженка Пола и уругвайская девушка по прозвищу Мага. И связи его с ними будут тянуться до тех пор, пока свобода Оливейры ничем не стеснена. Но Пола тяжело заболевает, а Мага привозит из деревни своего больного ребенка, вскоре умирающего. Оливейра в сложившейся ситуации ведет же себя как малодушный эгоист. Покинутый Магой и осужденный друзьями, он сначала угрюмо паясничает, а затем уезжает в Аргентину, то ли искать Магу, которую, оказывается, любил, не то просто оттого, что в Париже ему нечего делать и не с кем знаться.

В Буэнос-Айресе Оливейра найдет себе подходящую компанию. Тревелер и Талита – такие же убежденные нонконформисты, не желающие вести благопристойный буржуазный образ жизни, как и парижские приятели Орасио, только с облегченным интеллектуальным багажом. Да и вообще они воспринимаются проще и веселее, так как поступают на службу в цирк, а затем в больницу для умалишенных, устраивают всевозможные розыгрыши, эпатируют мещан. Такое поведение делает их быт похожим на непрерывный карнавал. Но и тут Оливейра вступает в эмоциональный конфликт с друзьями, чуть не разрушает счастливую любовь Тревелера и Талиты, да и сам в конце концов оказывается на грани самоубийства и безумия.

Такова фабула этого и до сих пор популярного, переведенного на многие языки Кортасаровского романа. Но лишь «необязательные главы», заключающие споры в Клубе, заметки Морелли, монологи Оливейры, позволяют осознать подоплеку «карнавализации» своей и чужой жизни, которой с фантастическим рвением предается Оливейра.

Принципиально изменить свой образ жизни Оливейра не в состоянии. Инна Тергерян по сему поводу сделает следующее заключение, с которым трудно не согласиться: «Исходный пункт – несогласие, решительное неприятие общества, в котором ему выпало жить. Все: семья, государство, мораль, нормы общежития – вызывает у него подобие зубной боли, и никакого примирения с “системой”, с “Великой Привычкой” (так нередко Кортасар именуется западное устройство жизни) для Оливейры быть не может. Но выпасть из системы легко – продолжать жить в этом состоянии выпадения трудно. Надо или смириться, или бороться, а Оливейра тянет и тянет промежуточную, межумочную стадию, как бы ожидая извне разрешения своих внутренних проблем».

Кортасар был новатором, и его роман «Игра в классики», как, впрочем, и другие романы, тому подтверждение. Оригинальность его философской прозы заключалась в стремлении противопоставить читателя-сообщника, соучастника творческого процесса, пассивному читателю, берущему в руки книгу и предвкушении гарантированного и легкодоступного удовольствия. Потому-то в одной из бесед Кортасар и говорит о том, что все его ухищрения «служат способом постепенно вывести читателя из себя, из привычных рамок».

Привычные в литературе рамки для Кортасара-игрока в общем-то были неприемлемы. И при критическом описании западного мира в помощники он призывал не только иронию и юмор, но и сам язык. Язык, который способен выполнять положительную, но и резко отрицательную роль. О значении языка в романе «Игра в классики», Кортасар выскажется предельно конкретно:

Тут прямая атака на язык в той мере, в какой – об этом прямо сказано во многих местах книги – язык обманывает нас практически на каждом слове... Однако я не восстаю против языка в его полноте или в его сущности. Я восстаю против его употребления, против определенного языка, который мне кажется фальшивым, ублюдочным, приспособленным к неблагоприятным целям.

При этом и «Игра в классики», и другие произведения писателя были наполнены особой поэзией, лиризмом, поэтическим восприятием мира. «Внутри моих романов всегда есть главы, – отмечал Кортасар, – которые выполняют роль стихотворений, хотя написаны они не стихом. Но они аналогичны стихам: у меня есть система образов, метафор, символов, и в конечном счете их структура подобна структуре поэмы».

Тут в пору сказать и о символах, отличавших прозу писателя и имевших важное значение. Вот что писала о них Тертерян: «Кортасаровские символы – пункты встречи философии и быта, узелки, которыми связаны обе нити повествования. Насыщенные философскими смыслами, они меж тем постоянно и легко употребляются персонажами в быту, возникают в повседневной речи, в перипетиях личных отношений. Метафорами изъясняются и мыслят персонажи, метафорами и сам автор оценивает их слова и поступки. Иногда эти метафоры не нуждаются в специальном истолковании: они, подобно образам в стихотворении, непосредственно переживаются читателем. Таков кровотокающий хлеб, приснившийся Орасио в ночь после смерти Рокамадура. Но чаще метафоры рождаются из художественных (музыка, живопись), литературных, философских и прочих ассоциаций и поэтому нуждаются в интерпретации».

Некоторые достаточно важные в общей канве романа «Игра в классики» метафоры были рождены увлечением Кортасара восточной философией, захватившей его после путешествия в Индию. Эти понятия – сатори, бардо, мандала – писатель использовал свободно, как поэт, избегавший научного педантизма. Так, он игнорировал определенные различия между чань-буддизмом, его японской разновидностью дзен-буддизмом и тибетским ламаизмом. Для Кортасара это было несущественно, куда как более важным ему представлялся сам дух этой философии, столь отличной, по его мнению, от западной.

Оливейра, убеждал нас писатель, «становился все более похож на героя какого-нибудь русского романа». Потому и советует он Тревелеру почитать Достоевского, чтобы понять, на какие подмены чувств и идеалов способен человек. Кортасар не единожды говорил и о влиянии Достоевского на «Игру в классики», указывая при этом на роман «Идиот». Хотя, наверное, влияние Достоевского на Кортасара следует рассматривать гораздо шире. И исповедальные монологи Оливейры, и рассуждения Морелли напоминают, вплоть до сходства важнейших, ключевых формулировок, многие характерные эпизоды из сочинений Достоевского. Перечисление таких схожих образов, обстоятельств, сюжетных линий, и прежде всего парадоксального характера, встречавшихся в творчестве Достоевского и Кортасара, можно было бы и продолжить. Но, думается, важнее все же отметить то, что Кортасар, несомненно, уловил сюжетно-композиционные особенности поэтики Достоевского и не без помощи русского классика отыскал и свой собственный путь в интеллектуальной, глубоко философской литературе.

Аргентинец, он родился, тем не менее, в занятом немцами в ходе начавшейся Первой мировой войны Брюсселе, где в аргентинском тор-

говом представительстве работал его отец. Но вскоре семья вернулась в Аргентину и поселилась в пригороде Буэнос-Айреса, в доме, «где было полно кошек, собак, черепах и сорок». Здесь будущий писатель рано приобщился к чтению, и читал жадно, с упоением. А затем так же упоенно стал и писать, о чем поведал в одном из интервью: «Я начал писать в девять лет – тогда, когда влюблялся: и в свою учительницу, и в одноклассниц; любовь-то и диктовала мне страстные сонеты... Еще ребенком я открыл для себя Эдгара По и свое восхищение им выразил, написав стихотворение, которое назвал, ну конечно же, “Ворон”. Я и потом продолжал писать, но не торопился отдавать написанное в печать...»

Детское свое восприятие Кортасар сумел сохранить и во взрослой жизни.

В моем случае речь идет о продолжающемся и поныне детстве, о многом, что остается во мне от ребенка, и это – нечто такое, от чего я не могу и не хочу отказываться. Когда я вступил в отроческий возраст, я понял, что моих друзей раздражают воспоминания о детстве, они хотели скорей стать мужчинами. Ну, и я того же хотел, однако в то же самое время я инстинктивно противился тому, чтобы навсегда утратить этот сад детства, где я был счастлив или несчастен в зависимости от обстоятельств. Вот это я и сберег, по крайней мере в своих писаниях. Критики отметили, что мне особенно хорошо удаются дети, и это меня не удивляет, ведь в конечном счете эти персонажи – проекции меня самого.

Писателем Кортасар являлся практически на протяжении всей своей жизни, оборвавшейся буквально за полгода до семидесятилетнего юбилея. Но долгое время он писал лишь для самого себя. «В первый период своей литературной работы я писал рассказы и только рассказы и был беспощаден к себе, – вспоминал годы спустя Кортасар, – так как за образец взял произведения Хорхе Луиса Борхеса, его необычайную краткость».

Написав однажды небольшой рассказ «Захваченный дом» и осознав, что «таких рассказов на испанском языке еще не было», Кортасар в 1946 году отнес его Борхесу в журнал «Аналес де Буэнос-Айрес», где он и был напечатан.

Первый сборник рассказов Кортасар опубликовал только пять лет спустя, в Париже, куда он вынужден был перебраться ввиду неприятия политики президента Аргентины Хуана Доминго Перона и участия в антиперонистском движении. Во французской столице он стал работать переводчиком в ЮНЕСКО, что, по всей видимости, тяготило, но давало ему верный заработок. И, разумеется, Кортасар продолжил писать. Написал же он за свою жизнь немало: десять сборников рассказов; четыре романа – «Выигрыши», «Игра в классики», «62. Модель для сборки», «Книга Мануэля»; книги-коллажи – «Вокруг дня на 80 мирах», «Последний раунд»; сборники публицистики и эссе. Посмертно были опубликованы его публицистическая книга «Никарагуа, беспощадно-нежный край», стихотворный сборник «Только сумерки», роман «Экзамен».

Так сложилось, что большую часть жизни Кортасар прожил в Европе, в Париже, где на кладбище Монпарнас, рядом с могилой Бодлера, он и нашел свое вечное пристанище. Посему горько ему было слышать частые упреки в том, что он, мол, не знает современной Аргентины, следовательно, не имеет морального права и не должен называться

аргентинским писателем. В последние же годы жизни, когда страной правили военные, Кортасара и вовсе лишат аргентинского гражданства. А в ноябре 1983 года, после восстановления гражданского правительства, смертельно больной писатель, страдавший лейкемией, смог в последний раз приехать в Буэнос-Айрес, где он повидался с матерью и сестрой и был восторженно принят молодежью.

Но вопреки всему он оставался все же писателем аргентинским. Именно таким себя и ощущал: «Словно Орфей, я столько раз оглядывался назад и расплачивался за это. Я и поныне расплачиваюсь; и все смотрю и смотреть буду на тебя: Эвридика-Аргентина...»

Как бы объясняя свои жизненные перипетии и задумываясь о пройденном пути в литературе, в открытом письме кубинскому поэту и журналисту Роберто Фернандесу Ретамиру Кортасар заявил:

Не кажется ли странным тот факт, что аргентинец, чьи интересы всецело были обращены в молодости к Европе – и до такой степени, что он сжег за собой все мосты и перебрался во Францию, – там, спустя десятилетие, внезапно понял, что он – истинный латиноамериканец? Этот парадокс влечет за собой и еще более серьезный вопрос: не было ли это необходимо – овладеть отдаленной, но более глобальной перспективой, открывающейся из Старого Света, чтобы потом открывать истинные корни латиноамериканизма, не теряя при этом из виду глобальное понимание человека и истории? Я все-таки продолжаю верить, что если бы я остался в Аргентине, то пришел бы к своей писательской зрелости иным путем – может быть, более гладким и приятным для историков литературы, – но, безусловно, то была бы литература, обладающая меньшим задором, меньшим «даром провокации» и, в конечном счете, менее близкая по духу тем из читателей, кто берет в руки мои книги, чтобы найти там отзвуки жизненно важных проблем...

Да, Кортасар, постоянно задумывавшийся о смысле жизни, но и грезивший о земле предков, давший еще в первом своем романе «Выигрыши» метафорическое изображение родного Буэнос-Айреса, был истовым аргентинцем, латиноамериканцем, живо интересовавшимся всем, что происходило на его беспокойном континенте. Фактически же с середины шестидесятых годов писатель не просто интересовался общественно-политическими вопросами, а живо участвовал во всех акциях демократической интеллигенции Европы и Латинской Америки. Искренне приветствовавший революцию на Кубе (писатель в 1964 году написал рассказ «Воссоединение», прототипом безымянного героя которого был Эрнесто Че Гевара), он постоянно сотрудничал с кубинскими культурными учреждениями. Симпатизировал Кортасар и правительству Народного единства в Чили, впервые посетив эту страну в 1970 году в качестве гостя официальной церемонии вступления Сальвадора Альенде на пост президента республики. После фашистского переворота в Чили в сентябре 1973 года Кортасар помог сторонникам свергнутого Альенде организовывать в Европе акции солидарности с патриотами Чили, протестовавшими против беззаконий кровавого диктатора Пиночета.

Когда один любитель задавать глубокомысленные вопросы полюбопытствовал, тревожит ли Кортасара будущее романа, он ответил со свойственным ему тактом: «Меня беспокоит не столько будущее романа, сколько будущее человека». И он говорил правду. Эти слова выражали не просто точку зрения, но целую философию. «Фантаст без

фантомов», как однажды сказали о нем, он, не состоя ни в какой партии, навсегда, без колебаний, вступил в ряды защитников латиноамериканских народов и латиноамериканских революций, был непримиримым противником диктаторских режимов, терзавших континент, и всех тех, кто посягает на свободу «Нашей Америки», как называл ее Хосе Марти».

Кортасар, веривший в то, что человек интеллектуального труда способен на многое, до конца своих дней продолжал размышлять о самом главном, о том, что всегда его волновало, – о новом человеке, о его желаниях, о желаниях всего людского сообщества, сообщества новых людей. В результате он пришел к вполне определенным и неколебимым социально-политическим убеждениям: «Идея социализма как пути будущего человечества всегда живет во мне, ибо я не только продумал, но и прочувствовал ее». Но писателя при этом заботило, чтобы новый человек в будущем обществе сохранял все то богатство многосторонней свободной личности, которое так боялся утратить главный герой его самого известного романа «Игра в классики» Оливейра: радость игры, юмор, поэтическое восприятие мира.

Кортасар еще до победы сандинистской революции в Никарагуа подпольно, с помощью друга-писателя, впоследствии вице-президента республики, Серхио Рамиреса пробрался в эту страну, о чем потом написал рассказ «Апокалипсис Солентинаме». Последние же годы жизни писатель отдал поддержке никарагуанской революции: он не единожды побывал в борющейся стране, участвовал в манифестациях солидарности, наконец, завещал гонорары Фонду помощи Никарагуа. И уже посмертно вышел сборник его статей и очерков «Никарагуа, беспощадно-нежный край», в котором рассказывается, как до писателя в 1976 году донесся «зов Никарагуа, и это было началом сообщества, сопричастия». Фактически то, о чем грезил Оливейра, смог осуществить его создатель, нашедший путь в сообщество желаний, где он вместе с целым народом желал свободы, лучшего мира, торжества человеческого достоинства.

Хулио Кортасар, энергичный, целеустремленный, грезивший о справедливом мироустройстве, обладал к тому же даром видеть остро, проникновенно и далеко. И видение окружающего мира, в том числе и внутренним оком – оком совести, не ограничивалось для него определенными рамками, которые бы могли сдерживать постоянную литературную игру. Или игру в литературу... Игру замысловатую, непростую в ее восприятии и труднообъяснимую, предполагавшую наличие секретов, даже тайн. Тайн, которые писатель унес с собой в вечность.

К счастью, сама игра, бесконечная, захватывающая, по-разному интерпретируемая игра Хулио Кортасара – продолжается...

## Дмитрий АНИКИН

Родился в 1972 году в Москве. По образованию математик. Предприниматель. Член Союза писателей XXI века.

Публикации: циклы стихов в журналах и альманахах «Нижний Новгород», «7 искусств», «Новая Литература», «Камертон», «Арина», «Русский Альбион», «Поэтоград» и других изданиях. Автор книг «Повести в стихах», «Сказки с другой стороны», «Нечетные сказки».

Живет в Москве.

## ШАЛЬНАЯ ПОШАВА

*Я устал, – я едва только смею дышать, –  
И недужны, и трудны людские пути.*

«Есть ценностей незыблемая скала / Над скучными ошибками веков», – писал Мандельштам. И на этой незыблемой скале там, где гениальность и вечность, есть отметина, загогулина, кто-то неловко выщербил: Фёдор Сологуб. Пишу это и удивляюсь собственной смелости: как странно, непривычно называть Сологуба гением. Ещё раз: гений. Кирпич в сюртуке! Декадент из декадентов, что бы ни значило это слово. И гений. А многие из тех, кого неразборчивая толпа называет гениями, – поэты незначительные или вовсе не поэты. Как сказал Мережковский: «Что пошло, то пошло».

Но Сологуб – при всей иногда двусмысленности своих стихов – так, чтобы пошло, не умел.

Современная поэзия предпочитает умалчивать о своём настоящем, тёмном, хтоническом происхождении. Как мещанская астрономия не любит вспоминать о предшествующем ей вдохновенном размахе астрологии. Но Сологуб не стеснялся своих волхвований. «Чур, чур меня», – повторял он с серьёзным и даже суровым видом, ничуть не сомневаясь в действенности своих слов.

Слово довеку свяжется,  
Без покрова покажется  
Посуленная доля.

Если так можно сказать о гении, то он был гений совершенно нетипичный, неинтересный, весь такой чуть надменный, холодный и как-то по-змеиному противный. Гадючьих, аспидовых манер гений, чья биография «обыдотилась совсем, / Такая стала несравненная».

Гений, которого не замечают теперь, гений, которого не замечали никогда. На каком-то собрании Розанов прицелился присесть на пустой стул, но вдруг выяснилось, причем самым неловким образом, что на этом стуле уже располагался Сологуб, который встревоженно встрепенулся, как некая снулая глубоководная рыба. Розанов заизвинялся, а через несколько минут снова казалось, что стул – пуст.

Велик и страшен был для русской поэзии год 1921 от Рождества Христова. Милосерднее всего советская власть обошлась с Гумилёвым, а вот Блоку пришлось мучительно умирать собственными силами. По всей логике событий стать бы Сологубу третьим в этом мартирологе. Но как в греческом мифе смерть, предназначенную царю Адмету, приняла на себя его жена Алькеста, так в осеннем Петрограде погибла Анастасия Чеботаревская.

Четыре года большевистского ада были у людей за плечами, они же четыре года надежд: «Это не может быть надолго!» – «Даже в России невозможен столь противоестественный порядок вещей!» В конце концов всё свелось к одному: «Выправим документы и уедем!» Самые смелые искали надёжного проводника, чтобы пойти по льду Финского залива... Чеботаревская не стала дожидаться льда. «Литературная гетерка» обрела иную роль. Истерика довела до высокой трагедии.

А Сологубу, кому эта трагедия была положена по праву и по чину, пришлось и дальше довольствоваться докучной и несмешной комедией положений.

Чёрная, холодная, отвратительная, манящая петербургская вода. Чем возвращаться к людям и мучиться дальше... шаг в воду и вот – небывалая свобода. Не ради того, чтобы прекратить ужас, делается последний шаг, но для того, чтобы дойти в этом ужасе до таких пределов, куда и ворон костей не нашивал. Макар телят не ганивал. Наверное, есть за этой границей какое-то знание, какая-то беспредельность. Путь к звезде Маир.

Путь, в который пускается не тот, кого ждали на Ойле.

Литературный салон Сологуба был весь придуман и организован Чеботаревской. «Фёдор Кузьмич должен занять достойное место!» Достойное место где? На пьедестале? На алтаре? Да черт его знает. Пусть не любят, лишь бы боялись. И все боялись, посмеивались, конечно, но это был смех сквозь невидимую миром жуть, сквозь недотыкомку. По воспоминаниям современников, кормили у Сологуба отменно, но кусок в горло не шёл. Поили портвейном, но даже завзятые алкоголики стеснялись выпить лишнюю рюмку. Значительность персоны помогала сэкономить.

Бестактность гению легко простить, а вот попробуй простить солидность. Её хорошо и мстительно запомнили.

О чём думал Сологуб, когда покровительствовал Северянину? Вряд ли подразумевалась издёвка над публикой. Подлинная нежность, которая не стесняясь лепетала в лучших стихах Северянина, была понятна Сологубу. Мишурная красота успокаивала того, кто видел в жизни столько подлинного уродства.

Бездарная, безвкусная шумиха вокруг поэзии только подчёркивала её всамделишную ценность. Может быть, так и надо прямо заявить: я – гений. Чтобы глупая публика не проглядела...

Кому-то – сомнительная слава, кому-то – почётное бесславие непонятого гения. И поди разберись, что хуже.

Когда королева Виктория прочитала «Алису», то попросила достать ей другие сочинения Кэрролла, и каково же было королевское удивление, когда принесли математические трактаты. Читателям Сологуба такое разочарование не грозило: учебник математики был опубликован под фамилией Тетерников.

Утверждали, что учебник был крайне плох. Это ведь только талантливый человек талантлив во всём...

Кстати, нельзя было хуже его обидеть, чем назвать Фёдором Кузьмичом Сологубом. «Меня зовут Фёдор Кузьмич Тетерников, а мой литературный псевдоним – Фёдор Сологуб». Наверное, эти двое стеснялись и недолюбливали друг друга.

Благодарные потомки не преминули написать на могильном камне: «Писатель Фёдор Кузьмич Сологуб /Тетерников/».

Тело Чеботаревской долго не могли найти. Обед в доме неизменно сервировался на две персоны. Должна прийти! Если не замечать смерть, то можно жить вечно. Потом нашли труп.

Я создал легенду любви,  
Жизнь обратил я в сказку.  
Что же, душа, благослови  
Страшную сказки развязку.

Непревзойдённый мастер, Сологуб на несколько месяцев потерял собственный стиль, стал писать неаккуратно, сбивчиво. Наверное, это называется *искренне*. Многие считают стихи, посвящённые памяти Чеботаревской, одной из вершин его творчества.

По мне, так искренность только мешала поэзии. Чеботаревская на время усложнила ему жизнь, на время упростила поэзию; её влияние всегда было шумно и неуместно.

«Мелкий бес» был задуман как итог всей русской литературы. «Не взрыв, но всхлип!»

От Тамариного демона через карамазовского черта к мелкому бесу – хроника деградации российской инфернальности. Дальше – всё, сплошной материализм. Воланд? Воланд – приезжий. Он потому так свободно расхаживает по Москве, что хозяева куда-то подевались. Местная бездна поглотила.

Телесное, эротическое оказывается единственным, что противостоит мерзости духовной! Не думать, не чувствовать, не говорить, но отдаться тому единственно вечному, неподдельному, что в нас ещё осталось. Три природы есть в человеке: божественная, собственно человеческая и звериная. От божественной мы отказались, человеческую исказили до полной неузнаваемости, звериную не понимаем настолько, что не смогли испоганить в ней всё до основания.

Оттого что у Варвары из «Мелкого беса» прекрасное тело, становится ещё страшнее.

Ужас пробирает человека, когда ему случается неожиданно, ненужно столкнуться с прекрасным.

Звезда Маир сияет надо мною,  
Звезда Маир,  
И озарён прекрасною звездою  
Далёкий мир.

Какой-то космический ужас.

Поэзия Сологуба, отказавшись от божественного и человеческого, осталась только поэзией. Не молитвой и не песней.

Поэзия, *par excellence*\*, архетип. А много ли любителей до такой чистой, такой беспримесной, такой жалкой?

И оттого, что поэзия такова, становится понятно: вокруг действительно страшный мир. Страшный не придуманными, поэтическими, блоковскими страхами, а подлинными, подспудными, о которых и говорить нечего.

Всё настоящее, передоновское, крутится в романе вокруг запахов неприятных, землистых, правдивых. И только подложное письмо, запустившее основную интригу романа, вспрыскивают одеколоном. И только красивого мальчика Сашу, прежде чем обрядить в девичье платье, обильно душат.

Чувствуешь, что дохнуло чем-то приятным, парфюмерным, – значит, тебя обманывают, подделку пытаются всучить.

И в стихах Сологуба запахи тяжёлые, настоящие, иногда даже отталкивающие.

Ты пришла ко мне с набором  
Утомлённо-сонных трав.  
Сок их сладок и лукав.  
Ты пришла ко мне с набором  
Трав, с нашёптом, с наговором,  
С хитрой прелестью отрав.  
Ты пришла ко мне с набором  
Утомленно-сонных трав.

Хорошо писать с себя Пьера Безухова или Лаврецкого; не страшно даже, если выходит Фёдор Павлович Карамазов: в конце концов, был же он похож на римского патриция времён упадка. Но каково писать с себя Передонова? Каково Передонову быть поэтом?

Для поэзии нет запретных тем, и наконец-то была воспета простая прелесть физических наказаний. Публика возмущённо рукоплескала: надо же, явился русский маркиз де Сад. Но – повторю – пошло-сти не получалось. И жутковато было как-то не по-десадовски, не по-маркизски, без французской игривости, гривуазности, чего там ещё...

Была у Сологуба какая-то неприличная для мужчины щепетильность и обидчивость. Воистину чеботаревская глупость. И все-то раздоры, претензии – из-за каких-то обезьяньих шкур, из-за каких-то отрезанных хвостов.

Случилась история в 1911 году, когда Сологуб и Чеботаревская достали по просьбе Алексея Толстого обезьянью шкуру для маскарада, каковая шкура была возвращена в испорченном виде – с отрезанным хвостом.

Скрупулёзная, кафкианская месть, когда обидчику становится до того худо, до того невоготу, что поневоле он начинает подозревать за собой великие вины. Ну не может же быть, чтобы из-за такой пакости, мерзости, мелочи! Алексей Толстой на собственной бесхвостой шкуре познал, каково это – ходить по мукам. Сологуб прямо-таки выжил его тогда из Петербурга.

\* По преимуществу (*фр.*).

Кажется, что при подведении каких-то последних, посмертных итогов эта история ударила по Сологубу больше, чем по всеми любимому «подлецу Алёшеньке». Вот уж с кого как с гуся вода.

Скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда? В русской поэзии были поэты, на чьём счету есть стихи такого низкого, непотребного качества, что только руками остаётся развести. И не о юношеских стихах тут речь: в возрасте, когда не наступила ни уголовная, ни поэтическая ответственность, каждый волен резвиться и пошлить как угодно. Нет – о написанном в полном присутствии таланта, со всеми онёрами мастерства.

Георгий Иванов вспоминал, как пришёл к Сологубу просить стихов для какого-то недавно затеянного альманаха. Фёдор Кузьмич предложил несколько прекрасных пьес, но, когда узнал, что платить будут всего лишь по пятьдесят копеек за строчку, отобрал рукопись и вытащил из ящика другие листы: «Вот вам стихи по полтиннику за строчку». И действительно, вспоминает Иванов, больше не стоили.

А ведь печатал эти стихи, собирая полтинники, в которых уже особой нужды не было. Печатал, к недоумению критиков, печатал, выставляя себя на посмешище, ставя под сомнение свою настоящую поэзию.

Альбомная, жеманная форма салонных стихов. Изящество и скромное обаяние. Рондо, рондели – это куда ни шло, но триолет? Да ещё в России, где изящество всегда подозрительно и отдаёт душком казённым и верноподданническим. Казалось, что невозможно найти более неподходящее вместилище для слов Сологуба. Но поэзия дышит где хочет, и совершается чудо. И вот пишутся русские триолеты – десятками, сотнями. Дневник, состоящий из триолетов. Из триолетов расшатанных, как вообще всё вокруг.

Земля докучная и злая,  
Но всё же мне родная мать!  
Люблю тебя, о мать немая,  
Земля докучная и злая!  
Как сладко землю обнимать,  
К ней приникая в чарах мая!  
Земля докучная и злая,  
Но всё же мне родная мать!

Как там учили в старом фильме Бабетту: «Запомните: Корнель – это сила, Расин – это высота, Франс – это тонкость...»; можем продолжить: «Вячеслав Иванов – это сонет, Кузьмин – это рондо, Сологуб – это триолет». И нечего пастись на чужом поле. Был у Сологуба один последователь, решительно погубленный триолетами и алкоголем, – поэт Рукавишников.

Сологуб сказал, что величайшим писателем станет тот, кто беззастенчиво ограбит всех предшественников. Так что вряд ли он особенно удивился, когда Бальмонт, сочиняя то, что должно было стать гимном свободной России, начал с двух сологубовских строчек: «Да здравствует Россия, свободная страна! / Свободная стихия великой суждена!»

Но даже такой сомнительной, воровской, славы не случилось.

Читал ли Сологуб все свои рассказы и статьи? А даже если и читал, то это его не слишком расстраивало. Разве публика заслуживает большего?

А за строчку Сологуба платят больше, чем за строчку Чеботаревской. И это справедливо.

Это даже не стихи по полтиннику за строчку, тут чушь совершенная, дрянь обыкновенная. Чтобы добить её, паскуду, – репутацию, чтобы мокрого места от неё не осталось.

«Мелкий бес» откликнулся на многие священные тексты русской литературы, но яснее всего на «Господина Прохарчина». Для Прохарчина годы между его смертью в Петербурге и воскресением в провинциальном городе (Вытегре? Великих Луках?) не прошли даром: он несколько помолодел, приобрёл поверхностные сведения о Писареве, дослужился до чина статского советника и, соответственно, понабрался наглости. И времена изменились: нынешний Прохарчин от страха не умирает, а убивает.

Или нынешний Прохарчин со страху начинает писать свои дивные стихи.

Такой тупости, такого страха русская литература ещё не знала. Это был какой-то новый уровень, недаром герои романа неодобрительно обсуждали «Человека в футляре», которого к тому же не читали. Беликов пусть труп, но это хотя бы человеческий труп, а что такое Передонов? Натурализм и символизм сходятся там, где лучше бы не сходиться.

Появился великий роман, который должен был оттолкнуть всех. И оттолкнул.

Есть поэзия любви, ненависти, героизма, страха, веры, неверия. Почему бы не быть поэзии подлости?

Или поэзии смерти. Настолько точной поэзии, что она и сама показалась мёртвой.

Шальная пошава – это повальная неприличная болезнь, болезнь к смерти, которая поражает общество в целом и отдельных людей. На языке современной физики это – энтропия. Сологуб скрупулёзно описывал симптомы и свои и чужие. Когда он был честен сам с собой, то понимал, что никаких лекарств от этой болезни нет. В такие моменты писались лучшие стихи и «Мелкий бес». Когда силы оставляли его и он поддавался надежде, сочинялась «Творимая легенда».

Люди, не замечая симптомов у себя, с отвращением и страхом, как на сифилитика, смотрели на того, кто не стесняясь обнажал больные места.

Казалось, Сологуб упорно и озлобленно требовал от ближних и дальних выполнения максимы Гоголя: «Полюбите нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит». И не демонически атласно-пошло-чёрными, а такими чернявенькими, поганенькими...

Подыши ещё немного  
тусклым воздухом земным.

Велик и страшен был для русской поэзии год 1921 от Рождества Христова. Сологуб продолжал жить, продолжал писать. Это было какое-то бытие вне времени. Не смерть, конечно... Должны же быть у смерти какие-то явные, несомненные приметы.

И ещё математика помогла: с помощью системы дифференциальных уравнений Сологуб смог доказательно рассчитать загробную жизнь.

Насколько были ему ясны перспективы земного небытия и забвения – не знаю.

Каждый год я болен в декабре.  
Не умею я без солнца жить.  
Я устал бессонно ворожить  
И склоняюсь к смерти в декабре, —  
Зрелый колос, в демонской игре  
Дерзко брошенный среди межи.  
Тьма меня погубит в декабре,  
В декабре я перестану жить.

Конечно, он умер в декабре.  
Умер тихо, без мелодраматических эффектов, как будто одной поэзии должно было хватить для бессмертной славы...

\* \* \*

Кажется, нам, читателям русской поэзии, поставили простейшую задачу: надо было распознать в поэте гениальность, не подкреплённую ничем, кроме текстов.

И мы с этой задачей пока не справились.

## Олег РОМЕНКО

Родился в 1977 году в Белгороде. Редактор литературного журнала «Дрон». Помощник руководителя литературной студии «Младость».

Стихи и проза публиковались в журналах «Дрон», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Нева», «Север», «Нижний Новгород», «Дон», «Южная звезда» и других. Автор книги стихотворений «Волны времён» и книги сказок для детей «Трепетные комочки».

Живет в Белгороде.

## РУССКИЕ СТИХИ ВИКТОРА ПЕТРОВА

Как у профессиональных русофобов ненависть к России давно превратилась в религию, так у всех русских по духу людей подлинной религией была, есть и будет Россия. И в этом я в очередной раз убедился, познакомившись с новой книгой поэта Виктора Петрова «Храм на холме», вышедшей в московском издательстве «Вест-Консалтинг». Сам автор книги хорошо и давно известен читателю как поэт, публицист и главный редактор ростовского литературного журнала «Дон», имеющего легендарную историю. Виктор Петров также является автором 19 книг и лауреатом Всероссийской литературной премии имени М. А. Шолохова, премии журнала «Юность», победителем Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», удостоен европейской медали Франца Кафки.

Книга открывается стихотворением «Азимут». В последнее время смешение кириллицы и латиницы в словах русского языка приняло эпидемический характер. Недавно один мой знакомый, стремящийся всегда «быть в тренде», выпустил сборник стихотворений, на обложке которого значилось – «СлѣЗы Войны». Если этот процесс будет продолжаться в том же духе, то скоро найдутся желающие провести «реформу» русского алфавита, изъяв из него буквы «З» и «В» и заменив их латинскими «Z» и «V», для начала.

Что касается «Храма на холме», то не могу сказать, что автор книги злоупотребляет иностранными символами. Более того, в таком слове, как «азимут», что по-нашему, по-простецки, означает путь, направление, цель, буква Z выглядит вполне органично, как символ, проливающий свет на выбранный путь.

Все мы помним, что накануне СВО на границе с Украиной проводились военные учения российской армии. Как принято в таких делах, группировку войск разделили на две противоборствующих стороны, обозначив на военной технике двух армий, «своей» и «противника», белой краской: Z – запад и V – восток. Но сейчас, почти два года спустя,

пришло иное понимание этих символов. Z – это не только последняя буква латинского алфавита, это ещё и последнее предупреждение человечеству и, в большей степени, сильным мира сего, затеявшим новый передел ресурсов на планете, где теперь уже Россия для них – лакомый кусок и вожделенный приз. Z – это ещё и последняя черта, за которой маячат всадники Апокалипсиса, – не та самая популистская и резиновая «красная линия», а настоящая красная, потому что она кровит. И Виктор Петров постиг эту мысль своим острым поэтическим чутьём:

Кровит последняя черта,  
И по квадратам бьёт арта,  
И холодеет крик у рта.

А снег – не снег... То выюжит прах...  
И подступает к сердцу страх  
За родину мою в снегах.

Истоки нашей сегодняшней драмы автор видит, как и многие его современники, в геополитической катастрофе Советского Союза, или, как сказал российский президент после бесланской трагедии: «Мы проявили слабость, а слабых бьют».

Когда спускали красный флаг  
С крестом серпа и молота,  
То ликовал заморский враг,  
Что Русь моя расколота.

И гимн звучал, как скорбный блюз,  
Вскрывая звуком вены мне.  
Так нерушимый наш Союз  
Разрушен был в мгновение.

Одной из главных причин этой беды стало массовое равнодушие, когда люди обычно говорят: «Да гори оно всё синим пламенем». И я думаю, что неслучайно именно это выражение и употребил Виктор Петров, когда писал о распаде нашей страны:

Была страна, и нет страны —  
Сгорела синим пламенем.

«Бойтесь людей равнодушных, – говорил, расстрелянный в нацистской тюрьме Юлиус Фучик, – именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете». И вот теперь пожинаем плоды, о чём с болью в сердце говорит поэт:

Сберечь могли... И не смогли,  
И на страданье обрекли  
Одну шестую часть Земли.

В стихотворении «Браты» Виктор Петров по-своему переосмысливает повесть Гоголя «Тарас Бульба» сквозь призму последних событий нашей современности. Прошли столетия, а образы двух братьев, Остапа и Андрия, первый из которых принял мученическую смерть за своё

Отечество, потому что был уверен, что нет уз святее товарищества, а второй предал Русскую землю и погубил себя ради любви к панночке, – сейчас более чем когда-либо в нашей общей русско-украинской истории будоражат умы соотечественников. Как могло с нами такое случиться, что:

Бьются братья смертным боем –  
Брату брат уже не брат.  
Столкновенье лобовое,  
Мат стоит да перемат.

Люди одной крови, одной веры, одного языка вынуждены убивать друг друга, словно заклятые враги, которым не суждено жить рядом под одним небом. Не иначе, здесь не обошлось без нечистой силы, уверен Виктор Петров:

Выгорело чисто поле,  
Крыто залповым огнём.  
И с Андрием дьявол в доле,  
Плачет панночка о нём.

И высшая степень накала этой духовной брани в душе поэта выплеснулась в такие строки:

Близок холод, лютый холод –  
Жизни прежней больше нет:  
Сердце так и ходит, ходит,  
Разорвав бронезилет.

Здесь мне сразу вспомнились слова из знаменитого пронзительного стихотворения Константина Симонова:

По русским обычаям, только пожарища.  
На русской земле раскидав позади,  
На наших глазах умирали товарищи,  
По-русски рубаху рванув на груди.

Ещё одно пересечение нашей истории и современности я увидел в стихотворении «Азимут», в котором автор книги пишет о себе:

Я родился в Авдеевке,  
А крещён был в Успенке.  
Сколь разора содеяно –  
За такое бы к стенке!

Когда немцы потерпели поражение на Курской дуге, то самым оглушительным у них оказалось южное направление, куда и устремились советские войска. Чтобы задержать это наступление, командовавший группой армии «Юг» Манштейн применил тактику «выжженной земли» в Донбассе, за что Нюрнбергский трибунал признал его военным преступником, но к стенке, к сожалению, не поставил. Теперь идейные наследники Манштейна применили на этой же самой многострадальной земле тактику забетонированной земли.

Конечно, не всё так печально в «Храме на холме», автор то и дело подбадривает читателя, например, такими словами:

А ну, прибалты, от винта,  
И шла бы, шляхта, далее!..  
Где Бранденбургские врата  
И где рейхсканцелярия?

Но не будем сыпать соль на раны «рассерженным патриотам», неустанно задающим вопросы власти насчёт нанесения ядерных ударов по центрам принятия решений. Да и сам Виктор Петров не питает иллюзий в свете крайне напряжённой международной обстановки:

Что же будет? Ветер будет  
Над сгоревшим полем выть  
И, как датский принц, рассудит:  
Быть – кому? кому – не быть?

И вот здесь, прежде чем поразмышлять над гамлетовским вопросом, я бы хотел коснуться религиозной темы. Меня сильно поразили такие слова автора:

Прощай, советский крест – серпа  
И молота скрещение!

Это очень глубокий образ, в котором заложена мысль длинная, как сказочный клубок шерсти, способный увести на край света, но только там и можно найти ответ: быть нам или нет?

Наверное, неслучайно советское государство, выступившее ниспровергателем исторической православной России, увенчало своё, приводящее в ужас врагов и в восхищение друзей знамя, животворящим крестом серпа и молота.

Но что же удерживает до сих пор Россию в этом мире, после стольких обрушившихся на неё несчастий, особенно в последнее время? Из Священного Писания мы знаем, что мир держится на праведниках. «Не истреблю и ради десяти», – сказал Господь Аврааму. И я уверен, что у нас в стране их не десять, и не сто, а гораздо больше. Об одной такой праведнице, своей бабушке, и вспоминает Виктор Петров в стихотворении «Успенский колодец».

..Теперь потише, тише, вороток.  
Глядеть в колодец, как в себя глядеться.  
Я тоже вдовый бабушкин платок  
Запомнил с детства.

Такою худенькой была она,  
Но словно отводила все невзгоды.  
По ней узнал, как тяжела война  
И недороды.

Уставший от двадцатого века и его окровавленных рек поэт Владимир Соколов написал: «Я давно уже не человек. Я давно уже ангел, наверно...» И это не ради красного словца было им сказано. Если мы даже по обрывочным рассказам наших бабушек и дедушек вспомним,

что выпало на их долю, то легко убедимся и согласимся, что при жизни они были святыми людьми, а потом стали нашими незримыми заступниками и ходатаями за Россию перед Богом. Потому так трогают и ободряют душу читателя русские стихи Виктора Петрова:

Ещё висят по хатам образа –  
Ищу я в них черты родных, знакомых...  
Устиньи Харитоновны глаза  
На тех иконах.

В Книге пророка Исаии сказано: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Об этом же говорится и в краткой аннотации к «Храму на холме»: «Храм на холме воздвигнут истой верой, и возносимый им крест благословляет русские пределы – таков посыл новой стихотворной книги Виктора Петрова».

## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

**О. А. Рябов**

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Оренбург)

Елена Крюкова

Александр Орлов (Москва)

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Санкт-Петербург)

Евгений Эрастов

## ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

Надежда Шевелилова

## УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:  
603057, Нижний Новгород,  
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»  
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции  
или по электронной почте:  
[jurnalnn@yandex.ru](mailto:jurnalnn@yandex.ru)

Сайт журнала: [www.jurnalnn.ru](http://www.jurnalnn.ru)

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен  
по заказу  
правительства  
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий  
и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-60285  
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 04.10.2024.  
Выпущено в свет 25.10.2024.  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 21.  
Тираж 800 экз. Заказ  
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,  
428019, Чувашская Республика,  
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13